АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XII

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — 1963

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие V Международному съезду славистов 3
Я. Бауэр (Брно). Основные проблемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса славянских языков 4

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. Крамский (Прага). К проблеме артикля 14
И. А. Мельчук (Москва). О «внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках 27
Об общеславянском лингвистическом атласе 41

Из выступлений на общем собрании ОЛЯ АН СССР

О. С. Ахманова (Москва). В. З. Панфилов (Москва) Экстралингвистические и внутрилингвистические факторы в функционировании и развитии языка 45
В. Г. Адмони (Ленинград). Качественный и количественный анализ грамматических явлений 57

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. Н. Колмогоров (Москва). К изучению ритмики Маяковского . . . 64
С. Б. Бернштейн (Москва). Карпатский диалектологический атлас . . 72
М. Карась (Краков). Словарь польских говоров 85
И. А. Дзендзелевский (Ужгород). Некоторые вопросы интерпретации лингвистических карт 94

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Л. Н. Иорданская (Москва). О некоторых свойствах правильной синтаксической структуры 102

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. Блок. Значение Вука Караджича в сербской литературе 113

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Т. М. Судник, С. М. Шур (Москва). О применении некоторых новых методов в работах по общей и славянской диалектологии 115
О. А. Лаптева (Москва). Чехословацкие работы последних лет по вопросам актуального членения предложения 120

Рецензии

Вяч. В. Иванов (Москва). *É. Benveniste*. Hittite et indo-européen. Études comparatives 127
А. Г. Широкова (Москва). *Fr. Kopečný*. Slovesný vid v češtině . . . 136
О. В. Творогов (Ленинград). «Materiały do słownika terminów budownictwa staroruskiego X—XV w.», opracował A. Poppe. 141

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А. И. Журавский (Минск). О подготовке словаря старого белорусского языка 142
Э. И. Кошмидер (Мюнхен). Об издании древнеславянских певческих рукописей 145
Р. Фишер (Лейпциг). Работы по сербо-лужицкой филологии в Лейпциге . . 147
Над чем работают ученые 147
Хроникальные заметки 150

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

ПРИВЕТСТВИЕ V МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ

Советские филологи приветствуют V Софийский международный съезд славистов и желают ему и всем его участникам большого успеха в работе.

Славистические съезды известны в истории науки как влиятельные научные форумы, на которых разрешались многие кардинальные проблемы, важные в теоретическом отношении не только для славистики, но и для общего языкознания и литературоведения вообще. Всем памятен I Пражский съезд 1929 г. как съезд, утвердивший фонологию в практике конкретных научных исследований. На Варшавском и Краковском съездах 1934 г. были выдвинуты многие идеи общелингвистических научно-организационных мероприятий. Материалы III Белградского съезда 1939 г. представили развернутую программу балканистических проблем. IV Московский съезд 1958 г. продемонстрировал широкую возможность плодотворного применения традиционных и новых методов в исследованиях конкретных языков — их истории и современного состояния.

Тематика славистических съездов, объем и широта научных проблем и, наконец, просто число докладов и участников расширялись и увеличивались от конгресса к конгрессу, что свидетельствует о неуклонном и интенсивном росте славяноведческих кадров во всех странах мира как в славянских, так и неславянских. Можно с удовлетворением отметить резкий подъем славяноведческих исследований после второй мировой войны. Наступил новый период, когда славянские народы стали на путь строительства социализма и коммунизма, когда их вклад в дело прогресса мировой культуры стал особенно ощутительным.

Интерес к языку, литературе, истории и культуре славянских стран, столь живой и активный среди всех народов мира, тесно связан с прогрессивной борьбой за мир, за дружбу между народами, с борьбой против войны, против политических и идеологических диверсий и научных спекуляций.

Советские лингвисты приветствуют научное сотрудничество славяноведов всех стран и континентов, приветствуют V Международный съезд славистов, который, судя по предварительным публикациям докладов и материалов, явится новым важным этапом в развитии мирового славяноведения.

Советские лингвисты выражают благодарность болгарским славяноведам за их большую и самоотверженную работу по организации Софийского съезда.

Москва шлет свой дружеский привет древней братской Софии!

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

Я. БАУЭР

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Разработка синтаксиса славянских языков является настоятельной задачей славистики. Несмотря на возрастающий интерес, научное изучение синтаксического строя отдельных языков далеко отстает от обработки фонетики и морфологии; еще меньше сделано в области его сравнительно-исторического исследования. Необходимо выяснить цель, предмет и методику исследований по сравнительному славянскому синтаксису. Этим вопросам ныне уделяется все большее внимание[1].

В настоящей статье будет сделана попытка определить главные проблемы сравнительно-исторического изучения славянского синтаксиса на основании собственной работы автора, а также опираясь на опубликованные итоги обсуждения этой проблематики, особенно в Чехословакии[2].

1. Цель сравнительно-исторического изучения славянского синтаксиса. В языкознании старшей поры основной задачей сравнительно-исторического изучения славянских языков считалось восстановление их общей праславянской исходной базы. Однако, поскольку для синтаксиса восстановление исходного состояния оказывается наиболее затруднительным, что усугубляется и недостаточной обработанностью исторического синтаксиса отдельных славянских языков, результаты такой работы не могли быть удовлетворительными; возникали даже сомнения вообще в возможности сравнительно-исторического изучения синтаксиса. В настоящее время основное внимание компаративистов сдвинулось в сторону освещения исторического развития славянских языков и их современного состояния[3]. Вы-

[1] Интересные статьи были опубликованы недавно на страницах журнала «Вопросы языкознания». В Чехословакии, где интерес к историческому и сравнительному изучению славянского синтаксиса постоянен, методологическая проблематика и тематическое направление исследований в этой области обсуждались на нескольких научных совещаниях, в частности на совещании в Брно в апреле 1961 г. [см. ВЯ, 1961, 6; материалы конференции вышли в сб. «Otázky slovanské syntaxe» (далее: OSS), Praha, 1962]. Вопросам синтаксиса уделялось также преимущественное внимание на конференции в Оломоуце и в Праге в 1957 г. (см. сб. «K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků», Olomouc — Praha, 1957, стр. 77 и сл.).

[2] Здесь отметим следующие статьи: B. Havránek, Metodická problematika historickosrovnávacího studia syntaxe slovanských jazyků, сб. «K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků»; его же, Metodická problematika historickosrovnávacího studia slovanské syntaxe (these), сб. «Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958; его же, K historickosrovnávacímu poznání syntaxe slovanských jazyků, OSS; R. Mrázek, Historickosrovnávací studium větných typů, там же; J. Bauer, Problematika historickosrovnávacího studia vývoje slovanského souvětí, там же; J. Kurz, Problematika zkoumání syntaxe staroslověnského jazyka a nástin rozboru významu částic *i*, *a* a pod. v konstrukcích participiálních vazeb s určitými slovesy, сб. «K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků». О проблематике изучения восточнославянских языков см.: В. И. Борковский, Задачи и методы сравнительно-исторического синтаксиса восточнославянских языков, ИАН ОЛЯ, 1961, 3.

[3] Ср. B. Havránek, K historickosrovnávacímu poznání..., стр. 71, 81 и сл.

зывают интерес не только совпадения в отдельных языках, которые могут восходить ко времени их праязыковой общности, но и позднейшие различия; предметом исследования становится общее направление развития синтаксической системы отдельных языков в отношении к другим языкам. Сравнительная и сопоставительная проекции могут помочь понять специфику развития и сегодняшнего состояния синтаксиса отдельных языков, правильно интерпретировать засвидетельствованные данные и в ряде случаев заполнить пробелы, связанные с отсутствием памятников того или иного периода. Понимание современного состояния в динамическом плане как результата исторического развития, анализ тенденций развития, приведших к этому состоянию и продолжающих свое действие, во многом пополнит итоги сопоставительного изучения современной синтаксической системы отдельных славянских языков.

Сравнительно-историческое изучение в предлагаемом понимании, следовательно, направлено на всестороннее познание исторического развития и современного состояния синтаксиса славянских языков, на выяснение и объяснение их совпадений и расхождений. Это, конечно не означает, что мы готовы отказаться от попыток реконструкции исходного пункта развития — синтаксиса праславянского языка [4]. Если продолжить в доисторическое прошлое установленные линии исторического развития отдельных языков, то в точке их пересечения окажется праславянское состояние в период до распада общности. Нередко, однако, такой исходный пункт установить не удается — либо по причине недостаточной ясности раннеисторического развития большинства славянских языков (памятники восходят большей частью к относительно позднему времени), либо потому, что единого исходного пункта в искомом случае и не было, поскольку в праславянском изучаемое явление не было вполне оформившимся или четко дифференцированным [5]. Вряд ли вообще когда-либо удастся восстановить в целом синтаксическую систему праславянского языка в период до его распада (и тем более в периоды более отдаленные), но и частичные результаты здесь могут быть весьма ценными при условии учета системных взаимосвязей явлений и устного характера праславянского языка.

Целью сравнительно-исторического исследования славянского синтаксиса не может быть лишь описание развития отдельных языков, данное в предметной последовательности. Необходимо установить общие динамические тенденции, обусловившие сохранение или даже упрочение близости всех или по крайней мере нескольких славянских языков, а также тенденции дивергентного развития. Конвергентные тенденции вели к параллельному зарождению и развитию многих новых синтаксических фактов, которые нельзя относить к праславянскому языку; дивергентное развитие, напротив, кое-где могло нарушить исконную общность. Задача сравнительного изучения — установить и по возможности истолковать такие явления. При этом важно изучать развитие отдельных языков не изолированно; надо иметь в виду взаимные отношения славянских языков и их сношения с другими языками. Чужие влияния в развитии синтаксического строя сыграли немаловажную роль, способствуя упрочению частью дивергентных, частью же конвергентных факто-

---

[4] Ср. J. Bauer, Úkoly a metody rekonstrukce praslovanské syntaxe, сб. «Československé přednášky pro V. Mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1963; его же, Проблема реконструкции праславянского сложного предложения, «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», VII, A 6, 1958.

[5] Ср.: B. Havránek, K historickosrovnávacímu poznání..., стр. 76 и сл.; V. Barnet, K pojetí východiska při historickosrovnávacím studiu skladby, OSS.

ров. В последнее время правомерно указывают на необходимость, наряду с влиянием чужих письменных языков, учитывать также влияние устных языков, с которыми славянские языки входили в непосредственное соприкосновение[6].

2. Источники синтаксических исследований. Сравнительно-историческое исследование в определенной выше концепции должно опираться на познание исторического развития и современного состояния всех славянских языков. Применительно к реконструкции исходного состояния, однако, наибольшее значение имеет основной треугольник языков с самими древними памятниками (как это несколько раз подчеркивалось акад. Б. Гавранком[7]): старославянский, древнерусский и древнечешский языки; к ним примыкает древнепольский язык. Эти языки служат хорошей базой и для изучения исторического развития синтаксиса, но по мере приближения к новому времени все в большей мере приходится учитывать и остальные языки. Особенно это ясно в отношении южнославянской группы — старославянский язык не может считаться репрезентантом исторического развития. Впрочем архаические синтаксические явления сохранились и в языках, письменная фиксация которых относится к более позднему времени.

Сравнительно-историческое изучение синтаксиса черпает материал прежде всего из письменных памятников; оно должно всегда опираться на надежное познание самого древнего, письменно засвидетельствованного состояния, для чего необходимо произвести анализ возможно более полного материала. В целях изучения дальнейшего развития целесообразно ограничиться отбором материала, но последний должен быть достаточным и подлинно репрезентативным. Для этого понадобится изучить и дать лингвистическую оценку всем сколько-нибудь значительным памятникам. По мере того как число памятников нарастает, их правильный отбор становится все более важным и одновременно трудным.

Для целей синтаксического исследования ценность представляют лишь связные памятники, особенно пространные и тематически разнообразные; в них отражено наибольшее количество синтаксических явлений. Чрезвычайное значение имеют памятники, дошедшие в нескольких различных списках: обследование различий, представленных рукописями, может многое сказать о протекавших процессах. Необходимо тщательное установление и толкование всех вариантов. При этом предпосылкой собственно лингвистического анализа должна явиться вдумчивая филологическая работа[8]. Естественно, предпочтение отдается оригинальным памятникам, поскольку в них ярче отражается живой язык своего времени. Однако не лишены ценности и переводные памятники, за-

[6] О взаимоотношениях славянских литературных языков см. B. Havránek, K otázce mezislovanských vztahů spisovných jazyků, «Slavia», XXIV, 2—3, 1955. Иноязычное влияние на синтаксис славянских языков рассматривалось в трех докладах, прочитанных на IV Международном съезде славистов: J. Bauer, Vliv řečtiny a latiny na vývoj syntaktické stavby slovanských jazyků, сб. «Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě»; H. Birnbaum, Zur Aussonderung der syntaktischen Gräzismen im Altkirchenslavischen, «Scando-slavica», IV, 1958; R. Ruzicka, Griechische Lehnsyntax im Altslawischen, «Zeitschr. für Slawistik», III, 2—4, 1958. Ср. также резюме дискуссии на съезде в сб. «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», II, М., 1962, стр. 247 и сл. Из новых статей по этому вопросу ср.: R. Večerka, K problematice historickosrovnávacího zkoumání syntaxe v starších slovanských jazycích spisovných, OSS; J. Sedláček, K problematice zkoumání syntaxe staroslověnštiny, там же.

[7] См., например, B. Havránek, Metodická problematika historickosrovnávacího studia syntaxe slovanských jazyků, стр. 86—87.

[8] См. B. Havránek, Textová kritika a primitivní typy spojování vět v staré češtině, сб. «Studie ze slovanské jazykovědy», Praha, 1958.

метно превалирующие на древнейших этапах истории языков: в них реализовано сопоставление родного языка с языком оригинала [9]. При их анализе приходится считаться с возможностью иноязычного влияния, подражания и даже прямого копирования подлинника. Подобные неорганические элементы в большинстве случаев поддаются отличению при исследовании большого количества памятников, относящихся к различным периодам и к различим территориям и истолкованных сквозь призму известных оригинальных памятников. Исследование переводных памятников позволяет проследить зарождение и становление тех или иных синтаксических конструкций, до того чуждых народной устной речи и ставших впоследствии неотъемлемой составной частью синтаксического строя литературного языка. Сопоставление с оригиналом помогает установлению значения многих конструкций. Вместе с тем следует предостеречь от отождествления собственной синтаксической конструкции с заимствованной.

Наиболее интенсивно синтаксическое развитие протекало в сфере литературного языка; наибольшее значение при его изучении для большинства славянских языков имеют литературные памятники. Однако для синтаксического развития в целом не менее важны и нелитературные памятники. Последние, правда, нередко бывают ограниченными в языковом отношении,— в них закрепилось много трафаретных синтаксических приемов (особенно в юридических памятниках, в грамотах и письмах), но наряду с этим в них встречаются и многие явления живого языка, а подчас в относящихся к различным местам записях запечатлелись следы территориальных различий в синтаксических фактах.

Анализ памятников должен сочетаться с анализом синтаксического строя современного языка. В нем сохранилось много архаических элементов, которые пополнят общую картину; кроме того, — и это самое главное — синтаксические данные наблюдаются здесь в наибольшем объеме и при максимальной полноте их системных отношений.

Необходимым дополнением исторического исследования должно стать изучение диалектного синтаксиса [10]. В территориальных различиях сохраняются явления, относящиеся к неодинаковым хронологически пластам. Диалектный синтаксис важен и тем, что это синтаксис устного языка; в этом отношении он во многом ближе предполагаемому доисторическому состоянию, нежели синтаксис древних литературных памятников. Разумеется, в диалектном синтаксисе наряду с архаическими элементами представлены и многие новые, однако в целом он показывает системную взаимообусловленность и характер синтаксических явлений в речи, свободной от намеренной отделки и неизбежного приспособления к более высоким коммуникативным требованиям при письменном общении [11]. Синтаксис диалектов дает возможность вскрыть многие связи между славянскими языками, стертые в развитии литературных языков в силу дивергентного развития (нередко в результате различных чужих влияний), а также многие различия, затушеван-

---

[9] См. B. Havránek, Metodická problematika..., стр. 86.

[10] Ср.: «Сборник ответов на вопросы по языкознанию (к IV Международному съезду славистов)», М., 1958, стр. 283—299; В. И. Борковский, Использование диалектных данных в трудах по историческому синтаксису восточнославянских языков, М., 1958; резюме дискуссии см. в сб. «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», II, стр. 394 и сл., 405 и сл.

[11] См.: J. Chloupek, O specifičnosti nářeční skladby, OSS, а также выступления на конференции — там же, стр. 325 и сл.; об архаичности диалектного синтаксиса см.: J. Chloupek, Stavba věty a souvětí v archaických nářečích východomoravských, сб. «Studie ze slovanské jazykovědy»; J. Balhar, K archaismům v nářeční syntaxi, OSS.

ные последующими схождениями литературных языков. Для восстановления доисторического состояния изучение диалектного синтаксиса неизбежно и по той причине, что оно позволит отделить собственно литературные и, следовательно, более поздние конструкции.

3. Предмет сравнительно-исторического изучения в области синтаксиса. В прежних работах по историческому и сравнительно-историческому синтаксису рассматривались преимущественно значения и функции частей речи и форм изменяемых слов. Это, несомненно, важная и всегда актуальная задача; не случайно в последнее время интенсивно разрабатывается, например, синтаксис падежей. Однако исследования такого рода не касаются принципиальных синтаксических вопросов и находятся на грани морфологии и синтаксиса.

Основным предметом синтаксических исследований вообще и сравнительно-исторического исследования в частности следует считать синтаксический строй предложения, простого и сложного[12]. Речь идет прежде всего о фразовых типах и моделях, рассматриваемых как с точки зрения модального строения высказывания (типы предложений повествовательных, вопросительных, побудительных и пожелательных), так и с точки зрения общего грамматического строя (односоставные и двусоставные) и способов выражения предиката (предложения глагольные, глагольно-именные, именные и междометные). С модальностью связаны способы передачи утверждения и отрицания, степени уверенности в реальности сообщаемого содержания, волевого отношения к данному сообщению (модальность в более узком смысле), оценка содержания или словесной формы высказывания, а также эмоциональная установка говорящего. Основные типы предложений по всем славянским языкам приблизительно одинаковы в семантическом отношении; видимо, они существовали и в прошлом. Однако налицо серьезные формальные расхождения: на протяжении исторического периода произошли значительные изменения в языковом оформлении этих типов, в их взаимоотношениях, объеме и частотности, а также в стилистической окраске, насколько последнюю возможно установить применительно к прошлому состоянию. Значительно изменился облик предложений вопросительных, побудительных и пожелательных (ср. различия в употреблении частиц, простой и сложной форм императива, инфинитивных предложений и др.). Существенные сдвиги наметились в способах выражения отрицания и модальности в узком смысле слова. Произошло перераспределение между односоставными и двусоставными предложениями, возникли их новые типы (например, для выражения обобщенного деятеля — возвратно- и пассивно-безличный типы, ср. чеш. *chodilo se*, польск. *chodzono*), другие же в некоторых языках исчезли или подверглись ограничениям. В способах выражения сказуемого наметились различия в использовании связки, в форме предикативного имени и др. Важно отметить возникновение и развитие описательного пассива.

Любопытные результаты дает и историческое исследование синтаксических отношений и способов их выражения. Основные синтаксические отношения праславянской эпохи существуют и поныне, однако в их характере и особенно в способах их грамматической реализации

---

[12] См.: R. Mrázek, Historickosrovnávací studium větných typů, OSS; J. Ružička, Veta a sloveso, там же; Ю. С. Степанов, Проблема предложения в сравнительно-историческом синтаксисе, «Вестник МГУ». Истор.-филол. серия, 1957, 2; В. Г. Адмони, Развитие структуры простого предложения в индоевропейских языках, ВЯ, 1960, 1; J. Bauer, Staročeská věta a staročeské souvětí na základě srovnávacím, сб. «K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků».

произошли значительные изменения. Изменяется соотношение согласования, управления и примыкания как основных способов сигнализации синтаксических отношений, совершаются сдвиги между категорией объекта и обстоятельства (общая синтаксизация падежей), меняются способы выражения атрибута, существенное развитие происходит у предикативного атрибута и т. д. Исследование названных явлений соприкасается с изучением семантики частей речи и форм изменяемых слов (т. е. с морфологической семантикой), однако осуществляется в аспекте их употребления в строе предложения в роли его членов. Лишь в начальной стадии находится сравнительное изучение актуального (смыслового) членения высказывания и порядка слов [13].

При изучении «полуфразовых оборотов», в частности партиципальных конструкций [14], вскрываются изменения в их природе и частотности (mutatis mutandis стилистике), а также разрешаются вопросы, связанные с абсолютивными оборотами (дательный самостоятельный и др.). Отдельную проблему представляют инфинитивные конструкции: частью это явления, свойственные народному языку в целом (конкуренция инфинитива с придаточными предложениями изъяснительными и целевыми), частью же это специфические явления литературных языков (винительный с инфинитивом и т. п.).

Изучение сложного предложения в историческом плане и современных результатов его исторического развития имеет свои особенности [15]. Попытки восстановить праславянское состояние пока не дали больших результатов: типов сложного предложения и союзных средств, которые можно было бы надежно приурочить к эпохе языковой общности, весьма мало [16]. Строй сложного предложения складывался и формировался на протяжении исторического развития отдельных славянских языков, притом преимущественно в литературных языках. Однако употреблявшиеся при этом грамматические средства по большей части были общими, праславянскими, закономерности образования типов сложного предложения также по большей части оказывались аналогичными. Сравнительно-историческое изучение может дать интересную картину этого процесса, позволяя вычленить в нем общеславянские явления и специфические явления отдельных языков и установить результаты взаимовлияний и иноязычных влияний, и т. п. Засвидетельствованный в одном языке процесс позволяет предположить такой же или подобный процесс в тех языках, в которых не сохранилось необходимых фиксаций и текстов.

В связи с вопросом о развитии сложного и простого предложения встает вопрос о развитии категорий глагола, особенно наклонения, времени и вида. Развитие славянского условного наклонения нельзя, например,

---

[13] Ср. доклады и дискуссию на IV Международном съезде славистов: Fr. Daneš, K otázce pořádku slov v slovanských jazycích, SaS, XX, 1, 1959; А. С. Мельничук, Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках, Киев, 1958; сб. «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», II, стр. 253 и сл.

[14] Из новых работ по причастиям ср.: J. Sedláček, K otázce slovanských participií praes. act. a praet. act. I, «Slavia», XXIII, 4, 1954; R. Večerka, Ke genesi slovanských konstrukcí participia praes. act. a praet. act. I, «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», VIII, A 7, 1959; V. Barnet, K vývoji slovanských konstrukcí s participii aktivními, «Slavica Pragensia», III («Acta Universitatis Carolinae. Philologica», 2), 1961; R. Růžička, Zur Rolle der asymmetrischen Korrelation in der historischen Syntax, OSS.

[15] См. J. Bauer, Problematika historickosrovnávacího studia vývoje slovanského souvětí, OSS.

[16] Ср. Я. Бауэр, Проблема реконструкции праславянского сложного предложения, «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», VII, A6, 1958.

изучать вне учета развития некоторых типов сложного предложения, в частности изъяснительных, целевых, условных и сравнительных предложений[17]. Релятивное употребление категории времени стабилизировалось главным образом в изъяснительном и временном сложном предложении, и т. д.

Сравнительно-историческое изучение синтаксических фактов предполагает единство смыслового (функционального) и выразительного (формального) аспектов; ценные результаты могут быть достигнуты лишь путем их комплексного применения. Только таким образом приходим к установлению синтаксических категорий и типов, которые возникают, видоизменяются и исчезают и поэтому не могут рассматриваться как нечто устойчивое и неизменное, как это могло бы показаться при одностороннем либо только семантическом, либо только формальном освещении[18].

4. Методические вопросы. Этой проблематике уделялось преимущественное внимание. Здесь достаточно подвести итоги важнейшим принципам.

В сравнительно-историческом изучении синтаксиса особенно важно учитывать системную природу явлений. Раньше при диахроническом изучении обычно прослеживались отдельные явления вне их системных связей. В результате такое явление часто представлялось как неизменное, оставались не подмеченными важные сдвиги в его отношении к конкурирующим, близким и противоположным явлениям, в его стилистической отнесенности и т. п. В идеале всегда следует иметь в виду изменения всей синтаксической системы во взаимосвязи ее отдельных ярусов и элементов. Такое требование на практике является весьма затруднительным. Тем не менее было бы важно попытаться установить системную отнесенность исследуемых явлений хотя бы на решающих этапах языкового развития, произвести нечто вроде синхронных срезов (наблюдаемых, разумеется, динамически), а затем с этой точки зрения изучать и истолковывать изменения, совершившиеся на промежуточных стадиях. По крайней мере необходим системный анализ на древнейшем этапе языкового развития, представленном достаточным числом памятников, и на этапе современного состояния, доступного для изучения с наибольшей полнотой.

В анализ старого состояния недопустимо привносить современное языковое восприятие, проецируя современную семантику и функции синтаксических конструкций в прошлое. При установлении значения синтаксического явления прошедшей фазы языкового развития (а это значение устанавливается лишь через посредство изучения значения высказывания) необходима весьма осторожная интерпретация, проверка предполагаемого значения или функции на других контекстах или памятниках, учет синтаксической синонимики. Следует различать контекстно обусловленное, частное значение и подлинно инвариантное значение. Таким путем одновременно достигается квалификация явлений, свойственных только отдельным памятникам (например, явления, связанные с переводом), и явлений собственно языковых, свойственных тогдашней языковой системе.

При этом получает свое практическое применение положение о необходимости изучать развитие языка в связи с развитием мышления. Для синтаксиса этот принцип особенно важен.

---

[17] Ср. H. Bräuer, Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen, Wiesbaden, 1957.

[18] Ср. Я. Бауэр, К вопросу о возникновении и развитии типов сложного предложения (на материале чешского языка), ВСЯ, 6, М., 1962.

Следует, однако, избегать возможных упрощений: нельзя объяснять любое синтаксическое изменение изменением в мышлении, как и из формального различения или неразличения той или иной синтаксической функции нельзя делать непосредственных выводов относительно состояния мышления на данном этапе. Конечно, развитие мышления находит свое отражение в общем («генеральном») развитии синтаксического строя языка; если обозревать развитие синтаксиса за более длительные промежутки времени, то обычно удается констатировать определенный прогресс. Но в отдельных изменениях не приходится усматривать непосредственное отражение изменений в мышлении; они могут обусловливаться чисто системными отношениями. Решение этих вопросов затрудняется также и тем, что о состоянии мышления в прошлом можно судить лишь косвенно, главным образом на основании письменных свидетельств, так что возникает опасность заколдованного круга [19].

При оценке синтаксических средств приходится иметь в виду, что после возникновения нового средства старое обычно не отмирает, а продолжает существовать; при этом изменяется его место в системе. Новое средство обычно не совпадает полностью со старым, вступая в новые отношения с другими средствами и приобретая нередко определенную стилистическую нагрузку.

Сосуществование старых и новых средств затрудняет установление релятивной хронологии синтаксических фактов. К этому присоединяется также неравномерность их развития: одни быстро изменяются, другие сохраняются в течение веков; наряду с формально моделированными образованиями и типами зарождаются и недифференцированные образования, подобные архаическим. В этом состоит главное препятствие при реконструкции синтаксиса определенного этапа, не представленного или недостаточно представленного памятниками. Тем не менее вопрос об абсолютной или релятивной древности синтаксических явлений остается актуальным; необходимо избегать как излишней архаизации фактов, так и недооценки их древности.

Реконструкция доисторических явлений возможна лишь на широкой сравнительной базе, с учетом основных тенденций развития; логической интерпретации примеров из одного отдельно взятого языка, какой бы остроумной она ни была, недостаточно. Исходить следует из наиболее ранних примеров. Не следует переоценивать синтаксическую аналогию: толкование одного явления можно переносить на другое подобное явление, лишь убедившись в их полном тождестве или имея прямые доказательства их общего возникновения и развития. Для восстановления фактов отдельного славянского языка неизбежно сравнение по крайней мере с другими славянскими языками; для реконструкции же праславянских фактов необходима более широкая сравнительная база индоевропейских языков (особенно плодотворно сравнение с балтийскими языками).

При сравнении данных из различных языков целесообразно учитывать время их первого появления в памятниках и их характер. Нельзя рассматривать в одной плоскости явления, восходящие к разным периодам, диалектные явления и явления, свойственные только литературному языку, и т. п.; всегда желательна тщательная интерпретация фактов. Не исключено, что архаическое явление в том или ином языке случайно засвидетельствовано поздно или только в диалектах, между тем как в другом языке оно наблюдается уже в древнейших памятниках.

---

[19] Ср. OSS, стр. 287 и сл.; сб. «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962, стр. 141 и сл.

Актуальным представляется вопрос о применимости новых лингвистических методов и приемов в сравнительно-историческом изучении синтаксиса. Подход к языку как к структуре, различение системных и речевых явлений важно для синтаксического исследования. Любопытны опыты установления асимметрических бинарных корреляций маркированного и немаркированного членов[20]. Гораздо шире следовало бы прибегать к трансформационному методу, который может углубить наблюдения над синтаксической синонимикой. Проблематичным представляется более широкое применение дескриптивного метода, хотя отдельные его приемы, бесспорно, могут быть полезными.

5. Направление работы по сравнительно-историческому изучению синтаксиса. Опыты сравнительно-исторических трудов по славянскому синтаксису, появившиеся за последнее время, вряд ли можно признать полностью успешными: они ограничиваются регистрацией фактов, показывая лишь простое сопоставление фактов отдельных языков, в них имеются серьезные недочеты в интерпретации примеров. Более удовлетворительные достижения представлены в исторических исследованиях того или иного синтаксического явления в одном языке (иногда со сравнительной перспективой).

Необходимые предпосылки для полного сравнительно-исторического изложения славянского синтаксиса пока отсутствуют. Не достает обработки исторического синтаксиса большинства славянских языков, нет хороших описаний синтаксического строя всех современных языков, спорадическими являются труды по диалектному синтаксису. Ввиду этого полезно было бы выделить три последовательных этапа дальнейшей работы, отчасти перекрещивающиеся: прежде всего заняться систематической разработкой исторического синтаксиса отдельных славянских языков, одновременно создавая сравнительные монографии по частным вопросам, затем перейти к более широкому сравнительно-историческому анализу с попытками обобщения, после чего уже начать систематическую реконструкцию праславянского состояния.

Историческое изучение синтаксиса не может осуществляться без сравнительной установки, без учета состояния в других славянских языках (хотя бы в самых близких); его итоги должны быть удобны для использования в сравнительных целях. При историческом изучении легче соединить диахроническое и системное освещение явлений, проецируя их на более широкий фон и рассматривая в связи с конкурирующими, родственными и противопоставляемыми явлениями. Обработка материала может производиться различно: она может предусматривать охват всей синтаксической системы или нескольких явлений лишь на определенном этапе (но всегда с динамической перспективой в предыдущее и последующее состояние), она может также охватывать весь период исторического развития той или иной части синтаксического строя языка.

Сравнительно-историческая работа страдает — и еще долго будет страдать — от недостатка исторических исследований. Большей частью задача сравнительно-исторического исследования — определить синтаксическое развитие по всем славянским языкам — превосходит силы отдельного автора. Кроме того, нельзя забывать о системной взаимосвязанности изучаемого явления в каждом языке. К этому присоединяется трудность изложить развитие в изучаемых языках ком-

---

[20] См. R. Růžička, Korrelationswandel als Erklärungsmodell in der diachronischen Grammatik, ZfS, VII, 5, 1962.

плексно, в виде единого, по-разному дифференцировавшегося процесса. В идеальном случае следовало бы, исходя из общей исходной базы, проследить процессы дифференциации и конвергенции славянских языков вплоть до современного состояния[21]. Однако пока не удается убедительно воссоздать такую общую исходную базу — это возможно лишь на основании сравнительно-исторического анализа. Можно, однако, исходя из древнейшего письменно засвидетельствованного состояния, сопоставлять его с более поздним и затем прослеживать дальнейшие процессы, общие и различные в изучаемых языках. Известные затруднения связаны также с неравномерностью письменной фиксации явлений, с хронологическими и стилевыми расхождениями. Сначала целесообразнее было бы, видимо, изучить больший комплекс явлений в нескольких близких языках, нежели одно явление во всех языках. Способы изложения могут быть различными, однако не следует ограничиваться параллельным описанием по отдельным языкам. Нельзя не учитывать также и развитие неславянских языков, исторически контактировавших со славянскими или использовавшихся в качестве литературных языков.

Реконструкция праславянского синтаксиса как самая трудная часть работы может стать лишь последним, завершающим этапом работы. Генетические предположения возможны и при исторических и сравнительно-исторических исследованиях, однако без более широкой сравнительной перспективы. Нельзя согласиться с тем, чтобы широко представленные по славянским языкам факты истолковывались лишь на основании данных одного языка. Реконструкция должна опираться на более широкую сравнительную индоевропейскую базу, в частности на развитие в близкородственных языках (балтийских, германских, иранских), однако нужна особая осмотрительность, чтобы не сравнивать несоизмеримое.

*

Ускорению работы значительно содействовало бы более тесное сотрудничество синтаксистов славянских стран. Важен обмен опытом, взаимное ознакомление с текущими работами и их результатами, помощь при привлечении материалов других славянских языков и при их интерпретации. Немалую помощь оказывали бы также систематические критические информации о всех издающихся работах по славянскому историческому и сравнительно-историческому синтаксису. Взаимное сотрудничество очень выиграло бы от унификации (или хотя бы от сближения) терминологии, насколько это вообще осуществимо при имеющихся расхождениях.

Удобной формой реализации такого сотрудничества явится V Международный съезд славистов в Софии. Хорошо было бы обсудить на нем рекомендацию синтаксического совещания от 1961 г. в Брно учредить при Международном комитете славистов комиссию по изучению славянского синтаксиса, которая имела бы целью обмен информацией, координацию работ и организацию взаимной помощи синтаксистов разных стран; такая комиссия могла бы обеспечивать и библиографические справки и предусматривать публикацию межславянских синтаксических сборников.

---

[21] Ср. R. Mrázek, Historickosrovnávací studium větných typů, OSS, стр. 175—176.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. КРАМСКИЙ

К ПРОБЛЕМЕ АРТИКЛЯ

1

Проблему артикля можно представить как часть более широкой проблемы категории определенности и неопределенности; исследуя ее в этом плане, следовало бы рассмотреть все средства, которыми выражается эта категория (сюда относятся, например, демонстративы, падежные формы, передающие определенность — неопределенность, и т. д.); мы ограничимся исследованием типического формального проявления этой категории — артикля. В этой статье выясняются некоторые основные проблемы функции артикля, а также проводится сравнение языков с точки зрения выражения в них категории определенности — неопределенности посредством артикля [1].

Самый факт наличия в языке артикля есть проявление категории определенности. В. Матезиус считал определенность видовой модификацией, т. е. категорией вторичной. Видовой модификацией, согласно Матезиусу, является такое изменение значения слова, при котором основное значение слова остается не затронутым, тогда как при категориальных различиях значение слова полностью преобразуется; так, переходность — непереходность глагола в чешском языке представляет собой категориальное различие, определенность же в английском является видовой модификацией. Видовая модификация в одном языке может быть существенной частью грамматической системы, в другом —

[1] Из обширной литературы по проблеме артикля укажем здесь лишь на основные работы, непосредственно затрагиваемые в настоящем исследовании. Прежде всего это обширное исследование: R. de la Grasserie, De l'article (morphologie et syntaxe), MSLP, IX, 1896. Это, кажется, единственная работа, устанавливающая некоторую типологию функционирования различных типов артиклей в самых различных языках мира. Однако сейчас это в своем роде исключительное исследование не удовлетворяет, поскольку его данные о некоторых, в особенности неиндоевропейских, языках не являются вполне надежными. Автор нередко приписывает функции артиклей формальным средствам, имеющим иные функции. Так, например, он находит артикль в языках банту и кавказских, для которых наличие артикля следует признать весьма проблематичным. Во многих случаях, приводимых Ла Грассери, можно говорить лишь о демонстративе, но не об артикле. Понятно, что это искажает общую картину функционирования артиклей в языках мира.

Из более поздней литературы об артикле назовем следующие основные исследования: A. Biard, L'article défini dans les principales langues européennes, Bordeau, 1908; P. Christophersen, The articles, Copenhagen — London, 1939; W. E. Collinson, Indication. A study of demonstratives, articles, and other «indicaters», Baltimore, 1937 («Language monographs», 17); R. Brandstetter, Der Artikel des Indonesischen verglichen mit dem des Indogermanischen, Luzern, 1913 (последняя работа, наряду с упомянутой работой Грассери, является единственным широко поставленным исследованием об артикле в неевропейских языках); E. Seidel, Zu den Funktionen des Artikels (vorzugsweise an rumänischem, französischem, englischem und deutschem Material), «Bulletin linguistique», VIII, 1, Bucarest, 1940; W. Hodler, Grundzüge einer germanischen Artikellehre, Heidelberg, 1954.

лишь дополнительным средством более точной квалификации значения. Так, существование артикля в романских и германских языках, по Матезиусу, свидетельствует о том, что категория определенности является для них важной частью грамматической системы, тогда как отсутствие члена в древнеславянских языках показывает, что определенность имен существительных была для них случайным признаком [2]. Для обозначения определенного артикля существуют различные термины. Приведем некоторые английские: definite, determinative, defining, individualizing, particularizing, specializing, descriptive, familiarizing, actualizing, concretizing, substantivizing и т. д. Термин definite, по-видимому, обозначает, что субстантив, к которому присоединяется артикль, выражает нечто определенное; приблизительно то же означают эквивалентные названия determinative и defining.

Такова наиболее обычная теория, которой придерживаются Ла Грассери, Гейер, Бехагель, Есперсен, Поутсма, Дейчбейн и др. [3] Некоторые исследователи рассматривают функцию артикля как «индивидуализирующую». Согласно Поутсме, главной функцией обоих артиклей является детерминация, однако определенный артикль имеет также и вторичную функцию индивидуализации, специализации или партикуляризации. Дейчбейн наряду с детерминированным артиклем выделяет также артикль дескриптивный. Гейер безразлично употребляет термин «актуализация» и «индивидуализация». Бюлер пользуется термином «субстантивация» [4], Ельмслев — «конкретизация» [5].

Рассмотрим некоторые теории артикля. Наиболее распространенной является теория детерминации. Согласно этой теории, существует различие между нулевой формой артикля и определенным артиклем на разных ступенях детерминации. Обозначаемое нулевой формой имеет неопределенный объем, тогда как форма с определенным артиклем означает нечто, имеющее меньший объем по сравнению со всем классом объектов и ограниченное определенными пределами. Детерминация обычно означает контраст, но не с корреспондирующим неопределенным членом, а со всеми остальными единицами, принадлежащими к тому же классу. Христоферсен считает, что эта теория не применима к «единичным словам» («uniques») [6], которые не позволяют подразумевать контраст между названным объектом и другими объектами того же класса, а ведь артикль часто употребляется и с этой группой слов. Дейчбейн разрешает проблему артикля путем противопоставления следующих двух членов: a) der de-

---

[2] См. V. Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt, Praha, 1947, стр. 166—167.

[3] Ср. P. A. Geijer, Om artikeln, dess ursprung och uppgift särskildt i franskan och andra romanska språk, в кн. «Studier i modern språkvetenskap», I, Upsala, 1898; O. Behaghel, Deutsche Syntax, I, Heidelberg, 1923; O. Jespersen, Essentials of English grammar, London, 1943; его же, Language, London, 1925; его же, A modern English grammar, Heidelberg, I—1909, II—1914, III—1927; его же, The philosophy of grammar, London, 1924; H. Poutsma, A grammar of late modern English, II, Groningen, 1914; M. Deutschbein, System der neuenglischen Synatx, Göthen, 1917.

[4] K. Bühler, Sprachtheorie, Jena, 1934.

[5] L. Hjelmslev, Principes de grammaire générale, København, 1928.

[6] Христоферсен различает: 1) «unit-words», т. е. слова, означающие нечто единичное и само себя исчерпывающее, индивидуум или феномен, принадлежащий к классу подобных ему объектов; они материальны (ср., например, *girl*, *house*, *flower*, *pen*) и нематериальны (ср., например, *day*, *hour*, *system*, *event*); если же класс состоит лишь из одного члена, то говорится о «uniques», или о единичных субстантивах (например, *the world*, *the universe*); 2) «continuate-words», т. е. слова, означающие нечто сплошное, простирающееся в пространстве и времени. Частично оно поддается описанию в определенных границах и определенной форме, однако предмет как таковой в целом считается континуативным; такие сущности материальны, например *butter*, *water*, *iron*, *clay*, и нематериальны, например *music*, *leisure*, *hunger*, *constancy*.

finierende, determinierende Artikel, die Deutlichkeit einer Vorstellung hervorhebend, б) der deskriptive oder präsentierende Artikel, die Anschaulichkeit und Klarheit einer Vorstellung andeutend. Этот, второй, случай, очевидно, охватывает и единичные субстантивы. Как полагает Христоферсен, эту теорию столь же трудно доказать, сколь и опровергнуть; теория Дейчбейна излишне расплывчата, чтобы беспрепятственно применяться ко всем случаям употребления артикля.

Имена собственные поддаются объяснению с позиций этих теорий, которые в этом пункте весьма близки между собой; таковыми являются теория актуализации (Гейер и Дейчбейн), теория конкретизации (Ельмслев) и в особенности теория субстантивизации (так, Бюлер считает эту функцию артикля важнейшей, хотя она и не бывает никогда единственной). Согласно этим теориям, артикли придают определенному субстантиву, который сам по себе является абстрактным (за исключением имен собственных, которые всегда конкретны), некий конкретизирующий элемент; с точки зрения теории субстантивизации — это элемент субстанции. По этой теории, имена собственные заключают в себе лишь субстанцию, но не описание, а следовательно, не нуждаются в артикле. Однако при этом остаются без объяснения континуативные слова и слова во мн. числе. Это побудило Христоферсена выдвинуть свою «теорию ознакомления и единства» («theory of familiarity and unity»). По этой теории, определенный артикль вызывает присоединение к потенциальному значению слова («unit-word») определенной ассоциации с ранее полученным значением, которая позволяет сделать заключение о том, что имеется в виду именно данный конкретный феномен. Конечно, человек может быть лишь косвенно знаком с тем, что обозначено словом. Когда мы говорим об определенной книге, совершенно правильно будет высказывание *The author is unknown*; известным, на которое здесь указывается, является книга. А поскольку каждая книга имеет автора, знание о книге автоматически предполагает, что здесь имеется определенный автор. Определенный артикль *the* своей ассоциацией с предшествующим опытом придает особую черту общему значению слова. Однозначная отсылка к внешнему значению (не содержащемуся в значении нового слова) дает знать, что слово обозначает один определенный феномен и тем самым приближается по своему характеру к имени собственному. Наше знакомство с обозначенным объектом может быть совсем незначительным, однако важно то, что мы ощущаем, что слово представляет определенный феномен. Равным образом, при обозначении индивидуума именем собственным знание о нем может быть весьма малым, однако нам ясно, что имеется в виду лишь одно определенное лицо или вещь.

Неопределенный артикль *a* не требует никакого предшествующего знания; здесь не имеется связи с предшествующим опытом помимо идеи самого слова, и модификация потенциального значения слова поэтому незначительна. У unit-words функция неопределенного артикля сводится к подчеркиванию единства, присущего слову уже самому по себе. Артикль *a*, по Христоферсену, является нейтральным по отношению к знанию (о предмете); он это знание не обозначает, но и не исключает. Например: *I wonder if you have come across a fellow called James Birch. We were at Eton together*. Здесь речь идет об одном определенном лице, о котором предполагается, что слушающий его знает. Поскольку это лишь догадка, здесь требуется нейтральная форма, однако нельзя сказать, что *a* здесь означает неопределенность. Другой пример: *His father is an M. P.* Здесь предполагается определенность и известность, речь может идти лишь об одном *M.P.*, однако из этих лиц ни одно не было прежде в центре внимания; единичность есть единственное качество, подлежащее обозначению.

His father is the M. P. означало бы идентификацию *his father* и определенного *M. P.*, о котором ранее уже говорилось.

Функция определенного члена у continuate-words и у плюралов, по Христоферсену, та же, что и у unit-words. *The* отсылает к некоторому значению, уже ранее приобретенному слушателем; артикль объясняет, что подразумевается лишь одна определенная часть взаимосвязанного целого. Однако эта часть не становится тем самым индивидуальным членом класса подобных объектов. Обозначение такого типа единства лежит вне сферы артикля *the*, хотя оно и несет в себе идею определенности границ.

2

Трудно решить, какая из приведенных выше теорий является наиболее правильной. Верно лишь то, что той или иной теорией нельзя полностью объяснить все случаи употребления или отсутствия артикля. Та или иная теория может быть пригодной для одного языка и не годиться для другого. Иногда между значением артикля в разных языках существует лишь незначительное соответствие. В языках, в которых нет артикля того типа, как в английском или немецком, соответственное понятие может выражаться при помощи иных грамматических категорий. В некоторых языках Азии объектный падеж по своим функциям может быть соотнесен с определенным артиклем типа английского. Разграничение номинатива и партитива в финском в какой-то мере подобно функции артиклей. Точно так же французский артикль не является совершенно таким же, как артикль в других языках. Его отличие от артиклей других языков может состоять в незначительных расхождениях значения, но может заключаться и в том, что французский артикль, кроме своих основных функций, имеет и вторичные, которые квалифицируют род и число; артикль нередко служит единственным различителем обоих чисел, ср. *une maison*, *des maisons*, *la maison*, *les maisons*. Вторичные функции можно установить и для немецкого артикля, ср. *Ich ziehe Bier dem Wein vor*; артикль употреблен здесь лишь для обозначения датива, что доказывается альтернативной фразой *Ich trinke lieber Bier als Wein* [7]. Перед личными именами артикль обозначет падеж: *der Tod des Sokrates*, но *Sokrates Leben* [8]. Современный английский артикль хотя и не имеет подобных функций, как это констатирует Христоферсен, однако имеет вторичные функции несколько иного характера, а именно — он субстантивирует прилагательные (например, *the poor* означает целый самостоятельный класс, согласно дискуссионному замечанию И. Польдауфа).

Еще значительнее различия в функциях артиклей в некоторых неиндоевропейских языках. Здесь следует быть осторожным, чтобы не принять за артикль какой-либо показатель рода, числа, лица или другой категории. При сравнении функционирования артикля в различных языках следует прежде всего установить существо категории артикля вообще, выяснить функции артикля и определить некоторый, хотя бы и весьма приближенный, критерий артикля, нечто такое, что по возможности

[7] См. Behaghel, указ. соч., стр. 39.

[8] См. L. Edman, Über den Gebrauch des Artikels im Neuhochdeutschen, Upsala, 1862. Из других работ о немецком артикле обратим внимание на следующие: H. M. Heinrichs, Studien zum bestimmten Artikel in den germanischen Sprachen, Giessen, 1954; H. Glinz, Die innere Form des Deutschen, 2. nachgeführte Auflage, Bern — München, 1961; К. Г. Крушельницкая, Смысловая функция артикля в современном немецком языке, «Труды Военного ин-та иностр. языков», 7, М., 1955; Т. В. Строева и Л. Р. Зиндер, Грамматическая категория соотнесенности имени существительного в немецком языке, «Проблемы языкознания. Сб. в честь акад. И. И. Мещанинова», Л., 1961.

устранило бы или по крайней мере уменьшило различия между функциями артикля в разных языках. Дать во всем точное определение артикля, которое годилось бы для всех языков, было бы весьма трудной задачей, едва ли разрешимой при современном состоянии исследования проблемы. Здесь следует вполне согласиться с В. Годлером [9] в том, что изучение артикля пока еще находится в начальной стадии.

При решении вопроса о сущности категории артикля, его функции, следует указать на то, что категория определенности основана на противопоставлении индивидуума и класса, которое лежит в основе нашего мышления. Большинство слов выражает и класс, и индивидуум. Эта смысловая дифференциация достигается употреблением артикля. Иными словами: то обстоятельство, что в субстантивах проходит плоскость «индивидуум — класс», делает возможным существование противопоставления «субстантив с артиклем — субстантив без артикля». Категориальное различие «индивидуум — класс» в таком случае следует понимать как аналогичное, например, категориальному различию совершенного — несовершенного видов глагола, которое основано на том, что известное действие, обозначаемое глаголом, протекает определенным способом.

К этому основному различию присоединяется еще один элемент: детерминация. Однако это не только детерминирующие артикли; детерминация может выражаться и при помощи указательных и притяжательных местоимений, а иногда и другими способами. Для установления типологии языков по признаку наличия артикля основное значение имеет вопрос о том, как определить, когда указательное местоимение становится артиклем. Об артикле можно говорить в том случае, когда определенный артикль служит для обозначения субстантива в нарицательной функции (например: ***The horse*** *is an animal*); отдельный предмет здесь представляет целый класс. Если местоимение имеет такое значение, оно становится артиклем [10]. Кроме того, артикль не является чистой детерминацией, что следует и из изложенных выше теорий. То обстоятельство, что артикль придает субстантиву некоторый элемент (например, субстантивизирующий, конкретизирующий, актуализирующий, элемент известности и под.), также отличает артикль от демонстративов. В отличие от демонстративов, артикль всегда несет в себе детерминацию плюс нечто, некоторый иной элемент, который модифицирует значение слова.

Наконец, следует определить отношение между артиклем определенным и неопределенным. И хотя здесь противопоставление общего и единичного играет важную роль, однако речь должна идти не только об этом противопоставлении. Возникает вопрос о том, что является признаковым и что беспризнаковым. Неопределенный артикль означает неотождествляемую единичность, тогда как определенный артикль означает, как мы уже показали, единичность или общность [*der Hund* = 1. «собака» (как класс) — общность, 2. «собака» (определенный уникум) — единичность].

Определение границы между демонстративом и артиклем создает основу для установления функций артикля в отдельных языках.

3

Обратимся к рассмотрению общей картины распространения артиклей в различных языках. Попытаемся установить определенную типоло-

[9] W. Hodler, указ. соч., стр. 10.

[10] Напомним и о другом различии между артиклем и местоимением: местоимение лишь факультативно, тогда как артикль обязателен и является постоянной принадлежностью субстантива.

гию языков с точки зрения функционирования артиклей [11]. Как уже было сказано выше, в этой типологии мы не имеем в виду все средства, при помощи которых выражается категория определенности и неопределенности,— это в значительной степени затруднило бы классификацию языков, так как все эти средства не принадлежат одному и тому же плану; здесь принимаются во внимание только артикли, т. е. те формальные средства, которые в их конкретном применении не имеют никакой другой функции. Например, здесь не рассматривается выражение неопределенности при помощи падежа, так как падеж при этом не выполняет отдельно две функции — функцию падежа и функцию артикля. Что касается выражения артикля при помощи неопределенного числительного «один», то поскольку в его конкретном применении эти две функции не совмещаются (иными словами — функция числительного и функция артикля отделены), эта форма артикля в типологию включена. Представляется возможным выделить пять главных типов языков в зависимости от того, представлены ли оба артикля (тип А), только определенный артикль (тип Б), только неопределенный артикль (тип В), артикли определенный, неопределенный, партитивный (тип Г) или артикли отсутствуют (тип Д). Первые два типа имеют подтипы, выделяемые на основании наличия одного или двух артиклей в ед. и во мн. числе, в препозитивной или постпозитивной форме.

Тип А. Языки, имеющие два артикля: определенный и неопределенный

I. Определенный артикль представлен в единственном и во множественном числе, неопределенный только в единственном.

1. *Оба артикля препозитивны.* Типичным представителем этой группы являются германские языки: английский, голландский и немецкий. В английском, как известно, имеется определенный артикль *the*, неопределенный *a* или *an* (перед гласным следующего слова). В голландском имеются различия в роде, а именно *de* для муж. и жен. родов, *het* для ср. рода, во мн. числе *de* для всех родов; неопределенный артикль *een* для всех родов. В немецком род различается у определенного артикля в ед. числе (*der*, *die*, *das*) и так же у неопределенного (*ein*, *eine*, *ein*).

Из угро-финских языков к этой группе принадлежит венгерский, в котором имеется определенный артикль *a*, *az* (последний — перед субстантивом с начальной гласной) и неопределенный *egy*. Интересно отметить, что неопределенный артикль употребляется в венгерском языке гораздо реже, чем в немецком, и в основном — при обозначении единства.

В древнеегипетском представлен определенный артикль *pa*, *pe*, жен. род — *ta*, *te*, мн. число — *na*, *ne*, *nan*, *nen*. Неопределенный артикль — *ua*. Полинезийский язык обитателей острова Самоа имеет определенный артикль *le* и неопределенный — *se*, который выполняет и функции числительного. Меланезийский язык ненгоне имеет определенный артикль *re*, неопределенный — *se*. Из индонезийских языков к этому типу относится мазаретский, язык обитателей одного из островов около Новой Гвинеи. В качестве определенного артикля здесь употребляется демонстратив *di*, а в качестве неопределенного — числительное *emsian*, однако в их употреблении отмечается непоследовательность. Необходи-

[11] Здесь, разумеется, не представляется возможным дать исчерпывающий перечень языков, принадлежащих к тому или иному типу, группе или подгруппе; можно привести только примеры. Эта вынужденная неполнота, однако, не мешает установлению определенных различий среди множества языков, представляющих отдельные типы.

мо было бы точно выяснить, действительно ли это артикль, а не указательное местоимение. Индонезийский язык базее, на котором говорят на о. Сулавеси (Целебес), имеет определенный артикль *i*, неопределенный — *on*.

2. *Определенный артикль постпозитивен, неопределенный препозитивен*. Из германских языков к этой группе принадлежат датский, норвежский и шведский, из романских языков — румынский. В датском языке определенный артикль имеет в ед. числе для общего рода форму *-en*, для ср. рода *-et*, ср. *Hesten* «das Pferd», *Huset* «das Haus», во мн. числе общее окончание *-ne* (*Hestene*, *Husene*). Форма неопределенного артикля для общего рода *en* (ср. *en Mand* «ein Mann»), для ср. рода *et* (ср. *et Hus* «ein Haus»). Подобным же образом представлен артикль в норвежском и шведском.

В румынском языке неопределенный артикль имеет в муж. роде форму *un*, в жен. роде *o*. Артикль склоняется. Во мн. числе в качестве неопределенного артикля употребляется местоимение *nişte*. Равным образом склоняется и определенный артикль (т. е. постпозитивное *-l*, *-le* для муж. рода, *-a* для жен. рода в ед. числе, *-i* для муж. рода и *-le* для жен. рода во мн. числе). В отличие от датского и шведского, в румынском языке и прилагательное может принимать определенный артикль, ср. *marele poet* «der grosse Dichter». Помимо постпозитивного артикля, в румынском языке имеется два вспомогательных артикля, *cel* и *cea*, которые в основном служат для подчеркивания адъектива, стоящего за субстантивом, преимущественно в аппозиции (например, *poetul cel mare*), а также употребляются при склонении числительных (*cele patru cărţi* «четыре книги») и при образовании формы превосходной степени (*poetul cel mai mare* = *cel mai mare poet* «der grösste Dichter»). Далее, в румынском языке имеется так называемый посессивный артикль, имеющий формы *al*, *a* и употребляющийся: а) перед генитивом, если непосредственно перед ним не стоит слово с постпозитивным артиклем (например, *marea operă a poetului* «великое произведение поэта»), б) перед определительными местоимениями и прилагательными, если непосредственно перед ними не стоит постпозитивный артикль (*casele sînt ale mele* «эти дома мои»), в) перед генитивом вопросительных и относительных местоимений (*omul a cărni nevastă e bolnavă* «муж, которого жена нездорова») и г) перед порядковыми числительными (*etajul al doilea* «второй этаж»).

Из индоевропейских языков к этой группе принадлежат, далее, армянский, в котором имеется определенный постпозитивный артикль *ə* или *n*; неопределенный артикль в восточноармянском — препозитивное *mi*, в западноармянском — постпозитивное *mə*.

Из индонезийских языков к этому типу можно отнести роттинезский (язык одного острова около Новой Гвинеи), в котором имеется неопределенный артикль *esa*, употребляемый совершенно регулярно, как неопределенный артикль в немецком. Определенный артикль имеет в роттинезском три формы: для единственного числа *a*, для множественного *la* после субстантива с гласным исходом и *ala* после субстантива с конечным согласным.

3. *Определенный артикль препозитивен, неопределенный постпозитивен*. Типичным представителем этой группы является арабский язык, в котором имеется определенный артикль *'al*, где *l* ассимилируется согласным последующего слова, если это один из следующих звуков: эмфатические *ṭ*, *ḍ*, *ṣ*, *ẓ* и соответствующие им неэмфатические *t*, *d*, *s*, *z*, зубные *t*, *d* и звуки *š*, *r*, *l*, *n* (например, *'al-bajtu* «das Haus», но 'at-tādžiru «der Kaufmann»). Неопределенным артиклем в арабском служит постпозитивный *-(u)n* (*bajtun* «ein Haus»), не изменяемый в роде, числе

и падеже; употребляется он только в ед. числе (кроме известной группы так называемых двучленных имен). Значение артикля в арабском подобно тому, какое он имеет в индоевропейских языках.

4. *Оба артикля постпозитивны.* Эта разновидность представлена принадлежащим к числу индонезийских языков купангским, в котором употребляется определенный вещный артикль *lia* с вариантами *li* и *la*, не различающимися при употреблении; мн. число *lias*, *lis*, *las*. Неопределенный артикль *mesa*.

II. Оба артикля, определенный и неопределенный, представлены в единственном и во множественном числе.

Прежде всего сюда относятся два романских языка — испанский и португальский. В обоих языках образуется регулярное мн. число неопределенного артикля, которым является неопределенное местоимение: исп. *unos hombres*, португ. *uns homens*. Точно так же определенный артикль выступает в ед. и во мн. числе: исп. *el*, *la*, *lo* в ед. числе, *los*, *las* во мн. числе; португ. *o*, *a* в ед. числе, *os*, *as* во мн. числе.

В коптском определенный артикль ед. числа муж. рода *pe*, *pi*, жен. рода *te*, *ti*, мн. числа *ne*, *ni*; неопределенный артикль ед. числа *u-*, мн. числа *han*. В мордовском встречаемся с определенным и неопределенным склонением имени существительного в ед. и мн. числах; это исключение в урало-алтайских языках.

К этому же подтипу принадлежит курдский, где, однако, формальная сторона довольно сложна [12]. Так, здесь имеется два неопределенных артикля: *ək*, восходящий к числительному *jək* «один», и *nə*, восходящий к неопределенному местоимению *hьnə* «несколько, некоторый»; *ək* используется при именах только в ед. числе, употребляясь в постпозиции; *nə* связано с выражением мн. числа и в постпозиции употребляется, присоединяясь к субстантиву, находящемуся в именном комплексе (например, *xortnə bədəw hatьn* «какие-то красивые юноши пришли»). *Hьnə* употребляется препозитивно. Препозитивный и постпозитивный неопределенный артикль часто употребляется одновременно для более выразительного подчеркивания неопределенности субстантива (например, *hьnə xortnə bədəw* «какие-то красивые юноши»). В качестве определенного артикля в курдском употребляются указательные местоимения *əv*, *əw* для ед. числа, *əvan*, *əwan* для мн. числа. Формы определенного артикля различают в ед. числе прямой и непрямой падежи, жен. и муж. род; во мн. числе такое разграничение не проводится. Формы определенного артикля согласуются с формами имен в роде, числе и падеже.

III. Несколько разновидностей определенного артикля, один неопределенный артикль.

Этот подтип представляют два американских языка — дакота и понка [13]. В языке дакота имеется неопределенный артикль wa^n, располагающийся за субстантивом. Определенных артиклей два: ki^n и $ḳo^n$; последний означает определенность в прошлом. В языке понка представлена развитая система артиклей. Различаются артикли для одушевленных и неодушевленных существительных. Артикли одушевленных существительных делятся на артикли субъекта и объекта, ед. и мн. чисел. Та-

---

[12] См. К. К. Курдоев, Грамматика курдского языка (курманджи), М.—Л., 1957, стр. 39—43.

[13] Оба языка принадлежат к группе языков сю (см. F. Boas, Handbook of American Indian languages, Washington, 1911).

ким образом, в языке понка представлены следующие артикли (причем все они постпозитивны):

1) Определенные артикли для неодушевленных существительных: а) *k'e* — для названий горизонтально расположенных предметов; б) *t'e* — для названий вертикально стоящих предметов, для собирательных терминов; в) *ea*^{n} — для наименований закругленных предметов; г) *ge* — для названий рассредоточенных предметов.

2) Определенные артикли для одушевленных существительных: А. Субъект: а) *ak'á* — ед. число для названий одушевленных предметов в спокойном состоянии; б) *amá* — ед. число для имен одушевленных предметов в движении; мн. число. Б. Объект: а) *t'an* — ед. число для названий одушевленных предметов в спокойном состоянии; б) *ei*^{n} — ед. число для имен одушевленных предметов в движении; в) *ma* — мн. число для имен одушевленных предметов; г) *eiñk'é* — ед. число для названий одушевленных сидящих предметов; д) *eañk'á* — мн. число для названий одушевленных сидящих предметов. Последние две формы не являются подлинными артиклями, хотя как будто выполняют их функции [14].

3) Неопределенный артикль *wi*^{n}.

Из индонезийских языков к этому подтипу можно отнести тагальский, в котором имеется неопределенный артикль *isa*, личный определенный артикль *si* и вещный определенный артикль *aň*; лигативные артикли *ň* и *na*.

Тип Б. Языки, имеющие только определенный артикль

Определенный артикль лишь одной разновидности

1. *Препозитивный артикль*. Эта разновидность охватывает довольно много языков. Сюда относится древнегреческий, в котором имеется определенный артикль ὁ, ἡ, τό; его употребление в общем соответствует употреблению определенного артикля в немецком языке. В греческом артикль может употребляться при субстантиве, адъективе, инфинитиве и причастии, а также при наречии, посессивном генитиве и использоваться в целой фразе.

В латышском в функции определенного артикля употребляется указательное местоимение *tas* «тот», *ta* «та», *ter* «те» (мн. число муж. и жен. родов). Для этого случая возникает вопрос, действительно ли это артикль. В древнеирландском был артикль *ind*. В древнееврейском имеется артикль *ha* с удвоением последующего согласного. Что касается индонезийских языков, то в даякском имеется личный артикль *i* для собственных имен и титулов (например, *i· radža* «der König»), а в функции артикля употребляется демонстратив (усиленная форма *jetä*, ослабленная *tä*); личный артикль *si* имеется в языке атье; в языке мадура имеется личный артикль *se*, который субстантивизирует и лигизирует прилагательные. Целый ряд других индонезийских языков также имеет определенный артикль, возникший из демонстративов. Американский язык хупа (атхапаскский язык) знает употребление указательного местоимения *hai*, которое относится к наименованию лица или вещи в ед. или во мн. числе и по своему употреблению занимает промежуточное положение между соответствующими англ. *that* и *the*. Оно употребляется также перед формой 3-го лица посессива, где в английском артикль не требуется.

2. *Постпозитивный артикль*. К этой разновидности прежде всего относится индонезийский и несколько других из группы индонезийских язы-

[14] См. F. Boas, указ. соч., стр. 939—940.

ков. В индонезийском в качестве определенного артикля употребляется указательное местоимение *itu*, которое в роли определения часто утрачивает свой прономинальный характер и становится определенным артиклем. В кушитских языках сомали и бедавие имеется энклитический определенный артикль, образующий со словом единство. В сомалийском артикль не различается по числам, однако различается по родам в зависимости от окончания субстантива, к которому он присоединяется. Так, в муж. роде представлены следующие варианты: 1) *ka*, *ki*, *ku*, (*ko*), 2) *ga*, *gi*, *gu*, (*go*), 3) *ha*, *hi*, *hu*, (*ho*), 4) *a*, *i*, *u*, (*o*); в жен. роде — 1) *ta*, *ti*, *tu*, (*to*), 2) *da*, *di*, *du*, (*do*). Варианты 1—4 муж. рода, а также 1—2 жен. рода различаются в соответствии с окончанием субстантива. Гласный меняется в зависимости от того, идет ли речь о предмете, близком к говорящему (*a*), отдаленном (*i*) или очень далеком (*u*, *o*). При соединении субстантива с адъективом артикль употребляется лишь при субстантиве, например, *ninka yar* «*der kleine Mann*» (*Mann — der klein*) [15]. В языке бедавие артикль различается в роде и числе [16]: в муж. роде при наименовании субъекта в ед. числе выступает *wū*, *ū*, во мн. числе — *yā*, *ā*, при наименовании объекта в ед. числе *wō*, *ō*, во мн. числе *yē* (*yi*), *ē* (*i*). В жен. роде при наименовании субъекта в ед. числе представлено *tū*, во мн. числе *tā*, при наименовании объекта в ед. числе *tō*, во мн. числе *tē* (*te*). Любопытно, что в языке бедавие нет настоящих относительных местоимений: вместо них употребляется артикль или они вообще отсутствуют. В языке хауса имеется определенный артикль муж. рода *-na* (*-n*), жен. рода *-ta* (*-t*, *-r*, *-l*).

II. Несколько разновидностей определенного артикля

К этому подтипу относятся по преимуществу индонезийские языки. Так, в языке буги (о. Сулавеси) имеются личные артикли *la* (муж. род), *i* (жен. род), вещный артикль *e*, артикль *ede*, употребляющийся в основном в поэтическом языке, и лигативный артикль *si*. Новый макассарский язык (о. Сулавеси) имеет личные артикли *i* и *pusi*, *pun* (прежде всего в поэзии) и постпозитивный определенный артикль *a*; характерно, что этот артикль не опускается и в случае присоединения к субстантиву демонстратива. Язык болаанг-монгондон (о. Сулавеси) имеет препозитивный личный артикль *i* и постпозитивный вещный артикль *e*.

К этому же подтипу, далее, относятся филиппинские языки. Так, в языке бисайя имеется личный артикль *si* и вещный артикль *an*, лигативные артикли *na* и *ṅ*, для числительных — *ka*. Коканский язык имеет личный артикль *si*, который в генитиве имеет форму *ni*, в дативе — *ken*. Вещный артикль — *ti*, генитив *ti*, датив *iti*, мн. число *dagiti* для номинатива и генитива и *ka dagiti* для датива. Личный артикль в номинативе наряду с формой *si* может иметь также форму *ni*. В бонтокском есть личный артикль *si*, вещный *nan*. Из языков о. Мадагаскара хова имеет личные артикли *i* и *ra*, определенный вещный артикль *ni*, который стоит перед названием вещи и теми наименованиями лица, которые не требуют артикля *ra* или *i* (например, *ni olona* «der Mensch, die Menschen»). Из языков о. Суматры тоба имеет личный артикль *si* и в функции артикля использует демонстративы *i*, *on*, *inon*; то же и в ряде других языков — например, каро, серавай, бесамах, лампонг и т. д. Из языков о. Явы и соседних островов новояванский имеет артикль родства *si*, артикли, выражающие почтительность (*pun*) и честолюбие (*saṅ*). В старояванском было пять личных артиклей — *ra*, *sa*, *pun*, *saṅ*, *si*; из них первые три были

[15] См. L. Reinisch, Die Somali Sprache, III, Wien, 1903 («Südarabische Expedition», V, 1), стр. 50—53.

[16] См. C. Meinhof, Die Sprachen der Hamiten, Hamburg, 1912, стр. 144.

редкими. В сунданском имеется артикль родства *si* и артикль вежливости *ki*. Балинезийский язык имеет личный артикль *i*, наряду с которым употребляется *ki* для муж. рода и *ni* для жен. рода и, кроме того, определенный вещный артикль *e* или *ne*.

Из языков островов, прилегающих к Новой Гвинее, биманеский имеет личный артикль *la* и определенный вещный артикль *de* или *ede*. Камберский имеет личный артикль *i* и определенный вещный артикль *na* в ед. числе, *da* во мн. числе. Формы артиклей *na* и *da* омофонны с посессивными *na* и *da*, которые, однако, стоят после слова, например: *na lima* «die Hand», *na lima na* «seine Hand», *da lima na* «seine Hände». Как видим, артикль здесь одновременно выражает и категорию числа.

Из суданских языков к этому подтипу принадлежит язык фульбе, в котором имеется личный и вещный постпозитивные артикли в ед. и во мн. числах. В языке гола [17] имеется определенный артикль, который выражается определенными суффиксами, а также партитивный определенный артикль.

Тип В. Языки, имеющие только неопределенный артикль

К этому типу прежде всего относятся литературные персидский [18] и таджикский языки. В персидском неопределенный артикль передается тремя способами — грамматическим, лексическим и лексико-грамматическим: а) при помощи постпозитивной энклитической частицы *-ī*, например, *ketāb-ī* «ein Buch»; б) при помощи числительного *yek* «один» (*yek ketāb*); в) совокупностью двух этих средств (*yek ketab i*). Первый способ наиболее обычен для литературного языка, вторые два для разговорного. Неопределенный артикль может быть и во мн. числе и выражаться теми же средствами, что и в ед. числе: а) *ketābhā-ī*, б) *yek ketabha*, в) *yek ketābhā-ī* «Bücher» [19]. Интересны случаи, когда неопределенный артикль стоит рядом с определенным субстантивом. Если после субстантива следует квалифицирующий адъектив, возможны два случая: а) энклитическая частица присоединяется к адъективу и стоит, следовательно, в конце целой группы, например *ketāb-e kamyâb-ī* «редкая книга»; б) энклитическая частица присоединяется к субстантиву, и адъектив выступает вне изафета: *ketāb-ī kamyâb*. Когда субстантив определяется другим квалифицирующим субстантивом, артикль *-ī* относится на конец группы: *tâdž-e žar-ī* «золотая корона». *yek* в функции неопределенного артикля может предшествовать целой группе: *yek ketāb-e kamyâb-i* «редкая книга», *yek tâdž-e zar* «золотая корона» [20].

В таджикском неизвестность выражается при помощи суффикса *-e*, например *odame* «ein Mensch». Когда при субстантиве находится определяющий его адъектив, суффикс *-e* присоединяется к адъективу: *xabari nave* «некоторое новое сообщение». Для выражения неопределенности предмета в таджикском употребляется также числительное *jak*

[17] См. D. Westermann, Die Gola-Sprache in Liberia, Hamburg, 1921.

[18] В литературном персидском языке нет определенного артикля, однако в диалектной разговорной речи в функции определенного артикля используется суффикс *-e*; он употребляется в ед. числе и является в настоящее время факультативным (например, *pasar —pasare* «юноша». Он может выступать совместно с указательным местоимением, например *īn pasare* «этот юноша» (о котором идет речь). См. об этом G. Lazard, Grammaire du persan contemporain, Paris, 1957, стр. 69.

[19] Функция неопределенного артикля в ед. и мн. числах, однако, не идентична. Неопределенный артикль в ед. числе означает неопределенность и вместе с тем единичность: *ketāb* «книга» — *ketāb-ī*, *jek ketāb-(ī)* «некоторая книга (какая-то книга)». Неопределенный артикль во мн. числе означает лишь неопределенность: *ketābhā-ī*, *jek ketābhā(-ī)* «des livres, certains livres».

[20] См. G. Lazard, указ. соч., стр. 67.

«один». Только неопределенный артикль *ē* «один» имеется в торвали — кухистанском языке, родственном кашмирскому.

К этому же типу относится турецкий (равно как и другие тюркские языки) с неопределенным артиклем *bir* «один»[21] в ед. числе. Употребление артикля в непосредственной или дистантной препозиции создает в турецком известные семантические различия, которые не поддаются соответствующему выражению ни на одном другом языке. Оба выражения *büyük bir ev* и *bir büyük ev* обозначают «большой дом»; в первом случае (*büyük bir ev*) *bir* служит не только для обозначения неопределенности дома, но и для подчеркивания того, что говорится именно о большом доме. Во втором случае *bir* подчеркивает то, что речь идет о некотором большом доме. Если же нужно обозначить и качественную сторону адъектива, и неопределенность последующего существительного, *bir* употребляется дважды — перед адъективом и перед субстантивом: *bir güzel bir kız* «одна (некоторая) красивая девушка». Приведенные разновидности употребления неопределенного артикля представлены и у генитивного словосочетания, например *bir kadının şapkası* «le chapeau d'une femme», *kadının bir şapkası* «un chapeau de la femme» и *bir kadının bir şapkası* «un chapeau d'une femme»; ср. определенную форму *kadının şapkası* «le chapeau de la femme».

Тип Г. Языки, имеющие артикль неопределенный, определенный и партитивный

Типичными языками этой группы являются французский и итальянский. Неопределенный артикль: франц. *un* (муж. род) и *une* (жен. род), итал. *un*(*o*), *un*(*a*); определенный артикль: франц. *le* (муж. род, ед. число), *la* (жен. род, ед. число), *l'* (ед. число), *les* (мн. число); итал. *il*, *lo*, *l'* (муж. род, ед. число), *la*, *l'* (жен. род, ед. число), *i*, *gli*, *gl'* (муж. род, мн. число), *le*, *l'* (жен. род, мн. число). Неопределенный артикль во мн. числе заменяется партитивным артиклем, который обозначает часть чего-то (неопределенного множества), например франц. *Il a mangé du pain* «он поел хлеба», итал. *ha mangiato del pane*; или франц. *il y a des gens qui...* «есть люди, которые...», итал. *ci sono degli uomini che...* Как видим, партитивный артикль частично совпадает с неопределенным. Отличие его от неопределенного артикля в том, что партитивный артикль подчеркивает часть неопределенного множества. В других языках функция партитивного артикля выражается описательно (кусок, часть, раздел чего-либо, немного и т. п.) или субстантивом без артикля (ср. исп. *ha comido pan*).

---

[21] Однако турецкий язык отличается от приведенных выше языков. А именно, это типичный случай языка, в котором категория определенности выражается не артиклем, а иными средствами. Интересно свидетельство С. С. Майзеля (см. его кн. «Изафет в турецком языке», М.—Л., 1957, стр. 59) о том, что категория определенности играет в турецком бо́льшую роль, чем, например, во французском, немецком или английском. В этих языках категория определенности проявляется в артикле, в турецком же она проявляется и в склонении (определенный аккузатив имеет окончание *-i*, например *bahçeyi gördüm* «Ich sah den Garten», неопределенный аккузатив не имеет окончания, однако употребляется с неопределенным артиклем *bir*, например *bir bahçe gördüm* «Ich sah einen Garten») и в форме причастий прошедшего и будущего времени (употребление их с *olan* и без *olan*). Надо заметить, что А. Н. Кононов вслед за К. Гренбеком (K. Grönbech, Der türkische Sprachbau, I, Kopenhagen, 1936, стр. 92—96) признает существование в турецком языке «определенного члена», который «выражается аффиксом принадлежности 3-го лица» (см. А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.—Л., 1956, стр. 98). В соответствии с нашим пониманием аффикс принадлежности нельзя считать артиклем, так как он выполняет функцию притяжательного местоимения, и, следовательно, у него нет функции только артикля.

Тип Д. Языки, не имеющие артикля

Следует отметить, что большинство языков мира не имеет формально выраженного артикля. Так, артикля нет в большинстве индийских языков, в славянских за небольшим исключением, в кавказских, в большей части дравидских, тибето-китайских и американских. Однако это, конечно, не означает, что в этих языках категория определенности — неопределенности вообще не выражается; она не выражается формой артикля, но может обозначаться многими и различными иными средствами. В качестве примера можно назвать сербскохорватский, словенский (литературный) и литовский языки, в которых определенность и неопределенность различаются формами прилагательного.

*

В результате предпринятой попытки установить типологию языков по принципу наличия артикля можно — оставив в стороне тип Д — констатировать, что весьма продуктивными являются первые два типа: тип А (артикль определенный и неопределенный) и тип Б (только определенный артикль), в то время как следующие два типа: тип В (только неопределенный артикль) и тип Г (артикль неопределенный, определенный, разделительный) — являются в значительной степени непродуктивными, охватывающими лишь несколько языков. Далее, интересно также отметить, что тип А характерен для значительной части индоевропейских языков, между тем как тип Б характерен по преимуществу для индонезийских и некоторых африканских языков.

Перевела с чешского *О. А. Лаптева*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

И. А. МЕЛЬЧУК

О «ВНУТРЕННЕЙ ФЛЕКСИИ» В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ И СЕМИТСКИХ ЯЗЫКАХ

В данной статье делается попытка уточнить понятие «внутренней флексии». При этом приходится рассмотреть несколько смежных понятий общей морфологии: в первую очередь, понятие «аффиксации» и, в меньшей степени, понятия «фузии» и «чередования».

*

Определения, которые уже более ста лет даются термину «внутренняя флексия» в словарях, энциклопедиях, учебниках и обобщающих трудах по лингвистике, отличаются друг от друга, в основном, несущественно — формой выражения. Их можно подытожить при помощи, например, следующей формулировки: «Внутренняя флексия — это способ выражения определенных значений только посредством изменения самого корня слова».

В качестве примеров, с одной стороны, приводят разнообразные и многочисленные факты семитских языков, в частности классического арабского: например, «ломаное» мн. число (ед. число *ǧild* «кожа» — мн. число *ǧulūd* или *ʾaǧlād* «кожи», ед. число *ḥasan* «красивый» — мн. число *ḥisān* «красивые»), пассив [*ṭabaʿa* «(он) напечатал» — *ṭubiʿa* «(он) был напечатан»] и другие аналогичные примеры. С другой стороны, ссылаются на целый ряд явлений индоевропейских языков — таких, как англ. *foot* «нога» — *feet* «нóги», нем. *Bruder* «брат» — *Brüder* «братья»; (*sie*) *geben* «дают» — (*sie*) *gaben* «дали», франц. *brun* [brœ̃] «коричневый» — *brune* [bryn] «коричневая», русск. *жар* [жар] — *жарь* [жар'], *гол* [гол] — *голь* [гол'], *собирать* — *собрать*, *пробегать* — *пробежать* и т. д. [1] Семитские и индоевропейские примеры указанного типа приводятся на равных правах, а иногда даже вперемежку. Правда, обычно указывают, что для индоевропейских языков внутренняя флексия в общем нехарактерна и что образцы «классической» внутренней флексии дают в изобилии семитские языки, где внутренняя флексия является регулярным и обычным приемом выражения определенных значений. Других различий — не по регулярности или нерегулярности использования внутренней флексии, а по существу обозначаемых этим термином явлений — между внутренней флексией семитских и индоевропейских языков обычно не отмечают [2].

Такая трактовка внутренней флексии восходит по крайней мере к А. Шлейхеру (а может быть, и к предшествующим авторам). В 1861 г.,

---

[1] А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1960, стр. 229—231; М. В. Панов, О грамматической форме, «Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина», 73, 6, 1959; V. Skalička, Sur le rôle de la flexion interne dans la langue, «Linguistica slovaca», IV—VI, Bratislava, 1946—1948.

[2] См., например, V. Skalička, указ. соч.

предлагая типологическую классификацию языков, Шлейхер объединил индоевропейские и семитские языки в один тип как «языки, которые могут регулярно изменять корень слова для выражения определенных отношений»[3] и ввел известный символ для индоевропейского и семитского корня: *R**, т. е. «изменяющийся корень». От Шлейхера через составителей многочисленных Handbuch'ов указанная точка зрения проникла в современную общую лингвистику, где стала, по-видимому, прописной истиной.

Однако между представлением о внутренней флексии, традиционно принятым в общей лингвистике, и не менее традиционной трактовкой явлений типа араб. *ǧild* — *ǧulūd* или англ. *foot* — *feet* в специальных работах по семитским и индоевропейским языкам существуют противоречия.

Первое противоречие. В работах обобщающего характера внутренняя флексия, понимаемая как способ выражать значения посредством изменения корня, объявляется характернейшей особенностью семитских языков; тем самым подразумевается существование семитских корней, способных изменяться для передачи смысловых различий. Между тем в специальных семитологических работах одним из основных свойств семитских языков повсеместно признается почти абсолютная неизменяемость семитского трехсогласного корня. Недаром Л. Массиньон назвал семитские корни «неподвижными звездами на лексическом небосводе»[4]. В самом деле, в таком типичном для классического арабского языка[5] ряду, как *kabīr* «большой» — *kibār* «большие» — *'akbar* «самый большой» — *kubrā* «самая большая» — *akābir* «самые большие» (муж. род) — *kubr* «величина» — *kabura* «быть большим» — *kabbara* «делать большим, увеличивать» и т. д., отчетливо виден неизменный корень *kbr*, выражающий идею «большого». Отдельные случаи, когда допускаются изменения в фонемном составе семитского корня, определяются строгими правилами; подобные изменения — всегда комбинаторные, автоматически обусловливаемые некоторыми соседними аффиксами (т. е. это ассимиляции и диссимиляции), и поэтому они не могут служить для смыслоразличения. В подавляющем же большинстве случаев семитский корень вообще не изменяет своего фонемного состава[6]. Отсюда возникает следующая дилемма:

1. Либо мы хотим, чтобы термин «внутренняя флексия» по-прежнему применялся к семитским фактам типа *kabīr* — *kibār* и чтобы внутренняя флексия по-прежнему считалась специфической особенностью семитских языков; тогда придется отказаться от определения внутренней флексии как способа выражать смысловые различия посредством изменений корня и искать другое определение, которое соответствовало бы семитским фактам.

2. Либо мы хотим, чтобы внутренняя флексия по-прежнему понималась как способ выражения значений посредством изменения корня; тогда придется признать, что в семитских языках никакой внутренней флексии нет, а есть нечто другое, что нуждается в особом определении и в особом термине.

---

[3] A. Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, I, Weimar, 1861, стр. 3.

[4] L. Massignon, Réflexions sur la structure primitive de l'analyse grammaticale en arabe, «Arabica», I, 1954, стр. 9.

[5] В данной работе в качестве типичного представителя семитских языков взят классический арабский. Не соответствующие его нормам особенности других семитских языков и современных арабских диалектов не рассматриваются. При транскрибировании арабских имен опускаются так называемые «танвинные» окончания.

[6] Чисто фонетическими изменениями (в силу неизбежных аккомодаций — например, разные оттенки *-b* - в *kabīr* и *kibār*), которые вообще не несут в семитских языках никакой функциональной нагрузки, следует пренебречь.

Ясно, что указанное противоречие, как и последующее рассмотрение внутренней флексии, зависит от того, что̀ именно мы будем считать корнем в семитских, индоевропейских и др. языках. Однако подробно рассматривать вопрос об определении корня в рамках данной статьи не представляется возможным.

Второе противоречие. В работах по общей лингвистике термин «внутренняя флексия» применяется одновременно и к семитским, и к индоевропейским и некоторым другим языкам, т. е. под определенное выше понятие внутренней флексии подводятся как семитские факты типа *kabīr* — *kibār*, так и индоевропейские факты типа *foot* — *feet*. Между тем, хотя между обоими рядами фактов есть известное внешнее сходство, по существу они глубоко различны, чем и обусловлена их разная трактовка в специальных исследованиях по семитским и индоевропейским языкам.

В соответствии с длительной научной традицией семитологии — от средневековых арабских и европейских филологов до семитологов-компаративистов и структурной лингвистики наших дней [7] — словоформы типа *kabīr* — *kibār* или *bajt* «дом» — *bujūt* «дома́» считаются двучленными (двуморфными). В них, как говорилось выше, выделяется неизменный корень (араб. *'aṣl*), обычно трехсогласный (редко четырех- или двухсогласный) и так называемая формула, или схема (араб. *wazn*, *binā'* или *ṣīġat*). (Из двух синонимических терминов мы выберем термин «схема» и в дальнейшем будем пользоваться именно им.) Двучленность семитских словоформ означает, что в такой словоформе, как *bujūt* «дома́» (= «дом + мн. число»), можно указать часть, соответствующую значению «дом» (корень *b-j-t*, ср. *bajt* «дом»), и часть, соответствующую значению «мн. число» (схема *-u-ū-*, см. *durūs* «уроки», *ǧujūš* «армии», *ḥurūb* «во́йны» и т. д.). Членимость словоформ типа *kabīr* — *kibār* или *bajt* — *bujūt* на корень и схему интуитивно очевидна и обычно не вызывает сомнений у семитологов.

В фундаментальном исследовании Е. Куриловича словоформы типа *kabīr* — *kibār* рассматриваются как нечленимые, а различие между ними по форме и по значению признается апофонией [8] (см. об этом ниже, стр. 39). Однако Курилович имеет в виду не современные семитские языки, а прасемитский в его древнейшем состоянии, когда «глагольные корни еще не были полностью сведены к чисто консонантическому скелету и представляли иногда основной вокализм, сопоставимый с нормальной ступенью корня в индоевропейском» [9]. Курилович убедительно показал, что прасемитский язык был в определенном отношении ближе к праиндоевропейскому, чем современные семитские и индоевропейские языки друг к другу, и что «внутренняя флексия» в современных семитских языках развилась из апофонии. Однако это, по нашему мнению, не противоречит тому, чтобы трактовать словоформы типа *kabīr* — *kibār* в современных семитских языках как двучленные.

Что же касается таких пар, как англ. *foot* — *feet* или нем. *Mutter* — *Mütter*, то здесь положение совсем другое. Словоформы указанного типа традиционно рассматриваются как нечленимые — и в теории, и на практике (например, при изучении иностранных языков) — ср., однако, ниже, стр. 30. Считается невозможным указать в такой словоформе, как

---

[7] См.: J. Cantineau, Racines et schèmes dans les langues sémitiques, «Actes du XXI Congrès international des orientalistes», Paris, 1949, стр. 93—95; его же, Racines et schèmes, «Mélanges offerts à W. Marçais», Paris, 1950; D. Cohen, Essai d'une analyse grammaticale de l'arabe, «La traduction automatique», II, 2/3, 1961.

[8] См. J. Kuryłowicz, L'apophonie en sémitique, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961, стр. 13.

[9] Там же, стр. 17.

feet «нóги» одну часть со значением «нога», и другую часть со значением «мн. число». Принято полагать, что словоформа *feet* как целое соотносится со значением «нóги» и что означающее «feet» не членится на части разумным образом, хотя означаемое «нóги» членится на части по аналогии с подавляющим большинством английских существительных: «нóги» = «нога + мн. число». Словоформы типа *feet* или *came* «пришел» считаются результатом изменения соответствующих корней *foot-* и *come-* или, говоря современными терминами, результатом применения к корням операции чередования, которая придает корням новую форму для выражения новых добавочных значений: *foot-* «нога» → *feet* «нога + мн. число», *come-* «приходить» → *came* «приходить + прош. вр.». Таким образом, если в арабском мн. число к *kabīr* образуется от того же самого неизмененного корня *kbr*, но при помощи другой схемы, то в английском мн. число к *foot* образуется посредством изменения корня *foot-* в *feet* (о сущности этого последнего явления см. ниже, стр. 37). Это, разумеется, верно лишь при условии что мы отказываемся в таких случаях, как *foot — feet* или *give — gave*, считать корнями *f-t* и *g-v*.

Если признать указанное различие, то оказывается, что как ни определять понятие внутренней флексии, все равно не удается подвести под него семитские и индоевропейские факты одновременно. Мы приходим опять к той же самой дилемме: либо сохранить традиционное определение внутренней флексии и закрепить термин за индоевропейскими языками, отказавшись от внутренней флексии в семитских языках; либо изменить определение в соответствии с семитским материалом и не называть «внутренней флексией» явление типа *foot — feet* в индоевропейских языках.

Прежде чем решать возникшую дилемму, необходимо более подробно рассмотреть соответствующий материал конкретных языков — семитских и индоевропейских. При этом мы будем считать, в соответствии со сказанным выше, 1) что семитские словоформы типа *kabīr — kibār* двучленны и состоят из неизменяемого корня и меняющихся схем и 2) что индоевропейские словоформы типа *foot — feet* или *come — came* нечленимы, причем *feet* и *came* — это результаты изменения корней *foot-* и *come-*. Все дальнейшее справедливо только при условии признания этих положений. Хотя оба эти положения представляются естественными и соответствуют традиционно принятым взглядам, они все-таки не очевидны и нуждаются в специальном обосновании, которое пока отсутствует. Подобное обоснование должно составить содержание отдельной работы; здесь же положения о двуморфности арабских словоформ *kabīr — kibār* и о нечленимости английских *foot — feet* принимаются без доказательства как возможные (и весьма вероятные) гипотезы.

Заметим, что иной подход к индоевропейским словоформам типа *foot — feet* или *sing* «петь + наст. вр.» — *sang* «петь + прош. вр.» все равно не избавил бы нас от необходимости пересматривать понятие внутренней флексии. Если считать, что в англ. *sing—sang- sung—song* и в аналогичных случаях мы имеем неизменяемый корень [s-ŋ] со значением «петь» и меняющиеся огласовки, выражающие разные добавочные значения[10], то семитские и индоевропейские примеры можно ставить на одну доску, но тогда внутреннюю флексию нельзя определять как изменение корня.

[10] Такая точка зрения, логически вполне допустимая, высказывалась, хотя весьма осторожно и как бы мимоходом, отдельными авторами: А. А. Реформатским (указ. соч., стр. 230), А. Мартине (A. Martinet, Éléments de linguistique générale, Paris, 1961, стр. 99), Ж. Кантино (J. Cantineau, Racines et schèmes, стр. 120).

Чтобы сохранить существующее понимание внутренней флексии, требуется отказаться от принятого определения корня в семитских языках и в словоформах типа *kabīr* — *kibār* видеть корень *kabīr*, одинаково рассматривая семитские и индоевропейские факты. Такой подход логически возможен, но, как представляется автору, противоречит лингвистической интуиции и поэтому отвергается. О возможных объективных доводах в пользу одного из нескольких допустимых описаний семитских и индоевропейских фактов (бо́льшая или меньшая экономность описания) см. стр. 40.

Мы начнем с рассмотрения семитских словоформ типа *kabīr* — *kibār*. Как уже говорилось, они состоят из корня и схемы. Что касается их к о р н я, то с функциональной точки зрения это в точности то же самое, что называют корнем в индоевропейских, урало-алтайских и других языках: та часть словоформы, которой соответствует основная, самостоятельная в семантическом отношении часть этой словоформы. Приведем для примера два параллельных ряда арабских и русских словоформ с общим корнем (корень выделен; в русских словоформах отмечен графический корень, что объясняется нежеланием затрагивать сложный вопрос о выделении фонем в русском языке; переход к фонемам, очевидно, ничего не изменил бы в сущности последующих рассуждений):

'iǧlis = *сядь*
jaǧlisu = *сидит*
juǧallisu = *сажает*
muǧallas = *посаженный*
ǧullās = *сидящие*
'aǧlisu = *сижу*
ǧilsat = *посадка*
ǧalsat = *заседание*
'aǧlasna = *(мы) усадили* и т. д.

В значения всех этих словоформ входит один и тот же основной семантический элемент: идея «сидения», «сидеть». Та часть словоформы, которая соответствует этому семантическому элементу, и есть корень: в арабском — *ǧ-l-s*, в русском — *сад-/сяд-/сед-/сид-/саж-/сиж-*. Приведенный пример еще раз иллюстрирует важную для нас формальную особенность семитского корня — его неизменяемость.

Большинство семитских морфем имеют по одной-единственной морфе [11]. Так, в арабском языке морфема «сидеть» всегда реализуется одной и той же морфой *ǧ-l-s*, независимо от позиции этой морфы в словоформе. В русском же языке эта морфема реализуется, как мы видели, шестью (графическими) морфами. Тем не менее, ф у н к ц и о н а л ь н о, т. е. как носители самостоятельных в семантическом отношении значений, арабские и русские (или, шире, семитские и индоевропейские) корни вполне эквивалентны.

Что же касается семитских с х е м, то при описании языков других семей это понятие не используется и соответствующие термины не употреб-

[11] *Исключения сводятся к двум типовым случаям: 1) корни, содержащие w, j или ', изменяются определенным образом в результате взаимодействия с аффиксами* (см. Н. В. Ю ш м а н о в, Грамматика литературного арабского языка, Л., 1928, стр. 41—45; е г о ж е, Строй арабского языка, Л., 1938, стр. 13, 35, 36—37); например, *kāla* «(он) сказал» и *kultu* «(я) сказал» при *ḳawl* «речь»; или *'ittiḥād* «единство, союз» при *wāḥid* «один»; 2) в корнях, оканчивающихся на зубной согласный, этот согласный может уподобляться начальному *t*- суффикса, *'aḫattum* «вы взяли» при *'aḫada* «он взял». Эти, а также некоторые другие, весьма редкие изменения корней всегда предсказываются по фонемному составу корня являются чисто автоматическими, незначащими чередованиями.

ляются. Однако это не означает, будто семитские схемы не имеют никаких функциональных эквивалентов в других языках. В самом деле, семитская схема — это минимальный в плане выражения (далее неразложимый) языковой знак, имеющий и означаемое и означающее[12]: *-u-ū-* «мн. число» (*bujūt* «дома́»), *-ā-i-* «действительное причастие» (*kātib* «пишущий»; субстантивированное «писец», «секретарь», «писатель»), *-u-aj-* «уменьшительность» (*ǧubajl* «горка», «маленькая гора») и т. д. Другими словами, схемы являются морфами точно так же, как и корни. А если так и если считать, что словоформы состоят только из корней и из аффиксов то схемы оказываются функционально эквивалентными тому, что в других языках повсеместно называют аффиксами.

Семитскую схему не принято относить к аффиксам; говоря о выделении неизменяемого корня в семитских словоформах, указывают, что словоформа определяется еще своей схемой, или говорят о «вставных гласных», о «внутренних формах» и т. д., но упорно избегают прямых высказываний о морфологической сущности схемы, о ее месте среди элементарных морфологических единиц.

По нашему мнению, семитские схемы ф у н к ц и о н а л ь н о ничем не отличаются от аффиксов — семитских же или индоевропейских, урало-алтайских и т. д. Признанию этого факта мешало, очевидно, смешение функционального и формального планов, поскольку с ф о р м а л ь н о й точки зрения семитские схемы действительно резко отличны от аффиксов «привычного» типа.

Начнем со значений, выражаемых схемами. Прежде всего, это так называемые грамматические значения: множественность — *-u-ū-* (*ḳalb* «сердце» — *ḳulūb* «сердца́») или *-i-ā-* (*kalb* «собака» — *kilab* «собаки»), сравнительная степень — *'a-a-*: *ḥasan* «красивый» — *'aḥsan* «самый красивый»), пассив — *-u-i-* (*ḍarab-a* «бил» — *ḍurib-a* «был избит») и т. д. Далее, это различные словообразовательные значения: уменьшительность — *-u-aj-* (*hirr* «кот» — *hurajr* «котик, котенок», *kitab* «книга» — *kutajb* «книжечка»), названия занятий и ремесел — *-i-a* (*at*) (*naḥl* «пчелы» — *niḥālat* «пчеловодство»), названия деятеля *-a-'C'-a-*[13] (*taḥana* «молоть» — *ṭaḥḥān* «мельник», *ḥadīd* «железо» — *ḥaddād* «кузнец») и т. д. Таким образом, семитские схемы выражают только семантически несамостоятельные, «добавочные» значения; а это — значения типично «аффиксальные» (с точки зрения аффиксации «привычного типа»: индоевропейских, урало-алтайских, картвельских и др. языков). Подобные значения могут выражаться аффиксами не только в несемитских языках, но и в самих семитских: так, в арабском мн. число от некоторых существительных образуется при помощи суффиксов *-ūna* и *-āt* [*muslim* «мусульманин» — *muslimūna*; *maǧall-*(*at*) «журнал» — *maǧall-*(*āt*)].

Правда, в ряде случаев семитским схемам нелегко приписать какое-то определенное значение: например, в арабском *-a-* или *-i-*, которые могут обозначать, в зависимости от корня, конкретный предмет (*bajt* «дом»), действие (*ḳar'* «стук»), действие, рассматриваемое собирательно (*ḍarb* «побои»), собирательность (*naḥl* «пчелы») и многое другое. Однако такая неопределенность значения свойственна и некоторым аффиксам самых разных языков: ср., например, русск. *-к-* (*электрич-к-а*, *косил-к-а*, *раздевал-к-а*) или исп. *-a*, *-o* (у существительных: *cas-a* «дом» — *cas-o* «случай»[14]

[12] См. J. C a n t i n e a u, Racines et schèmes dans les langues sémitiques, стр. 94; е г о ж е, Racines et schèmes, стр. 123.

[13] *-'C'-* означает удвоение предшествующего согласного.

[14] Целесообразность выделения суффиксов *-a*, *-o* в указанных примерах следует из того, что при словообразовании в качестве производящей основы всегда выступает часть без *-a*, *-o*: ср. *cas-ero* «домашний», *cas-eta* «кабина», *cas-ucho* «хижина», *casual* «случайный» и т. д.

и т. д.),— суффиксы, которые вообще не имеют значения, хотя и различают слова, не говоря уже о так называемых «основообразующих суффиксах», или «темах».

Для семитских схем характерна омонимия и синонимия. С одной стороны, одна и та же схема может означать совершенно разные вещи: например, *-u-ū-* обозначает и мн. число (*dars* «урок» — *durūs* «уроки») и отглагольное действие (*rakaba* «ехать верхом» — *rukūb* «езда верхом»). С другой стороны, одно и то же значение может выражаться разными схемами: так, в арабском мн. число выражается более чем тридцатью различными схемами, а для обозначения отглагольного действия (для образования так называемых масдаров от глаголов различных пород) используется свыше сорока схем. Подобные особенности свойственны и аффиксам. Омонимия аффиксов известна в огромном числе языков [ср. русск. *-й*: 1) повелит. накл. — *лежи*!, 2) мн. число им.-вин. падеж — *нулй*, 3) ед. число род. падеж — *рукй* и т. д.; англ. *-er*: 1) сравн. степень — *greater* «больший», 2) имя деятеля — *reader* «читатель»; венг. *-i*: 1) мн. число — *könyvei* «его книги», 2) относительное прилагательное — *pesti* «пештский» и т. д.]. Синонимия аффиксов широко представлена в индоевропейских языках (ср. род. падеж мн. числа в русском: *-й*, *-ов*, *-ев*, *-ей*, -∅[15]), в меньшей степени — в урало-алтайских и других (ср. аффиксы мн. числа в венгерском: *-k-* и *-i-* и т. д.).

И, наконец, если семитская схема не существует вне словоформы, отдельно от корня, то и аффиксы в индоевропейских, урало-алтайских и других языках являются по определению «связанными формами» и не употребляются вне словоформ.

Таким образом, с функциональной точки зрения, т. е. с точки зрения выражения определенных значений, ничто не мешает считать семитскую схему аффиксом. Более того, этого настоятельно требуют соображения общности и экономности описания, т. е. стремление соблюсти знаменитый принцип Оккама — entia non sunt multiplicanda![16] — и использовать как можно меньше основных терминов.

Итак, семитская схема — это аффикс, но аффикс весьма специфический в чисто формальном плане. Здесь нам придется сделать небольшое отступление — рассмотреть вопрос о типах аффиксов. Мы попытаемся вывести логически возможные формальные типы аффиксов, а потом проиллюстрируем фактическую встречаемость в разных языках этих теоретически мыслимых типов.

Традиционно различаются три типа аффиксов: префиксы, инфиксы, суффиксы. Эти типы рассматриваются как лежащие в одной плоскости и противопоставленные по одному признаку — по положению относительно корня: префиксы помещаются перед корнем, инфиксы — внутри корня, а суффиксы — позади корня. Однако представляется более целесообразным выделять здесь не один, а два признака противопоставлений: во-первых, инфиксы как морфы, способные «разрывать» корень, противопоставлены префиксам и суффиксам как морфам, не способным «разрывать» корень; во-вторых, среди этих последних различаются префиксы и суффиксы. Таким образом, мы будем считать, что инфиксы, с одной стороны, и префиксы — суффиксы, с другой, лежат в разных плоскостях.

Вообще среди свойств, в соответствии с которыми классифицируются аффиксы, следует выделить прежде всего свойства, связанные с «разрыванием» тех или иных морф. Эти свойства мы условно назовем «топологическими» и положим их в основу деления аффиксов на главные типы (в

---

[15] ∅ — нулевой суффикс (окончание).
[16] Что в свободном переводе означает: «Экономьте всюду и во всем».

рамках которых предполагается осуществлять дальнейшую классификацию). Можно указать два независимых топологических свойства аффиксов: 1) способность «разрывать» корень; по этому признаку различаются разрывающие и неразрывающие аффиксы; 2) способность «разрываться» при соединении с корнем; по этому признаку различаются прерывные и непрерывные аффиксы [17].

Так как названные признаки независимы и бинарны, то в соответствии с ними получается четыре главных класса аффиксов:

1. Неразрывающие непрерывные аффиксы, или конфиксы [18]. Конфиксы делятся на префиксы, суффиксы (более удачным представляется термин постфикс, предложенный И. А. Бодуэном де Куртене и А. А. Реформатским [19]) и интерфиксы (термин А. М. Сухотина и М. В. Панова [20]: это аффиксы, соединяющие два корня, т. е. обязательно следующие за одним корнем и предшествующие другому, ср. так называемые «соединительные звуки» в сложных словах различных языков: русск. *газ-о-провод*, нем. *Sitzung-s bericht* «отчет о заседании», исп. *pel-i-rojo* «*рыж-е-волосый*» и т. д.).

2. Неразрывающие прерывные аффиксы, или циркумфиксы. Циркумфиксы охватывают корень (или — редко — другой аффикс) с двух сторон — как спереди, так и сзади, «разрываясь» при этом на части, но не «разрывая» корень. Примеры циркумфиксов: нем. *ge-... -t* и *ge-...-en*, образующие причастия прошедшего времени (*ge sag-t* «сказанный» от *sag-en* «говорить», *ge-fund-en* «найденный» от *find-en* «найти»); груз. *me-... -e*, образующий порядковые числительные (*me-or-e* «второй» от *or-i* «два»), *sa-...-o*, образующий nomina loci (*sa-kartvel-o* «Грузия» от *kartvel-i* «грузин», *sa-megrel-o* «Мегрелия» от *megrel-i* «мегрел»), *me ... el-*, образующий nomina agentis (*m-sm-el-i* «пьющий» от корня *-sm* «пить», *m-čam-el-i* «едящий» от корня *-čam-* «есть»); русск. *в-...-ом/-ём* (*в-два-ом*, *в-двенадцатер-ом*); индонез. *pen-...-an*, образующий названия «переходных действий» (*pen-djaga-an* «охрана, охранение» от *djaga* «стеречь», *pen-diri-an* «строительство» от *diri* «сам», *men-diri-kan* «строить») или *per ... an*, обозначающий деятельность, процесс, состояние, а также собирательность (*per-dagang-an*) «торговля» от *dagang* «чужой», «торговый»; *per-tentang-an* «противоречие» от *tentang* «(на)против»; *per-adab-an* «цивилизация» от *adab* «цивилизованный» и т. д.

3. Разрывающие непрерывные аффиксы, или инфиксы. Инфиксы вставляются в корень (или аффикс), не «разрываясь» при этом сами, но «разрывая» корень. Примеры инфиксов: назальный инфикс в индоевропейских языках, не имеющий определенного значения (существует гипотеза

---

[17] Определяемые здесь прерывные морфы не имеют, по-видимому, ничего общего с «прерывистыми морфемами» («discontinuous morphemes») З. Харриса, который понимает под прерывистыми морфемами последовательности согласующихся элементов [например, *-us...-us* в лат. *bon-us fili-us* «хороший сын», *-s...-a* в лат. *victric-s* (*victrix*) *bon-a* «хорошая победительница»] или последовательность согласованных классных показателей в суахили (см. Z. S. Harris, Discontinuous morphemes, «Language», XXI, 3, 1945)

[18] Термин «конфикс» был предложен Н. В. Юшмановым [см. его «Грамматику литературного арабского языка», стр. 20, а также его же «Амхарский язык» (М., 1959), стр. 24], но для обозначения того типа аффиксов, который ниже предлагается называть циркумфиксом: аффиксы типа *a...b*, ср. примеры Юшманова — араб. *ja...ū* «3-е лицо, мн. число» в *ja-ḍrib-ū* «ударяют» или амхарск. *tə...u* «2-е лицо, мн. число» в *tə-gəz-u* «вы покупаете» (впрочем, с нашей точки зрения, в данном конкретном случае *ja...ū* и *tə... u* — это не циркумфиксы, а сочетания независимых друг от друга префикса и суффикса: префикс *ja-* «3-е лицо» и суффикс *-ū* «мн. число», ср. *ja-ḍrib-u* «ударяет» и *ta-ḍrib-ū* «ударяете»; аналогично обстоит дело в амхарском).

[19] А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 217.

[20] М. В. Панов, указ. соч.

о древнем инхоативном значении этого инфикса)[21] — лат. *vi-n-c-o* «побеждаю» при *vic-i* «я победил», *ru-m-po* «я ломаю» при *rup-i* «я сломал»; греч. *la-m-b-an-o* «беру» при *e-lab-on* «я взял»; слав. **sęd-ǫ*<**se-n-d-ǫ*, русск. *сяд-у* (буквально: «начну сидеть») при **sěsti*<**sed-ti*, русск. *сесть* (ср. аналогичное: *лягу* при *лечь*); тагальские инфиксы *-um-*, образующий отыменные глаголы (*s-um-ulat* «писать» от *sulat* письмо; *p-um-asok* «входить» от *pasok* «вход»), и *-in-*, образующий пассив (*s-in-ulat* «был написан» от *sulat* «письмо», *p-in-atay* «был убит» от *patay* «мертвец»); индонезийские инфиксы *-el-*, *-em-*, *-er-*, не имеющие одного определенного значения (*t-el-apak* «ступня» от *tapak* «ступня», *g-el-etar* и *g-em-etar* «трястись» от *getar* «дрожать»).

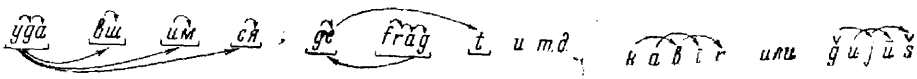


Рис. 1 Рис. 2

4. Разрывающие прерывные аффиксы, или т р а н с ф и к с ы. Трансфиксы соединяются с корнем, «разрывая» его и «разрываясь» при этом сами. Трансфиксами как раз и являются семитские схемы, о которых речь шла выше. Примеры трансфиксов: араб. *-ā-i-*, образующий действительное причастие (*k-ā-t-i-b* «пишущий»), *-u-ū-*, образующий формы мн. числа (*r-u-s-ū-m* «рисунки») и т. д. Трансфиксы встречаются, по-видимому, только в семитских языках; по крайней мере, автору неизвестны другие случаи явной трансфиксации.

Напрашивается вывод, что трансфиксация в каком-то смысле неравноправна с другими типами аффиксации, что это тип, которого языки, вообще говоря, стремятся избежать. Условимся считать морфы группами связанных фонем и обозначать связи между фонемами и между морфами при помощи стрелок. См. рис. 1.

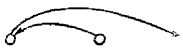
Тогда «нелюбовь» к трансфиксации можно выразить так: «Языки избегают такого типа аффиксации, при котором происходит пересечение стрелок» [а при трансфиксации стрелки пересекаются обязательно (см. рис. 2)] или в более общей форме: «Языки избегают такого взаиморасположения групп связанных элементов, при котором между членами одной группы находится лишь часть членов второй группы». Эта формулировка обладает достоинством общности; она применима как к морфологии, так и к синтаксису, где она верна для групп синтаксически связанных слов. Как показано в ряде работ[22], в текстах научно-делового жанра не встречается пересечение стрелок, соединяющих связанные по смыслу слова (точнее, пересечение стрелок допускается в нескольких точно определяемых случаях).

В разговорном (и поэтическом) языке конструкции с пересечением стрелок между словами встречаются чаще, но лишь как факультативные варианты. Язык, где пересечение стрелок было бы нормой, автору неизвестен.

Указанную параллель можно продолжить. В синтаксисе избегается также обрамление стрелок — такая ситуация, когда главная группа слов

[21] Примеры на индоевропейский назальный инфикс приводятся только ввиду их общеизвестности. В индоевропейских языках инфиксация не была регулярным и продуктивным явлением; поэтому представляются обоснованными сомнения в статусе элемента *-n-/-m-* (считать ли его «настоящим» инфиксом или нет).

[22] См., например, Л. Н. И о р д а н с к а я, О некоторых свойствах правильной синтаксической структуры (на материале русского языка), ВЯ, 1963, 4.

оказывается между членами подчиненной (поясняющей) группы[23]:  . Морфологическим аналогом конструкции с обрамлением является циркумфиксация: корень — главная группа, циркумфикс — подчиненная. Циркумфиксация — тоже достаточно редкое явление, т. е. ситуация обрамления стрелок избегается и в морфологии[24].

Не следует думать, однако, что параллелизм между морфологией и синтаксисом абсолютный. Так, инфиксация сравнительно редка; что же касается ее синтаксического аналога — поясняющая группа между членами главной группы (например, обстоятельство между подлежащим и сказуемым),— то он, как кажется, вполне обычен. Впрочем, быть может, по крайней мере в каких-то определенных языках существует тенденция избегать подобной ситуации? Этот вопрос остается пока открытым.

Нельзя также забывать, что порядок морф регламентирован несравненно более жестко, чем порядок слов в предложении: порядок морф почти всегда абсолютно ненарушим; порядок слов, напротив, почти всегда

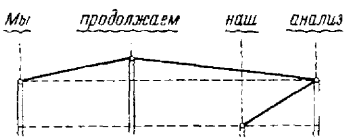


Рис. 3

существует лишь как вероятностная тенденция. Только твердо помня об этом, мы можем искать общие закономерности морфологии и синтаксиса и иногда пользоваться в синтаксисе «морфологической» терминологией: говорить о синтаксической конфиксации, циркумфиксации и т. д.

Употребляя термины именно в таком широком смысле, можно сказать, что среди всех способов соединять между собой группы связанных элементов, язык наиболее склонен к «конфиксации», т. е. к последовательному расположению групп, а наименее — к «трансфиксации», т. е. к взаимопроникновению групп.

Вернемся, однако, к типам аффиксации. Соотношение между перечисленными главными типами аффиксов можно представить при помощи таблицы на стр. 37.

Мы не будем рассматривать прочих свойств аффиксов, в частности позиционных и сочетательных. Описанной классификации вполне достаточно для того, чтобы отчетливо представить себе место семитских схем среди остальных аффиксов.

Итак, то, что называют «внутренней флексией» в семитских языках, это не что иное, как опреде-

[23] Там же.

[24] Тот факт, что при расположении слов в предложении обычно избегается пересечение и обрамление стрелок, был впервые описан в иных терминах Д. Хейсом [D. Hays, Basic principles and technical variations in sentence structure determination, Santa Monica, 1960 (Mathematics division. P-1948)] и Лесерфом (Y. Lecerf, Programme des conflits, modèle des conflits, «La traduction automatique», I, 4, 5, 1960), которые сформулировали гипотезу о проективности естественных языков: предложение считается проективным, если и только если при изображении его в виде дерева перпендикуляры, опущенные из узлов дерева, не пересекают его ветвей (см. рис. 3).

Предполагается, что большинство предложений в самых разных языках проективно. Требование проективности равносильно требованию отсутствия пересечения и обрамления стрелок. См. также работу С. Я. Фитиалова («О моделировании синтаксиса в структурной лингвистике», «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962), где указанное свойство естественных языков называется конфигурационностью.

Типы аффиксов / Признаки аффиксов	Конфиксы	Циркумфиксы	Инфиксы	Трансфиксы
Способность разрывать корень	—	—	+	+
Способность разрываться при соединении с корнем	—	+	—	+

ленный тип аффиксации, а именно трансфиксация.

Обратимся теперь к индоевропейскому материалу — к примерам типа англ. *foot — feet*, *come — came*, нем. *Mutter — Mütter*, *geben — gaben*, алб. *kalë* «конь» — *kuaj* «кони», *dorë* «рука» — *duar* «ру́ки», рум. *copac* [kopak] «дерево» — *copaci* [kopač] «деревья», *urs* [urs] «медведь» — *urşi* [urš'] «медведи», *brad* [brad] «пихта» — *brazi* [braz'] «пихты» и др. Как уже говорилось, все подобные словоформы нечленимы, или, точнее, нечленимы их означающие. Означаемые этих словоформ как раз естественным образом распадаются на отдельные семантические элементы: на основной, самостоятельный («корневое значение») и на дополнительный, вспомогательный («аффиксальное значение»); однако в соответствующих означающих не выделяются отдельные части — морфы, которым можно было бы приписать названные значения [25]. Такая ситуация может быть описана различными способами, из которых мы выберем следующий.

Представляется целесообразным считать, что словоформы типа *foot — feet* или *come — came* — это результат перекодирования определенных последовательностей морф: *book* + *s* = *books*, *mass* + *es* = *masses* и т. д., но *foot* + PL[26] = **foot*PL→ →*feet*, *man* + PL = **man*PL → *men* или *ask* + *ed* = *asked*, но *come* + + PST = **come*PST → *came* и т. д. Поэтому словоформы типа *book — books* или *ask — asked* не должны ставиться в один ряд со словоформами типа *foot — feet* или *come — came*: первые — это непосредственно данные последовательности морф (*book* + #, *books* + *s*, *ask* + #, *ask* + *ed*), вторые — это единицы, кодирующие взятые целиком последовательности морф (*foot* + SG = **foot*SG → *foot*; *foot* + PL = **foot*PL → *feet* и т. д.). Словоформы *books* и *feet* представляют собой явления разного порядка: означающее *books* может быть непосредственно разложено на части — морфы, имеющие своими означаемыми определенные семантические элементы; означающее *feet* не может быть непосредственно разложено на части — оно имеет своим означаемым определенную последовательность означающих — морф, т. е. *feet* является метаозначающим. Использование метаозначающих, т. е. кодирование определенной последовательности означающих новым единым и неделимым означающим есть не что иное, как фузия (термин Э. Сэпира [27]), или амальгамирование (термин А. Мартине [28]). Фузия (амальгамирование) — это «слияние», или «сплавление» нескольких морф, образующих линейную после-

[25] Напомним, что мы не рассматриваем иную, логически также возможную трактовку случаев типа *foot—feet* (см. выше, стр. 30).

[26] Под SG, PL и PST здесь понимаются условные суффиксы ед. числа, мн. числа и прошедшего времени.

[27] Э. Сэпир, Язык, М.—Л., 1934, стр. 102—105.

[28] A. Martinet, указ. соч., стр. 97—99.

довательность, в новое нечленимое означающее, в единицу высшего порядка. Такие единицы мы предлагаем называть суперморфами. Англ. *feet* — это суперморфа, кодирующая последовательность морф *foot-* и -PL; нем. *gab-* в *gaben* — суперморфа, кодирующая последовательность морф *geb-* и -PST-; рум. [braz'] — суперморфа, кодирующая последовательность морф [brad-] и -PL и т. д. Следует особо подчеркнуть, что в то время, как англ. *book* — это двуморфная словоформа, состоящая из морф *book-* и- # (нулевой суффикс ед. числа), англ. *foot* — словоформа, которая состоит из одной нечленимой суперморфы, кодирующей последовательность морф *foot-* и -SG; аналогично обстоит дело с англ. *tooth* «зуб», *goose* «гусь», *mouse* «мышь», *man* «человек» и т. д.

Широко известны также примеры суперморф, как франц. *au* [o] (*à* + *le* → *au* перед согласным) и *du* (*de* + *le* → *du*), португ. *à* (*a* + *a* → *à*, где первое *a* — предлог, а второе — определенный артикль жен. рода), нем. *vom*, *am* (*von* + *dem* → *vom*; *an* + *dem* → *am*) и т. д.

Ч. Хоккет предложил для указанных единиц термин «portmanteau morphs»; однако название «суперморфа» представляется более удачным, поскольку в нем подчеркивается различие уровней (уровня морф и уровня суперморф); кроме того, термин «portmanteau morphs» трудно перевести на русский язык.

При вышеизложенном понимании фузии полная, развернутая логическая схема анализа и синтеза таких суперморф, как *feet* или *gab-(en)*, предполагает два последовательных этапа: 1) анализ — сначала суперморфа преобразуется в последовательность морф (*feet* → **foot* PL, *gaben* → **geb* PST-*en*); затем эта последовательность морф анализируется как «обычные» словоформы (**foot* PL → *foot* + PL, *geb*PST*en*=*geb* + + PST + *en*); 2) синтез — сначала к корню присоединяется (условный) аффикс (*foot* + PL = **foot* PL, *geb* + PST + *en* = **geb*PST*en*), затем получившаяся последовательность морф преобразуется в единую суперморфу (**foot* PL → *feet*, **geb*PST*en* → *gaben*). Представление о словоформах типа *feet*, *gaben* как о результатах двухступенчатого процесса (аффиксация, затем фузия) соответствует их действительному историческому развитию. В самом деле, *foot* < *fōt*, а *feet* < *fēt* < *fōtī*, где *ē* < *ō* под воздействием *ī*, которое потом отпало; так обстоит дело в случаях исторического умлаута: ассимиляция + падение конечного звука (суффикса), вызвавшего эту ассимиляцию. Похоже объясняются и случаи исторического аблаута: присоединившийся суффикс вызвал сдвиг ударения и — в результате этого — различные изменения в корне, а затем суффикс отпадал [29]. Таким образом, полное двухступенчатое описание суперморф обладает определенной объяснительной силой: оно позволяет свести образование суперморф к известным фонетическим явлениям — ассимиляции, сдвигу ударения, падению конечных звуков слова и т. д. [30].

Однако на практике, например, для автоматического анализа и синтеза или для преподавания языков, а также в большинстве случаев и в теории удобнее пользоваться сокращенным описанием образования суперморф [31], а именно: считать, что суперморфы типа *feet* или *gab-en* являются результатом определенной операции, примененной к соответствующим корням. Эта операция есть не что иное, как хорошо известное знача-

---

[29] Разумеется, так произошли не все современные суперморфы: во многих случаях действовала аналогия.

[30] Ср. тонкие замечания А. А. Зализняка о возможной связи между понятиями синхронного описания и диахронией: А. А. Зализняк, О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией, «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем (тезисы докладов)», М., 1962, стр. 56.

[31] Здесь имеется в виду исключительно синхронное, а не историческое описание.

щее чередование, которое мы предлагаем, вслед за Е. Куриловичем[32], назвать апофонией[33].

Когда в некоторых языках к значению определенных корневых морф требуется присоединить определенное «аффиксальное» значение (например, в английском — к значению «нога» присоединить значение «мн. число»), над этими корневыми морфами выполняются определенные операции апофонии, преобразующие исходные морфы в суперморфы — нечленимые носители сочетания нескольких значений (в данном случае — двух: корневого и аффиксального). Таким образом, конкретная апофония, т. е. операция замены одних определенных корневых фонем другими, условно рассматривается как носитель аффиксального значения: если в словоформе *books* значение «мн. число» отнесено к морфе *-s*, то в словоформе *feet* то же значение можно отнести к операции замены *-oo-* на *-ee-*. На практике, например, при автоматической обработке текста, анализ или синтез словоформ типа *feet*, *gaben* удобно, вероятно, осуществлять в один этап: анализ — после того как *feet*, *gaben* не удалось разбить на морфы обычным порядком, к ним применяются в обратном порядке операции апофонии, которые приводят к получению корневых морф и одновременно сами дают определенную «аффиксальную» информацию, точно так же, как ее дали бы какие-нибудь суффиксы в «нормальных» словоформах; синтез — чтобы выразить присоединение значения мн. числа и прош. вр. к значениям корней *foot-* и *geb-* соответственно, к этим корням применяются определенные апофонии, приводящие к суперморфам *feet* и *gab-*.

Не следует, однако, забывать, что описание словоформ типа *feet*, *gaben* при помощи апофонии — это лишь практически удобное и целесообразное сокращение развернутого описания данного типа словоформ: аффиксация + фузия. Между апофонией и фузией (амальгамированием) существует определенное соотношение: апофония = аффиксация + фузия, где знак + означает последовательное выполнение операций.

Итак, то, что называют «внутренней флексией» в индоевропейских и некоторых других языках, это не что иное, как апофония — значащее чередование, которое состоит в том, что для выражения определенных значений корень слова подвергается определенным изменениям. Важно подчеркнуть, что результатами этих изменений являются не какие-то «измененные корни», а новые единицы высшего порядка — суперморфы.

Теперь, когда относящийся к вопросу о внутренней флексии материал семитских и индоевропейских языков рассмотрен по существу, остается решить чисто терминологический вопрос: как быть с самим термином «внутренняя флексия»? Из всего сказанного выше следует, что в дальнейшем, по-видимому, нецелесообразно применять этот термин одновременно и к семитским, и к несемитским языкам, так как в этих случаях термином «внутренняя флексия» приходится обозначать совершенно различные явления: в семитских языках — трансфиксацию, т. е. особую разновидность аффиксации, и притом агглютинативного характера, предполагающую строго неизменный корень, а в несемитских языках — апофонию, т. е. операцию, изменяющую корневые морфы в суперморфы.

Решая сформулированную на стр. 28 дилемму, мы предлагаем сохранить термин «внутренняя флексия» за семитскими языками, определяя соответствующее явление следующим образом: «Внутренняя флексия —

---

[32] J. Kuryłowicz, Esquisse d'une théorie de l'apophonie en sémitique, BSLP, LIII (1957—1958), 1, 1958.

[33] В отличие от незначащего чередования, которое можно было бы назвать альтернацией. Отметим, что термин «апофония» употребляется нами здесь не совсем в том значении, как у Куриловича (см. его «Esquisse...»).

это общее название для типов аффиксации, связанных с „разрыванием" корня аффиксами, т. е. для трансфиксации и инфиксации». При таком определении достигается желательный параллелизм с термином «внешняя флексия», который как раз и обозначает типы аффиксации, связанные с присоединением аффиксов к корню извне, без проникновения внутрь. Кроме того, сохраняется привычное представление о внутренней флексии как о явлении, особо характерном для семитских языков, хотя отдельные проявления одного из двух типов внутренней флексии, а именно инфиксации, встречаются и в других языках (см. выше, стр. 34). Что же касается употребления термина «внутренняя флексия» в качестве синонима к термину «значащее чередование» («апофония»), то от такого употребления лучше всего отказаться полностью.

Подведем итог. Между традиционными взглядами на природу явлений типа араб. *kabīr* — *kibār* и англ. *foot* — *feet* существуют противоречия, которые необходимо устранить; для этого приходится отказаться от тех или иных традиционных представлений. Однако это может быть сделано разными способами: можно трактовать семитские и индоевропейские факты одинаково — либо как трансфиксацию (отказавшись от понимания внутренней флексии как выражения значений посредством изменения корня), либо как апофонию (отказавшись от представления о неизменности семитского корня и о двуморфности таких словоформ, как *kabīr* — *kibār*); можно трактовать семитские и индоевропейские факты по-разному, видя в одних трансфиксацию, а в других — апофонию. Логически все эти способы одинаково возможны и равноправны. Тот выбор, который сделан в настоящей статье (в семитских языках — трансфиксация, в индоевропейских и прочих — апофония), объясняется стремлением найти наименее болезненное с точки зрения лингвистической интуиции решение: в самом деле, этот выбор согласуется со взглядами, принятыми в специальных отраслях лингвистики, и требует отказа лишь от некоторых общих, очевидно, недостаточно продуманных положений. Однако строго логически наш выбор обоснован сейчас быть не может, и мы на нем не настаиваем. Основной point статьи не в этом выборе, а в обнаружении указанных противоречий и в последовательном изложении двух возможных способов трактовки рассмотренных фактов. Обоснованный выбор можно будет сделать тогда, когда, например, для арабской и английской морфологии будут построены полные анализирующие и синтезирующие системы описания и эти системы удастся сравнить по параметрам, изложенным нами ранее[35]. Тогда может оказаться одно из трех: либо лучшее значение основных параметров соответствующие описания будут иметь, если для семитских языков принять трансфиксацию, а для индоевропейских — апофонию; либо результат будет обратный (автору это представляется маловероятным); либо для тех и других языков с точки зрения основных параметров лингвистических описаний обе трактовки равноправны (тогда выбор между ними — это полностью дело вкуса)[36].

---

[35] И. А. Мельчук, О стандартной форме и количественных характеристиках некоторых лингвистических описаний, ВЯ, 1963, 1.

[36] Дверь в бескрайний мир арабского языка приоткрыл автору Юлий Александрович Анцесс; ему, а также всем тем, кто участвовал в создании этой статьи: А. А. Зализняку, Вяч. В. Иванову, Л. Н. Иорданской, С. М. Кузьминой, С. А. Кузьмину, М. В. Панову, А. А. Реформатскому, В. З. Санникову, В. С. Сегалю, А. А. Холодовичу и другим — автор выражает здесь свою глубокую благодарность.

После сдачи настоящей статьи в печать вышла в свет книга В. П. Старинина «Структура семитского слова» (М., 1963), где подробно рассматривается одно из положений этой статьи, а именно «прерывистые аффиксы». К сожалению, автор не имел возможности воспользоваться результатами, изложенными в указанной книге.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ *

Вопрос 11. «Какой должна быть густота сетки населенных пунктов при сборе материала для атласа? По какому принципу и на каких территориях она должна быть сгущена или разрежена?»[1]

Вопрос о территории, сетке обследования и абсолютном числе населенных пунктов по каждой отдельной стране и по ОЛА в целом тесно связан с проблемой вопросника. Сетка и вопросник, вместе взятые, определяют объем работы по собиранию материала. Между частотой сетки и объемом вопросника существует обратно пропорциональная связь: при равном объеме работы чем чаще сетка, тем меньше должен быть вопросник, и чем больше вопросник, тем более редкой должна быть сетка. Как же должен быть решен вопрос: при минимальной, возможно более редкой сетке иметь максимальный по объему вопросник, отражающий с возможной полнотой структуру языка; или, напротив, при максимальной, возможно частой сетке иметь минимальный по объему, возможно более краткий вопросник? Конечно, идеальным решением является максимальная густота сетки (с охватом всех населенных пунктов) и одновременно максимальная полнота вопросника (с охватом всех явлений строя языка). Однако это практически невозможно.

Для лингвистической географии — во всяком случае, если иметь в виду территорию, население которой преемственно ее занимает в течение многих сотен, а то и тысячи лет — лучше иметь сведения о меньшем количестве языковых явлений из большого количества населенных пунктов, чем по большому количеству языковых явлений из меньшего количества населенных пунктов (конечно, если эти явления умело выбраны и отражают существенные элементы системы языка). Однако существует и обратная точка зрения, согласно которой лучше иметь сведения по большему количеству языковых явлений, которые характеризовали бы все основные элементы системы языка, из меньшего количества населенных пунктов. Эта точка зрения может быть обоснована в какой-то мере прежде всего для территорий с неисконным населением или населением, колонизованным из разных мест в относительно недавнее время, в эпоху после образования основных диалектов и поэтому не имеющих четких языково-территориальных противопоставлений (т. е. в тех случаях, когда пробле-

* Продолжение публикации ответов на анкету, помещенную в № 5 за 1960 г. (стр. 45—46).

[1] Ниже кратко излагаются основные положения доклада «О сетке обследования ОЛА в связи с характером вопросника», прочитанного на пленарном заседании совещания по общеславянскому лингвистическому атласу в Душниках (Польша) 1 апреля 1963 г. Опущена более подробная аргументация некоторых положений, а также конкретные предложения, которые после обсуждения и уточнения вошли в решения совещания (см. хронику в настоящем номере журнала). По вопросам сетки автор выступал в своих обращениях к участникам Будапештского совещания по общеславянскому лингвистическому атласу 1962 г. (см.: Р. И. Аванесов, К вопросу об общеславянском лингвистическим атласе, «Slavia», XXXI, 4, 1962; его же, О работе над общеславянским лингвистическим атласом, «Studia slavica», VIII, 3—4, 1962), где были затронуты, однако, не все аспекты проблемы. Сейчас представляется возможным, несмотря на наличие некоторых принципиальных разногласий, найти основу для практического решения вопроса о сетке, связывая его с проблемой вопросника.

ма лингвистической географии как таковой отходит на задний план, а выдвигается в основном проблема изучения структуры языка, пусть в какой-то мере в аспекте ее территориального варьирования).

Разные части территории, картографируемой в ОЛА, в указанном отношении весьма различны — одни из них имеют население исконное, с древнейших времен, другие колонизованы в относительно недавнее время, в одних случаях существовал один колонизационный поток и потому соответствующая территория характеризуется диалектным единообразием, в других случаях на данной территории имел место ряд колонизационных потоков из разных мест, нередко в разное время, и территория характеризуется диалектной пестротой. Поэтому прямолинейное, основанное на одном принципе решение проблемы сетки обследования и объема вопросника применительно к территории общеславянского лингвистического атласа всегда будет односторонним: и в случае требования (исходя из географического принципа) максимальной густоты сетки при очень кратком вопроснике — при таком подходе можно упустить важные структурные элементы языка, и в случае требования (исходя из принципа структурного) максимальной полноты вопросника при редкой сетке — так можно упустить географическую дифференциацию. Правильное решение применительно к огромной территории, занимаемой славянами с разных эпох и различным образом колонизованной в разных своих частях, возможно только на путях разумного компромисса, учета как принципа географического, так и принципа структурного. Отсюда следует, что надо одновременно стремиться к практически возможной частоте сетки и к практически возможной структурной полноте вопросника, имея в виду, что мы не можем достигнуть ни желательной частоты сетки, ни желательной полноты вопросника.

Проблема вопросника и проблема территории и сетки обследования не могут решаться изолированно одна от другой, в разное время, а должны решаться комплексно, параллельно, так как они теснейшим образом взаимно связаны. Решение проблемы территории и сетки обследования не может откладываться еще и потому, что в 1963 г. намечено обследовать около 20 населенных пунктов, а в 1964 г. около 90 населенных пунктов на славянской языковой территории. Важно, чтобы эти пункты были выбраны не случайно в отношении своего расположения, а с учетом общей сетки обследования по данному языку.

Было бы целесообразно различать в едином вопроснике два его варианта — опорный (полный) и нормальный. Оба варианта во всем идентичны, за исключением того, что в опорном (полном) варианте имеется некоторое количество вопросов, отсутствующих в нормальном варианте. Следовательно: опорный (полный) вариант = нормальный + некоторое количество вопросов. Вопросы опорного (полного) варианта вопросника, отсутствующие в нормальном, будут — когда они будут установлены — помечены особым знаком (например, звездочкой). Вместе с тем было бы целесообразно иметь два варианта сетки: опорную, более редкую, разреженную, и нормальную, более частую. Опорная, разреженная сетка составит 12,5% общего количества населенных пунктов, картографируемых в атласе, и может быть сгущена до 25%, если это окажется нужным. Нормальная сетка включает в себя все населенные пункты, в том числе и те, которые входят в опорный, разреженный вариант сетки. Иначе, нормальная сетка = 12,5% + 87,5% (или 25% + 75%) населенных пунктов, а разреженная сетка = 100%—87,5% (или 100%—75%) населенных пунктов.

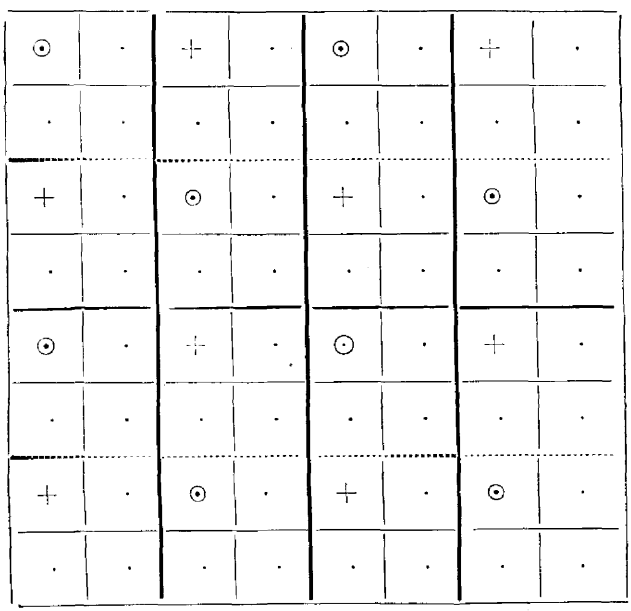
По вопросам опорного (полного) варианта вопросника обследуются населенные пункты опорной (разреженной) сетки, а по вопросам нормаль-

ного варианта — населенные пункты нормальной сетки. Но так как все вопросы нормального варианта вопросника входят одновременно и в его опорный вариант, то, следовательно, по вопросам, входящим в нормальный вариант вопросника, обследуется 100% населенных пунктов. Основными для атласа являются нормальный вариант вопросника (менее полный) и нормальная сетка (более густая).

Первые населенные пункты, которые будут обследованы по вопроснику в 1963 и 1964 гг., должны дать материал по всем вопросам, т. е. должны обследоваться по полному вопроснику. Вместе с тем это должны быть пункты, входящие в разреженную (опорную) сетку. Однако опорную разреженную сетку можно установить только после того, как будет составлена нормальная (более частая) сетка, так как населенные пункты первой должны быть избраны из числа населенных пунктов второй. Поэтому составление нормальной (более частой) сетки для ОЛА в целом и для отдельных стран является сейчас первоочередной задачей.

Настало время установить абсолютную густоту нормальной (более частой) сетки. Исходя из данных русского языка, где диалектная дифференциация относительно невелика, представляется целесообразным, чтобы населенные пункты нормальной (более частой) сетки отстояли друг от друга на расстоянии приблизительно 50 или 60 *км* (иначе — обследовать 1 населенный пункт на территории 2500—3600 *кв. км*). В необходимых случаях на некоторых славянских языковых территориях нормальная сетка может быть сгущена.

Таким путем будет составлена нормальная (более частая) сетка. После ее составления необходимо составить вторую — разреженную, опорную сетку, которая охватит 12,5% общего количества населенных пунктов. Для этого нужно объединить каждые 8 квадратов нормальной сетки в один прямоугольник (2 × 4) и равномерно в каждом прямоугольнике избрать 1 населенный пункт для второй, более редкой сетки. См. это в схеме:



Мелкие квадраты образуют нормальную сетку; точки в их центре обозначают населенные пункты. Прямоугольники из 8 мелких квадратов образуют вторую, более редкую (опорную) сетку. Пункты опорной сетки

в каждом из прямоугольников показаны знаком ⊙. Если окажется нужным, впоследствии для отдельных явлений возможно будет сгустить опорную сетку, разделив каждый прямоугольник из 8 мелких квадратов на два квадрата из 4 мелких квадратов и поставить на территории каждого из этих квадратов (состоящих из 4 мелких квадратов), где нет подлежащего обследованию населенного пункта, по одному населенному пункту. Так получится второй вариант разреженной опорной сетки, который может быть использован в атласе, если это окажется нужным. Пункты, добавляемые для получения этой сетки, обозначены в схеме знаком +.

Таким образом, применительно к данной схеме по опорному варианту вопросника будут обследованы пункты опорной сетки общим числом в 8 (или до 16, если опорная сетка будет несколько сгущена) населенных пунктов из общего числа 64. Остальные населенные пункты будут обследованы по нормальному варианту вопросника. Но так как вопросы, входящие в этот вариант вопросника, имеются также и в его опорном, полном варианте, то, следовательно, по вопросам нормального варианта будут обследованы 100% населенных пунктов.

Конечно, чисто геометрическая проекция является лишь идеальной моделью. В нее внесут свои поправки — и порою весьма существенные — природные условия (например, болота, лесные массивы, горные хребты) и условия социально-исторические, характер населенного пункта (например, не будут привлекаться к обследованию недавно основанные рабочие поселки или поселки городского типа), история заселения края (территория старого славянского заселения и более новые территории, колонизованные из одного места и из разных мест территории и т. д.). Существует также проблема рельефной лингвистической географии и трехмерных изоглосс (имеющих три измерения) в горных краях, где диалектный язык может различаться не только в двух измерениях, т. е. не только в плоскостной проекции, но и в третьем измерении, в связи с высотой: здесь объединяются факторы природный и социальный (так как разные высоты могли быть в разное время освоены населением, иногда колонизованы из разных мест, могли иметь разный социальный уклад и в связи со всем этим — различаться и по языку[2]). При неучете третьего измерения, т. е. в плоскостной проекции (а учитывать его было бы трудно и не нужно для целей в ОЛА), некоторые населенные пункты могут оказаться и, конечно, окажутся на карте в значительной близости друг от друга. Наконец, естественно, что по каждому языку должны быть обследованы населенные пункты, которые характеризовали бы основные диалектные типы его, а расположение таких пунктов может быть самым различным.

Однако несмотря на все сказанное идеальная модель сетки — сетка в ее геометрической проекции — все же нужна, так как именно на фоне идеальной сетки может трактоваться сетка реальная. Реальная сетка есть результат применения идеальной сетки к реальным условиям, к действительности. Идеальная модель сетки и сетка реальная находятся в таких же отношениях друг к другу, как метр и ритм в поэзии или музыке.

Само собой разумеется, что пункты для сетки должны быть выбраны с учетом всех имеющихся данных — исторических, этнографических, лингвистических. Существенную помощь могут оказать данные составляющихся сейчас национальных лингвистических атласов. Составление сетки для ОЛА — неотложное дело национальных комиссий ОЛА.

Р. И. Аванесов (Москва)

---

[2] Проблема рельефной лингвистической географии хорошо известна нашим диалектологам-кавказоведам. Но она не чужда и славянской диалектологии. Могу с благодарностью сослаться на материалы д-ра А. Габовштяка (Братислава) по словацкой диалектологии, с которыми он любезно предоставил мне возможность ознакомиться.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА АН СССР

От редакции. Как читатель увидит из научной хроники настоящего номера нашего журнала, 20—22 марта текущего года состоялась сессия общего собрания Отделения литературы и языка Академии наук СССР. Одной из двух тем, поставленных на обсуждение участников этой сессии, была: перспективы развития советского языкознания. Обсуждались проблемы, признанные наиболее важными для современного языкознания *как в общетеоретическом, так и в специально-методологическом плане.* Это — знаковая природа языка, внутрилингвистические и экстралингвистические факторы в языке, квантитативный и квалитативный подходы к языку, теория грамматики и типология. Обсуждение этих проблем не было связано никакой заранее предложенной схемой и велось в порядке предложения и обсуждения самых различных точек зрения. Для начала дискуссии были подготовлены по два выступления по каждой из проблем. Редакция считает желательным продолжение такого обсуждения на страницах нашего журнала и с этой целью печатает в № 4 три из указанных основных выступлений.

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ВНУТРИЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЯЗЫКА

Вопрос о соотношении экстралингвистических и внутрилингвистических факторов, с особым вниманием к роли первых, всегда и с полным основанием считался одним из важнейших вопросов советского языкознания, включаясь в широкую, но недостаточно ясно определенную проблему, известную под названием «язык и общество». Возможно, что именно отсутствие у этой области совершенно четко и научно определенных границ и привело к тому, что, особенно у младших поколений наших лингвистов, несколько обострился интерес к микролингвистике. Вместе с тем в новой советской лингвистической литературе фактически совсем не фигурируют вопросы, относящиеся к тем аспектам языкознания, которые все более привлекают к себе внимание за рубежом под разнообразными названиями, такими, как макро-, этно-, био-, социо-, пара-, мета- и психолингвистика, антропологическая лингвистика, лингвистическая антропология и т. д.[1]. Какие же понятия следует выбрать из столь неупорядоченного многообразия терминологии данной области знания? Думается, что наиболее целесообразно избрать следующие обозначения: языкознание — это «макролингвистика», подразделяющаяся на «предлингвистику», «микролингвистику» и «металингвистику». «Предлингвистика» занимается физической природой языкового выражения. «Металингвистика», распадаясь на «психолингвистику» и «лингвистическую антропологию» («этнографию»), исследует разнообразные связи языка и мышления, языка и общества («культуры»). «Микролингвистика» является «интралингвистикой». Она подходит к языку «изнутри», разрабатывая систему категорий и определений на основе связей, взаимоотношений и противопостав-

[1] «Действенное сотрудничество лингвистов с этнографами и психологами на конференции по языковым универсалиям показывает, что современному языковеду предстоит отвергнуть выделенный курсивом апокрифический эпилог, которым редакторы закончили текст соссюровского „Курса“» (R. Jakobson, Implications of language universals for linguistics, «Universals of language», ed. by J. H. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1963, стр. 219). Добавим, что эпилог этот, воспринятый как своего рода заповедь или символ веры, привел к серьезным искажениям в понимании идей «Курса».

лений внутри языковой системы[2]. В своем наиболее чистом виде вполне научная и «современная» микролингвистика может мыслиться как абстрактная теория языка, построенная на логико-математической основе и имеющая своим предметом «реляционный каркас языка» (хотя имеются и другие формулировки ее содержания и задач). Соответственно «предлингвистика» и «металингвистика» могут быть объединены под общим названием «экстралингвистики».

*

Для того чтобы конкретизировать приведенные выше положения о первостепенной важности вопроса о соотношении экстра- и интралингвистических факторов, представляется целесообразным отдельно остановиться на каждом из основных языковых уровней и, естественно, прежде всего возразить против распространенного у нас мнения, что на дифференциальном уровне вообще язык может исследоваться только «микролингвистически» и что «макролингвистическое» (т. е. собственно языковедческое) исследование возможно только на высших уровнях языка. Это ошибочное мнение объясняется: 1) невниманием к реальному многообразию единиц выражения и 2) неучетом реального многообразия видов информации, передаваемой данным звучанием,— никак несводимой к релевантным фонологическим противопоставлениям [3].

В обширной литературе вопроса имеются очень серьезные исследования, с полной несомненностью доказывающие важность экстралингвистических факторов в функционировании и развитии звуков языка[4]. При этом то, что при нарочито микролингвистическом подходе будет трактоваться просто как «взаимодействие уровней», в мета- (макро-)лингвистическом плане выступает уже как прямое воздействие экстралингвистических факторов на изменение звукового состава языка. Устойчивость той или иной фонемы в составе данного языка обусловливается прежде всего ее функциональной нагруженностью, которая в свою очередь определяется состоянием лексики языка в каждый данный период. По-

[2] В этой связи никак нельзя не напомнить о следующем. Как известно, метод исследования и описания систем определяется их реальными свойствами. Для того чтобы данная система получила правильное теоретическое истолкование, необходимо раскрыть все сложные связи и опосредствования ее элементов. Отсюда следует, что вопрос о «системе» и «системах» в области языкознания не может плодотворно исследоваться и разрабатываться до тех пор, пока рассуждения о системе в применении к языкознанию будут носить характер туманных и поверхностных аналогий. Ведь до сих пор нет еще общепринятого определения свойств «языковой системы» даже в самом общем виде: является ли она открытой или закрытой, целостной или аддитивной, изоморфны или нет ее «подсистемы», а главное—может ли понятие системы лечь в основу науки о языке, раскрывающей свойства его разных уровней, с учетом всей сложности и многообразности его соотношений с речью (ср., особенно, В. В. Виноградов, Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры, ВЯ, 1961, 4, стр. 10—11).

[3] Как показал Дж. Лотц, собственно лингвистической, «микролингвистической», является лишь очень маленькая часть (менее одного процента) всей информации, передаваемой речевым сообщением. Основное же его наполнение идет за счет сведений об особенностях голосового тракта говорящего, позволяющих узнавать его голос, о его физическом состоянии, о его отношении ко всей ситуации, в которой развертывается речь, о его эмоциональном состоянии, о его социальной принадлежности и т. д. и т. п. (ср. J. Lotz, Linguistics: Symbols make man, сб. «Psycholinguistics», ed. by S. Saporta, New York, 1961, стр. 4).

[4] См., особенно, J. Vachek, On the interplay of external and internal factors in the development of language, «Lingua», XI, 1962; его же, On the interplay of quantitative and qualitative aspects in phonemic development, «Zeitschr. für Anglistik und Amerikanistik», 5, 1, 1957; его же, Notes on the development of language seen as a system of systems, «Sbornik praci filosofické fakulty Brnenské university», VII, 1958; ср. также выступление Й. Вахка на дискуссии о знаковости языка, опубликованное в сб. «Zeichen und System der Sprache», II, Berlin, 1962. Ср. также M. Cohen, Où en est la linguistique, «Nouvelle critique», 124, 1961.

этому, хотя разного рода размещения и противопоставления отдельных элементов в модели и имеют вполне определенное значение, сами по себе они не дают еще проникновения в фактическое состояние дела, не раскрывают всей сложности реального функционирования данного языка. Так, например, если сравнить фонологический статус противопоставления /p/ — /b/ с противопоставлением /θ/ — /ð/ в английском языке, то легко убедиться, что последнее поддерживается лишь одной «минимальной парой» — двумя крайне малоупотребительными словами *thigh* и *thy*. Поэтому вполне вероятной явилась бы дефонологизация этого противопоставления и возврат к тому состоянию, когда /θ/ и /ð/ были вариантами одной и той же фонемы.

Другими примерами экстралингвистического фактора в развитии и функционировании звукового состава языка являются влияние письменного языка, влияние «образцового» произношения, влияние «победившего» диалекта и т. п. Так, например, есть все основания думать, что английский гортанный щелевой был искусственно восстановлен в сильных позициях вследствие того, что утрата его оказалась признаком «некультурного» произношения [5].

Когда исследователь нарочито ограничивает себя «микролингвистическим» аспектом, довольствуясь отвлеченным понятием языка как кода, а его единиц как заранее данных и лишь манифестирующихся в синтагматическом ряду только по принципу «позиций», «окружений» и т. п., он создает упрощенную картину. Ведь хорошо известно, что в реальном функционировании языка многообразие звучаний никак не может быть сведено к основному варианту фонемы и небольшому количеству «основных» ее разновидностей. Поэтому, говоря, например, о фонологической природе глухих щелевых в положении перед мягкими согласными, можно ограничиться, в рамках микролингвистики, констатацией уменьшения «синтагматической зависимости» (или «позиционной скованности») этих звуков. Однако этого будет далеко недостаточно для языкознания в полном смысле этого слова, т. е. языкознания, полностью учитывающего разнообразные психо- и социо-лингвистические факторы. Ведь, как было уже сказано выше, собственно лингвистическая информация данного сообщения составляет менее одного процента всей передаваемой им информации. И именно в таких вопросах, как тот, о котором здесь идет речь, первостепенное значение приобретают сведения об эмоциональном состоянии говорящего, его возрасте, его социальной принадлежности и т. п. Замечено, например, что в официальной обстановке говорящие меньше палатализуют глухие щелевые согласные; напротив, в непринужденной обстановке такая палатализация наблюдается чаще[6]. Степень палатализации тем больше, чем старше говорящий; она отсутствует у представителей молодого поколения и уменьшается под влиянием определенных территориальных разновидностей языка. Поэтому необходимо детальное исследование реального положения дел, действительное изучение данного явления во всей его полноте для того, чтобы можно было достигнуть самого главного — надежных орфоэпических норм.

*

Роль экстралингвистических факторов на семантическом уровне языка всегда считалась гораздо более несомненной, чем на уровне дифферен-

[5] См. W. Horn, M. Lehnert, Laut und Leben, II, Berlin, 1954, стр. 867 и сл.; см. также, стр. 1170 и сл.

[6] Ср. диссертацию А. Бан, Палатализация в группах согласных в современном русском языке, М., 1963.

циальном. Однако нельзя не заметить, что экстралингвистическая обусловленность на уровне лексики и синтаксиса является гораздо более очевидной, чем на уровне морфологии, словоизменения. Это связано с тем, что этот уровень все же характеризуется не «значением» в собственном смысле, а особым видом семиологической релевантности составляющих его единиц. Однако роль экстралингвистического фактора этим нисколько не уменьшается. Так, например, в современном русском языке в корне изменилась дистрибуция форм муж. и жен. рода прошедшего времени глаголов: пятьдесят лет тому назад форма *пришел* могла находиться в окружении только таких слов, как *доктор*, *профессор*, *писатель* и т. д. С другой стороны, *пришла* — в окружении *докторша*, *профессорша*, *писательница* и пр. Правила дистрибуции были абсолютно ясными и строгими. Теперь же повсеместно встречаются сочетания типа *профессор пришла*, *доктор ушла* и т. д. Конечно хорошо, что уже в микролингвистике удалось обнаружить, зарегистрировать и описать этот факт. Но основная задача заключается в том, чтобы выяснить, кем, когда (в каких условиях общения) и с какой степенью последовательности нарушается старая дистрибуция, в каких лексических и социальных контекстах утрачиваются слово или суффикс жен. рода. Иными словами, так же как и в случае с палатализацией согласных, здесь тоже нельзя ограничиваться выводами о нарушении или ненарушении прежней дистрибуции, уменьшении или увеличении синтагматической зависимости и т. п. Необходимо разрабатывать и уточнять методы «социолингвистики», без чего не может быть осуществлена столь остро необходимая помощь многим миллионам людей в изучении языков, повышении культуры речи, т. е. оптимализации информационных свойств языка в самом широком смысле.

Если вернуться к примеру с дистрибуцией форм муж. и жен. рода (*пришел — пришла*), то в свете только что сказанного нужно будет найти ответы на такого рода вопросы: почему, например, в следующих предложениях, взятых из текущей прессы (*Совсем иначе сложилась судьба такого, например,* ***писателя****, как Галина Серебрякова, которая многие годы находилась в заключении*; *Молодой* ***художник****, Анна Кривцова — ученица старейшего мастера И. П. Вакурова или А. Ахматова —* ***поэт*** *старшего поколения*), авторы назвали Г. Серебрякову и А. Кривцову соответственно «писателем» и «художником», а А. Ахматову — «поэтом», но А. Кривцову также «ученицей», а не «учеником»? Какие пути и методы исследования могут быть предложены для определения в подобных случаях тех «скрытых» (covert) закономерностей, об обнаружении которых мечтал еще Б. Уорф? И как учесть всю сложность бесчисленных реальных ситуаций общения, которые отнюдь не ограничиваются эпическими *пришел — пришла*? Как соответствующие слова ведут себя в ситуации «Он (она) работает (кем)»: *она работает учителем средней школы* или *учительницей* (?); *Он (она) работает шофером, водителем* (?), но уж, конечно, не «водительницей»! Или, например, в ситуации «обращения»: *Скажите, пожалуйста, (товарищ) водитель...* (уж, конечно, не *шофер*). *Водительница, Вы знаете как проехать...*— совершенно невозможно. И вообще, какие слова употребляются в современном русском языке при обращении к незнакомому человеку: *девушка*[7], *мамаша*, *молодой человек* и *отец* или это только в «просторечии»? А как в «не просторечии»? Совершенно ясно, что все эти вопросы приобретают совершенно исключи-

[7] В связи с этим обращением: известно, что «приличный» англичанин скорее вообще откажется от покупки, чем назовет продавщицу *Miss*, так как такое обращение — явный признак принадлежности к «низшим классам». А как ему быть, если он приехал к нам и изучает русский язык? Можно ему обращаться к продавщицам: *Девушка, пожалуйста, покажите мне* ... и т. п. или это тоже shocking?

тельную остроту в современном советском обществе. Однако серьезному и систематическому исследованию они не подвергаются, в результате чего теоретически насаждаемой «нормой» до сих пор нередко оказываются языковые реминисценции интеллигенции старшего поколения. Но ведь установление норм может быть продуктивным, только если оно основывается на реальной современной социолингвистике.

Как видно из приведенных примеров, морфология практически неотделима от лексики. Особенно наглядно эта тесная связь проявляется в употреблении местоимений. Поэтому к уже приведенным примерам конкретных исследовательских вопросов можно добавить еще следующий: когда, в каких ситуациях общения в современном русском языке следует говорить *ты* и в каких *Вы*? Вопросники, подобные тому, который разработан Брауном и Гильменом[8], охватывающий самые разнообразные социолингвистические проблемы, могли бы дать полезный материал для последующих нормативных обобщений.

*

Вопрос о роли экстралингвистических факторов в функционировании и развитии языка особенно продуктивно разрабатывается на уровне лексикологии и синтаксиса. Этот уровень исследования охватывает целый ряд аспектов, таких, как овладение родным и иностранным языком, развитие речи у детей, дву- и многоязычие, языковые контакты, «лингвистическая относительность» и многие другие[9]. Столь широкая постановка вопроса переводит его уже в план метасемиотический, основными вопросами которого являются: 1) вопрос о разных функциях естественного языка и разных его моделях и субститутах и 2) вопрос о принципиально различных системах коммуникации, особенно в свете современной бионики. Обратиться к их рассмотрению можно будет уже в отдельной статье.

О. С. Ахманова

Вопрос о том, каково соотношение лингвистических и экстралингвистических факторов в становлении, функционировании и развитии языка, есть прежде всего вопрос о взаимоотношении языка и мышления как одного из экстралингвистических факторов. Вполне очевидно, что такие экстралингвистические факторы, как общественные, могут оказывать непосредственное воздействие лишь на характер и объем социальных функций, на процессы дифференциации и интеграции языков, но не на структуру языка и ее развитие, на которые эти факторы могут воздействовать лишь опосредствованно, через мышление. В истории языкознания выделяется ряд направлений, различающихся по своей трактовке этой проблемы.

Для логического направления характерно преувеличение, абсолютизация роли того воздействия, которое оказывает мышление на язык, отрицание даже относительной самостоятельности языка. Прямо противоположным образом эта проблема разрешается в тех течениях структурализма, которые рассматривают язык как некую имманентную сущ-

---

[8] Ср. P. Brown, A. Gilman, The pronouns of power and solidarity, сб. «Style in language», ed. by T. A. Sebeok, New York — London, 1960.

[9] См. сб. «Psycholinguistics»; Ch. E. Osgood, Language universals and psycholinguistics, сб. «Universals of language» и особенно M. Cohen, Compréhensions, в сб. «Езиковедски изследования в чест на академик Стефан Младенов», София, 1957; М. Коэн, Современная лингвистика и идеализм, ВЯ, 1958, 2.

ность, как систему противопоставлений, независимых от реальных свойств членов этих противопоставлений [Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев и др., а также различные направления неогумбольдтианства (гипотеза Сепира — Уорфа, школа Л. Вейсгербера в Германии]. При всем различии этих направлений их объединяет положение о том, что язык определяет не только характер и структуру мышления, но и сам характер отражения объективной действительности. Совершенно очевидно, что в рамках этих теорий по существу оказывается неправомерной сама постановка проблемы воздействия на язык не только мышления, но и других экстралингвистических факторов. Не случайно поэтому, что некоторыми представителями структурализма в качестве основного теоретического принципа выдвигается так называемый принцип гомогенности[1].

Для психологического направления, возникшего как реакция на логическое направление, характерно отрицание сколько-нибудь существенного воздействия логического строя мышления на грамматический строй языка, положение об их независимости друг от друга. В ходе критики логического направления, предпринятого представителями психологической концепции, был выявлен ряд моментов, весьма существенных для характеристики взаимоотношения языка и мышления. В частности, были доказаны факты асимметрии предложения и суждения в его аристотелевском понимании, факт существенного различия между членением предложения и структурой суждения и т. п. Из этого следовало, что являются ошибочными определения ряда основных грамматических понятий, принятых логицистами (предложения, подлежащего, сказуемого и т. д.).

Однако критика логического направления в языкознании со стороны представителей психологической концепции выявила не отсутствие корреляций и зависимости между структурой мышления и грамматическим строем языка, а лишь ошибочность попыток найти прямое и однозначное соответствие в мышлении всем языковым явлениям различных уровней, как это делали представители логического направления, стремясь установить такое соответствие между частями речи и категориями мышления, между предложением и суждением, между членами предложения и структурными компонентами суждения и т. п.

Пытаясь свести все грамматические явления к логическим, «логицисты» не учитывали относительной самостоятельности языка, которая, в частности, проявляется в том, что чем ниже уровень языка в иерархическом ряду его уровней, тем более отдаленной и опосредствованной оказывается связь соответствующих языковых явлений с мышлением и тем большей будет степень самостоятельности соответствующей подсистемы языка.

В этом отношении существенные различия есть не только между фонемным уровнем языка, единица которого является односторонней, и его остальными уровнями, единицы которых являются двухсторонними, но и между этими последними уровнями языка. Достаточно сказать, что единица морфематического уровня, т. е. морфема, не обладая номинативной функцией, не способна в линейном ряду выразить понятия, т. е. непосредственно не соотносится с какой-либо формой мышления, хотя и имеет значение. Согласившись с иной и весьма распространенной точкой зрения, согласно которой морфема выражает понятие, мы будем вынуждены принять также и вытекающий отсюда вывод о том, что в синтагматиче-

[1] См., например: С. К. Шаумян, О сущности структурной лингвистики, ВЯ, 1956, 5, стр. 44—46; его же, Структурная лингвистика как имманентная теория языка, М., 1958, стр. 25—30. Ср. его же, О теоретических исследованиях в советском языкознании, сб. «Строительство коммунизма и общественные науки», М., 1962, стр. 273—274.

ском ряду морфологически членимое слово выражает или может выразить сразу несколько понятий, что явно ошибочно.

Лишь слово, точнее говоря — знаменательное слово, является такой наименьшей языковой единицей, которая, обладая значением, характеризуется номинативной функцией и способностью выразить понятие, хотя, всегда сохраняя значение в линейном синтагматическом ряду и в пределах свободного словосочетания, слово может в отдельности и не выражать понятия, что, например, имеет место в любом простом распространенном предложении.

Одна из основных проблем, требующих разрешения в рамках теорий, признающих зависимость языка от мышления и, в частности, от его логической структуры, состоит в том, что мышление, носящее общечеловеческий характер, во всяком случае в части, касающейся его логической структуры и основных психических закономерностей, осуществляется при помощи языков различной типологии, резко отличающихся друг от друга по своему грамматическому строю, даже по характеру самих языковых единиц, а также системой своих лексических значений, что как будто противоречит тезису о зависимости языка от мышления. По нашему мнению, эта проблема, имеющая кардинальное значение не только для общего языкознания, но и для теории познания, может быть решена лишь при дифференцированном подходе к различным языковым уровням в плане их соотношения с мышлением. Очевидно, что тезис о зависимости языка от мышления не предполагает прямолинейной и однозначной зависимости от мышления языковых явлений всех уровней и будет справедливым уже в том случае, если, в частности, удастся показать, что структура нашей мысли обусловливает структуру языковых явлений того уровня, который непосредственно участвует при выполнении языком его коммуникативной и экспрессивной функции.

Поскольку предложение рассматривается как такая языковая единица, которая непосредственно включается в акты коммуникации и мышления, в рамках теорий, утверждающих зависимость языка от мышления, вопрос о сущности предложения и его структуры в их отношении к логическому строю мышления приобретает особое значение, и, в частности, прежде всего должны получить объяснение факты наличия существенных расхождений между предложением и суждением.

Что касается расхождения между синтаксическим членением предложения и структурой суждения, вопроса и побуждения, то уже a priori можно утверждать, что в тех случаях, когда субъект и предикат суждения, вопроса и побуждения не совпадают соответственно с подлежащим (или группой подлежащего) и сказуемым (или группой сказуемого), этот факт не может не получить своего отражения в формальной структуре предложения, так как фиксирование специальными языковыми средствами того противопоставления, которое наличествует в структуре суждения между логическим субъектом как понятием о предмете мысли и логическим предикатом как тем новым, что сообщается о предмете мысли, является условием выполнения коммуникативного задания.

Как известно, логики и языковеды неоднократно отмечали, что в этих случаях логический предикат выделяется в предложении так называемым логическим ударением, т. е. одним из видов интонации. При этом интонация оказывается лишь одним из возможных средств выражения членения суждения, вопроса и побуждения на субъект и предикат, и в частности, в ряде языков, как, например, нивхском, японском, юкагирском и других, в этих целях используются специальные морфемы. В некоторых других языках, как, например, в русском, в этих же целях используется лишь одна интонация. При этом следует отметить, что также и в тех

языках, где есть специальные морфемы — показатели логического предиката, наряду с ними используется интонация, а в некоторых случаях логическое ударение является единственным показателем логического предиката.

Вопрос об ином виде членения предложения, чем его разбивка на синтаксические члены, привлекал и привлекает внимание многих языковедов и логиков, получая, однако, самое различное истолкование как в плане его соотношения с мышлением, так и в плане его грамматической характеристики и, в частности, в плане его соотношения с синтаксическим членением. В этой связи можно назвать Габеленца, Пауля, Шахматова, Мещанинова, Боости и в особенности пражскую школу структуральной лингвистики (Матезиус, Трнка), где этот вид членения предложения, получивший название актуального, является предметом специального исследования. Многие лингвисты по разным основаниям отрицают, что так называемое «актуальное членение» предложения отражает субъектно-предикатную структуру передаваемой им мысли. А. А. Шахматов, а вслед за ним и некоторые другие лингвисты, утверждая, что перемещение логического ударения в предложении не изменяет структуры выражаемой им мысли и что подлежащее (группа подлежащего) и сказуемое (группа сказуемого) всегда выражают соответственно психологический (или логический) субъект и предикат, исходят при этом из ошибочного понимания атрибутивной природы суждения, отождествляя отношение субъекта и предиката в суждении с отношением субстанции и атрибута, в соответствии с чем, по их мнению, субъектом суждения якобы может быть только понятие о том или ином реальном предмете как носителе признаков, но не понятие о качестве, действии и т. п.

А. В. Гроот [2], также утверждая, что перемещение логического ударения не изменяет структуры мысли, исходит при этом из того понимания суждения, которое развивается в современной логике отношений. Однако и указанное понимание природы суждения, согласно которому в суждении лишь устанавливается отношение двух равнозначных в структуре данной мысли понятий, не исключает того, что в предложении должен найти отражение тот факт, что в суждении (здесь и далее речь идет о простом суждении) устанавливается отношение между двумя понятиями.

Указывая, что при актуальном членении так же, как и в суждении, выделяются два члена: исходный пункт высказывания (или, тема, данное) и ядро высказывания (или, высказывание, новое), представители пражской школы структурализма, отказываются отождествлять их соответственно с логическим субъектом и предикатом, но по существу не выдвигают никаких аргументов, обосновывающих эту точку зрения.

Анализ аргументации и других авторов позволяет прийти к выводу, что нет никаких серьезных оснований для отрицания того, что актуальное членение предложения отражает субъектно-предикатную структуру передаваемой им мысли. При этом следует иметь в виду, что существуют и иные виды выделения, чем выделение логического предиката. Поскольку же актуальное членение предложения не есть чисто смысловое, а имеет формально-грамматический характер, то далее возникает вопрос о том, в каком отношении оно находится к синтаксическому членению предложения, а именно представляет ли оно явление того же порядка, что и синтаксическое членение, или нет.

Уже один тот факт, что коммуникативная нагрузка, проявляющаяся в актуальном членении предложения на данное и новое, может быть привязана к любому члену предложения, не изменяя качества последнего

[2] A. W. de Groot, Subject-predicate analysis, «Lingua», VI, 3, 1957.

на уровне синтаксического членения, как нам кажется, говорит о том, что актуальное членение предложения выходит за рамки его синтаксического членения. Очевидно, что мы здесь имеем дело не с явлением того же синтаксического уровня предложения, как это считают некоторые авторы, а с более высоким уровнем предложения, в связи с чем все явления, связанные с его актуальным членением, не могут получить объяснения в рамках традиционного анализа по синтаксическим членам предложения. Это касается не только анализа содержательной стороны явления актуального членения предложения, но и его собственно формально-грамматического аспекта, поскольку синтаксический анализ по членам предложения не может объяснить и назначения какой-то части формальных средств языка (специальных морфем в некоторых языках, интонации, порядка слов и т. д.), т. е. не может считаться исчерпывающим для понимания структуры предложения в целом. Таким образом, предложение наряду с синтаксическим уровнем имеет еще особый уровень, обусловленный его актуальным членением. Поскольку на этом уровне предложения особыми грамматическими средствами выражается субъектно-предикатная структура соответствующей мысли, можно было бы назвать его, в отличие от синтаксического уровня, логико-грамматическим уровнем, а логический субъект и предикат выражаемой мысли — логико-грамматическим субъектом и предикатом.

Значения членов предложения, включаемых в логико-грамматический субъект и предикат, содержатся на логико-грамматическом уровне предложения как бы в снятом виде, ввиду чего и логический субъект, и логический предикат могут быть выражены любым членом предложения или группой членов предложения. При этом отношение членов актуального членения может не только не соответствовать типу синтаксических отношений членов предложения, но и вступать с ними в явные противоречия. Так, например, в двучленных фразах *он приехал — быстро*, *он приехал — поездом* слова *быстро* и *поездом*, выступая на уровне синтаксического членения предложения как обстоятельства образа действия, находятся в зависимой синтаксической связи от глагола-сказуемого *приехал*. На уровне же актуального членения предложения те же слова, выражая логико-грамматический предикат, находятся в предикативной связи с остальными словами предложения (*он приехал*), которые, выражая логический субъект той же мысли, на уровне синтаксического членения предложения противопоставляются друг другу как подлежащее и сказуемое.

В силу неразграничения синтаксического и логико-грамматического уровней предложения целый ряд явлений обоих уровней до настоящего времени не получил удовлетворительного определения и по этой же причине полностью не преодолен логицизм в подходе к некоторым явлениям синтаксического уровня. Это особенно наглядно проявляется в разрешении таких вопросов, как вопрос о сущности категорий предикативности и модальности, вопрос о том, применим ли и в какой мере принцип синтаксического членения предложения к различным типам предложений, вопрос о критериях выделения главных членов предложения и т. д. Ввиду недостатка места[3] остановимся в этой связи лишь на понятии предикативности.

При всем кажущемся различии двух основных точек зрения на предикативность, одна из которых представлена в академической грамматике русского языка, а вторая идет от Пешковского, общим для них будет

---

[3] См. об этом: В. З. Панфилов, Грамматика и логика (Грамматическое и логико-грамматическое членение предложения), М.—Л., 1963 (в печати).

то, что в обоих случаях предикативность, с одной стороны, определяется как такая категория, которая характеризует отнесенность содержания всего предложения к действительности и может не вызывать его расчленения, а с другой стороны — как свойство сказуемого, как синтаксическая категория, проявляющаяся в отношении подлежащего и сказуемого. Но очевидно, что указанные признаки нередко в действительности оказываются несовместимыми друг с другом. В самом деле, если предикативность характеризует отнесенность содержания предложения к действительности, то подлежащее и сказуемое будут связаны предикативным отношением только в том случае, когда с ними соответственно совпадут логический субъект и предикат, не говоря уже о том, что далеко не во всех типах даже двухсоставных предложений могут быть выделены подлежащее и сказуемое. Указанное противоречие является результатом того, что, как нам кажется, под понятие предикативности пытаются подвести явления двух различных языковых уровней, а именно сказуемости как явления синтаксического уровня и предикативности как явления логико-грамматического уровня.

Сказуемость, действительно, есть свойство сказуемого и, следовательно, имеет место только в тех предложениях, где есть этот член предложения. В отличие от этого предикативность характеризует отнесенность содержания предложения к действительности и не привязана ни к сказуемому, ни к какому-либо другому члену предложения в отдельности. Между сказуемостью и предикативностью существует такого же типа отношение, как между подлежащим и логическим субъектом или между сказуемым и логическим предикатом. Сказуемость и предикативность совпадают друг с другом, не становясь, однако, одним и тем же явлением только в тех случаях, когда подлежащее (группа подлежащего) выражает логический субъект, а сказуемое (группа сказуемого) — логический предикат. И подобно тому, как синтаксические категории подлежащего и сказуемого возникают в языке на службе выражения логического субъекта и предиката, и сказуемость как синтаксическая категория также исторически возникла на службе выражения предикативности. Предикативность в отличие от сказуемости есть не синтаксическая, а логико-грамматическая категория, и подобно тому, как нельзя считать, что подлежащее есть логический субъект, а сказуемое есть логический предикат, поскольку в большинстве случаев они совпадают друг с другом, точно так же нельзя согласиться и с тем, что предикативность и сказуемость есть явления одного и того же порядка, что сказуемость есть лишь один из частных случаев предикативности, когда эта последняя привязана к сказуемому, а не выражается каким-либо иным способом.

Сформулируем некоторые выводы в плане характеристики грамматического (синтаксического) и логико-грамматического уровней языка и их соотношения, что представляется весьма существенным и с точки зрения роли экстралингвистических и внутрилингвистических факторов.

1. Логико-грамматический уровень языка конституируется на основе выражения специальными языковыми средствами логических форм мышления и их структурных компонентов. Предложение-суждение, предложение-вопрос, предложение-побуждение и их компоненты, т. е. логические, а точнее говоря — логико-грамматические, субъект и предикат представляют собой явления логико-грамматического уровня языка.

2. Подлежащее и сказуемое, в отличие от этого, будучи чисто языковыми категориями, относятся к синтаксическому уровню языка и характеризуются как грамматически организующие центры предложения, противопоставляемые друг другу в каждом языке по определенным грамматическим и в том числе морфологическим признакам.

3. Использование того или иного члена предложения в неспецифической для него функции на логико-грамматическом уровне (подлежащего — в функции логического предиката, сказуемого — в функции логического субъекта и т. п.) не изменяет качества этого члена предложения на синтаксическом уровне и не может рассматриваться лишь как его дополнительная смысловая нагрузка, имеющая место в пределах того же синтаксического уровня предложения.

4. Компоненты синтаксического уровня языка — подлежащее и сказуемое — вырабатываются в языке как специфические формы выражения логических категорий субъекта и предиката.

Особая форма подлежащего в эргативном падеже, наряду с подлежащим в именительном, или основном, падеже в языках с эргативной конструкцией предложения возникает в результате действия тенденции превратить в подлежащее тот член предложения, который обозначает субъект действия. Таким образом, в этих языках на формирование подлежащего как члена предложения оказывает влияние не только категория логического субъекта, но и категория субъекта действия.

Поскольку, в силу относительной самостоятельности развития и функционирования языка, возникают расхождения между логической нагрузкой членов предложения и их первоначальной и основной функцией, закрепленной грамматическими средствами, с течением времени вырабатываются особые средства, фиксирующие ту логическую нагрузку членов предложения, которая не соответствует их исторически выработанной языковой сущности.

5. Различие между синтаксическим и логико-грамматическим уровнем предложения в синхронном плане проявляется: в возможности несовпадения подлежащего и сказуемого соответственно с логико-грамматическим субъектом и предикатом в тех типах предложения, которые характеризуются обоими уровнями; в наличии такого типа предложений, которые имеют логико-грамматическое (актуальное) членение, но не выделяют в своем составе подлежащего и сказуемого, и, наоборот, в наличии такого рода случаев, когда предложения, допускающие синтаксическое членение на подлежащее и сказуемое, не имеют логико-грамматического (актуального) членения на субъект и предикат (одночленные фразы типа *Наступила осень*, по определению Л. В. Щербы); в возможности несовпадения предикативности и модальности как явлений логико-грамматического уровня соответственно со сказуемостью и наклонением как явлениями синтаксического уровня предложений и т. д.

Таким образом, тождество предложений на синтаксическом уровне, т. е. тождественный состав их членов в их конкретном словесном выражении, не означает тождества этих предложений на логико-грамматическом уровне.

6. Соотношение синтаксического и логико-грамматического членения предложения носит различный характер в языках различной типологии. В синтетических языках (во флективных и в меньшей мере в агглютинативных) в силу морфологизации членов предложения имеют место значительные расхождения между этими двумя видами членения предложения. В отношении изолирующих языков, в силу отсутствия такой четко выраженной морфологизации членов предложения, до настоящего времени остается неясным и сам принцип выделения синтаксических членов предложения. Что же касается логико-грамматического членения предложения, то оно несомненно играет в этих языках значительно бо́льшую роль, чем в синтетических языках, в конституировании структуры всего предложения в целом и, по-видимому, нередко кладется исследователями этих языков в основу выделения таких синтаксических членов

предложения, как подлежащее и сказуемое, что представляется принципиально неверным. Во всяком случае бесспорно, что в этих языках между логико-грамматическим и синтаксическим членением предложения имеют место гораздо большие соответствия, чем в синтетических языках. Таким образом, проблема соотношения логико-грамматического и синтаксического членения предложения может быть предметом типологического исследования, а характер этого соотношения может рассматриваться в качестве одного из типологических признаков.

7. Наличие особого логико-грамматического уровня языка не означает тождества языка и мышления, так как: а) в языке выделяются такие уровни, как фонологический и морфематический, единицы которых, т. е. фонема и морфема, не имеют прямых соответствий в мышлении, а между синтаксическим и логико-грамматическим членением предложения имеются существенные расхождения (см. пункт 5); б) конкретное содержание предложения, характеризуя содержательную сторону мышления, не относится к логико-грамматическому уровню языка, поскольку, как уже отмечалось, логико-грамматический уровень предложения конституируется на основе выражения грамматическими средствами лишь структуры, или формы соответствующих мыслей.

8. В той мере, в какой мы имеем дело с языковым мышлением, т. е. с мышлением, средством осуществления которого является естественный язык, суждение, вопрос, побуждение выступают как составные компоненты логико-грамматического уровня языка. Лишь путем абстрагирования от грамматических средств выражения логической структуры мысли суждение, вопрос, побуждение выделяются как предмет исследования логики.

9. Членение предложения на логико-грамматическом уровне сигнализируется различными грамматическими средствами (специальными грамматическими формантами, путем интонационного выделения, порядком слов и т. д.) не только в различных языках, но нередко в одном и том же языке. На синтаксическом уровне способ членения предложения определяет характер элементов его структуры, т. е. членов предложения, поскольку члены предложения в каждом языке характеризуются определенными грамматическими признаками (подлежащим в русском языке не может быть, например, имя в косвенном падеже и т. д.), ввиду чего синтаксическая структура предложения, выражающего одну и ту же мысль, может быть различной в различных языках.

Для характеристики элементов структуры того же предложения на логико-грамматическом уровне характер используемых для их выделения грамматических средств оказывается безразличным (логико-грамматический предикат, например, будет оставаться таковым независимо от того, сигнализируется ли он специальным формантом или интонацией и т. п., а также независимо от того, какой частью речи и в какой словоизменительной форме он выражается), в силу чего предложения различных языков, выражающих одну и ту же мысль, на логико-грамматическом уровне будут иметь одну и ту же структуру.

10. Факт тождества логико-грамматического членения предложений различных языков, выражающих одну и ту же мысль, при возможном различии их синтаксического членения, подтверждая положение об относительной самостоятельности языка и определяющей роли мышления в том единстве, которое они образуют, не может найти объяснения в рамках как тех теорий взаимоотношения языка и мышления, которые отрицают всякую зависимость грамматического строя языка от логического строя мышления (психологическое направление), так и тех теорий, с точки зрения которых язык определяет сам логический строй мышления и

характер отражения объективной действительности (гипотеза Сепира — Уорфа, Вейсгербер, некоторые течения структурализма).

Для структурализма как направления в целом, по-видимому, следует считать наиболее характерным то, что предметом его исследования и сферой успешного применения предлагаемых им методов являются те стороны языка, которые обусловлены внутрилингвистическими факторами, и историческая заслуга его представителей заключается в том, что впервые в языкознании с достаточной отчетливостью была выявлена роль внутрилингвистических факторов, таких, как фактор системности, в сложении, функционировании и развитии языка. Однако абсолютизация роли этих факторов, тенденция рассматривать язык только как некую имманентную сущность, может привести к ошибкам, как и противоположная тенденция логицистов, по существу отрицавших всякую самостоятельность языка и абсолютизировавших то воздействие, которое оказывает мышление на язык. Условием успешного решения проблемы соотношения экстралингвистических и внутрилингвистических факторов в сложении, функционировании и развитии языка является строго дифференцированный подход к различным языковым уровням.

В. З. Панфилов

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

В развитой теории грамматики, как и вообще в развитой теории языкознания, качественный и количественный анализ необходимы и взаимно дополняют друг друга.

Это не значит, что оба анализа равноправны. В силу специфики языка качественный анализ, устанавливающий соотносительность определенных моментов языкового содержания с определенными моментами языкового выражения на фоне однородных явлений, имеет в сфере грамматики основное и исходное значение для лингвистического исследования. Отнюдь не случайно, что фиксация грамматических явлений и построение грамматической теории начинается, как правило, с установления основных качественных категорий грамматического строя данного языка при имплицитном учете некоторых количественных моментов. Задачи первоначального осмысления грамматического строя достигаются этой качественной методикой в достаточной мере. Выделение особых количественных приемов и методов исследования грамматических явлений органически и закономерно возникает в традиционной грамматике с ее стремлением к многоаспектности на более поздних этапах, когда язык уже оказывается значительно изученным. И это различение между более или менее изученными языками с точки зрения необходимости и возможностей проведения в них развернутого количественного анализа сохраняет свою актуальность и для настоящего времени.

Но для подлинного постижения языка без более специализированного обследования количественной стороны языковых, а в частности грамматических, явлений обойтись невозможно. Причина этого заключается в том, что каждое языковое явление, помимо качественной определенности, говоря условно и образно, обладает и некоей «массой», т. е. занимает в кругу других языковых явлений некое пространство и соизмеримо с ними в неких измерениях с разной степенью интенсивности. Представая в самых разных обличиях и в разных соотношениях своих

компонентов, «масса» языковых явлений выступает как понятие в высшей степени комплексное и сложное. Но она представляет собой объективный факт и требует применения количественных приемов исследования.

Предварительно нам надо сделать, однако, несколько общих замечаний и оговорок:

1. Говоря о роли тех или иных форм анализа при исследовании языковых явлений, мы имеем в виду такое исследование, которое направлено на постепенное раскрытие подлинной сущности языка.

2. Сам язык, а в первую очередь его грамматическая система, представляет собой явление многомерное, характеризующееся многолинейностью речевой цепи и многоаспектностью парадигматической системы[1].

3. Система языка отнюдь не сводится к системе отношений, а является также и системой построения, т. е. конкретной, динамической организацией в речевой цепи соотносящихся между собой языковых компонентов. Определяясь такими требованиями коммуникативного порядка, как достаточная емкость и портативность (т. е. собранность, компактность, «нерассыпающесть» речевых единиц), эта система построения оформляется по-своему в каждом языке и подвержена историческим изменениям.

4. Различия в грамматическом строе разных языков делают неизбежными и различия в характере «массы» выступающих в них грамматических явлений, а также в приемах, наиболее пригодных для изучения количественной стороны этих явлений.

Категории и формы грамматического строя, образующие его парадигматическую систему, выступают прежде всего как особые качественные образования. На первый взгляд, мы вообще находимся здесь в царстве чистой качественности и при анализе можем удовлетвориться чисто качественными методами. Но и эти качественные образования обладают своей особой «массой».

Основа этой «массы» — совокупность того языкового материала, который охватывается данным грамматическим явлением. Для какой-нибудь части речи, например, это будет принадлежащий к данной части речи лексический материал, с его делением на те или иные разряды, являющиеся «функциональными участками», из которых составляется общий плацдарм функционирования данного явления.

Сами по себе измерения «массы» грамматических явлений в подобных случаях, когда мы имеем дело с рядом синонимических форм, не представляют чрезмерных затруднений. Здесь есть полная возможность количественного сопоставления, поскольку имеются общие единицы измерения, лежащие в одной плоскости: функциональные участки (более высоких и более низких степеней), слова. Конечно, здесь может возникнуть и ряд трудностей, связанных, например, со спорностью в установлении самих функциональных участков, с определением количества слов, принадлежащих к этим участкам, в том случае, если этот участок не «закрытый», т. е. допускает постоянное его обогащение новыми словами. Но в принципе, в некоей общей перспективе, такое количественное сопоставление вполне возможно и приводит в ряде случаев к бесспорным (и обычно давно уже известным) выводам. Так, совершенно очевидно, что «масса» определительного относительного прилагательного в современном немецком языке значительно меньше, чем «масса» других, синонимических с ним форм. Простейшие подсчеты будут здесь вполне убедительны.

---

[1] См. В. Г. Адмони, О многоаспектно-доминантном подходе к грамматическому строю, ВЯ, 1961, 2; его же, Партитурное строение речевой цепи и система грамматических значений в предложении, «Доклады высшей школы. Филол. науки», 1963, 3.

При более широкой постановке вопроса о «массе» частей речи, выходя за пределы синонимических форм, возможности количественного сопоставления окажутся значительно более затрудненными. Конечно, всегда можно сопоставить общее число функциональных участков и слов, охватываемых данными частями речи, но эти участки и сами эти слова с точки зрения своей грамматической весомости далеко не равнозначны. Значительный корректив может здесь внести лишь обращение к сфере употребления: общая частотность употребления слов, принадлежащих к данной части речи или к данному функциональному участку, может быть соотнесена с общей частотностью употребления слов, принадлежащих к другим разрядам слов, давая этим не только прямое, но и относительное количественное определение «массы» соответствующих явлений.

Реальный удельный вес грамматических явлений в грамматической системе определяется сложным сочетанием количественных показателей («массы») и качественных показателей. Даже при сравнительно небольшой «массе» то или иное явление может иметь все же первостепенное значение для грамматической системы, поскольку оно выполняет в ней необходимые, не поддающиеся замене функции (принцип «необходимости»). Конечно, и в этом качественном показателе при углубленном подходе можно найти какие-то различия в степени: например, междометия менее необходимы для образования основных типов предложений или словосочетаний, чем местоимения или союзы. Важны также различия в средней частотности употребления слов, принадлежащих к различным частям речи. Быть может, здесь даже возможно установление каких-то (более или менее условных) общих коэффициентов удельного веса, связывающих наличные у того или иного явления показатели (качественные и количественные). Но по существу эти показатели даны все же как в высшей степени раздельные моменты, предполагающие раздельное установление.

Но есть и такие стороны в парадигматической системе грамматики, где разграничение количественного и качественного моментов оказывается более трудным делом. В предшествующем изложении мы говорили о грамматических формах как о ясно определенных и четко отграниченных образованиях. Но на самом деле они в очень многих случаях находятся друг с другом в сложнейших парадигматических переплетениях. Между ними существуют переходные формы — причем переходные в объективном смысле, а не с точки зрения методологически и методически недостаточно вооруженного исследователя.

Основа этой сложной переходности — многомерность. Как правило, грамматические явления представляют собой тесные объединения ряда нескольких качественных признаков, лежащих в разных плоскостях (измерениях) языкового строя и несводимых друг к другу. Накладываясь в данном явлении друг на друга (вернее, взаимопронизывая друг друга), многие из этих признаков (а иногда и все из них) обычно свойственны, однако, не только данному явлению, но и другим явлениям [2]. Специфическим для данного явления в ряде случаев оказывается только их данное сочетание. Но наряду с полной мерой такого сочетания, в ряде случаев на его периферии могут быть обнаружены лишь частичные сочетания этих признаков, а также их сочетания с участием других признаков. Различные сочетания в неодинаковой мере тяготеют друг к другу, некоторые из них образуют весьма тесные, неразрывные единства.

---

[2] Примером признака, свойственного только одному явлению, может служить во многих языках непосредственная способность выражать предикативность, присущая только спрягаемой форме глагола, или обобщенное грамматическое значение предметности, выражаемое существительным.

Единицы парадигматической системы обладают полевой структурой. Они не являются строго очерченными и замкнутыми образованиями, хотя в отдельных случаях такая структура возможна. Типическим случаем (по крайней мере, для языков того типа, о котором мы здесь говорим) здесь является такая структура, при которой соответствующая единица обладает центром (сердцевиной) и периферией. Центр (сердцевина) образуется при этом оптимальной концентрацией всех совмещающихся в данной единице качественных признаков. Периферия состоит из большего или меньшего числа образований с некомплектным числом этих признаков, т. е. с отсутствием одного или нескольких из них или при их измененной интенсивности. Формироваться и располагаться эта периферия может разнообразными способами. Частным случаем является здесь частичное совпадение полей различных грамматических единиц, наличие у двух полей общего сегмента [3].

Было бы глубоко неверно переносить на полевую структуру грамматических явлений в их парадигматическом состоянии закономерности, характеризующие полевые структуры в других областях действительности, например, магнитные поля или даже поля в других областях языка («поля слов» в любом их понимании). Здесь действуют свои специфические закономерности, которые надо исследовать как таковые. В первую очередь они вытекают из того, что здесь, как правило, одновременно проявляются силы, качественно несводимые, действующие в разных измерениях. Но некоторые общие черты с некоторыми другими полями у поля грамматических единиц все же должны быть. И в первую очередь этим общим является сам факт наличия в данном поле, независимо от его одномерности или многомерности, неких взаимосвязующих сил, особого взаимосцепления. Без этого никакое поле существовать не может.

Но, как мы уже видели, измерить соотношение этих сил друг с другом обычным количественным образом до конца эффективно мы не можем по причине несводимости друг к другу качественных признаков, образующих поле грамматических единиц. Приходится вводить иные принципы для выяснения степени взаимосвязанности грамматических единиц — принцип неотъемлемости одного явления от другого, принцип фронтальности. Принципы эти — качественные, но в них не отсутствует и количественный момент.

Устанавливая факт непременной связи между двумя грамматическими единствами, мы тем самым устанавливаем и высшую степень прочности этой связи, а обращаясь к фронтальности, мы фактически еще более прямо обращаемся и к количественному моменту. Фронтальность — это лишь другое обозначение для стопроцентности наличия какого-то признака или явления в ряду других явлений, но только такой стопроцентности, которая повернута своей качественной стороной, т. е. дана как внутренне обусловленная, вытекающая из существенных сторон соответствующих явлений, как необходимость наличия у них данного признака.

Таким образом, в сфере определения единиц грамматической парадигмы мы должны опираться на многообразные формы исследования, причем среди них очень большую роль играют такие, в которых общеколичественные моменты как бы «включены» в качественные принципы анализа. И это вытекает из самой природы рассматриваемых здесь явлений, их многомерности. Именно эта многомерность, делающая невозможным нахождение простых количественных единиц, общих всем различным

---

[3] Таково, например, соотношение краткой формы прилагательного и однокорневого наречия в немецком языке. См. ВЯ, 1961, 2, стр. 46—47.

аспектам грамматических явлений, делает необходимым обращение к таким сложным способам их измерения.

Переходим теперь к сфере употребления грамматических явлений. Если в области парадигматического соотношения грамматических единиц, где как будто должна была царить чистая качественность, мы встретили ряд труднейших количественных проблем, то в области употребления, где как будто царит чистая количественность (что подчеркивалось в нашем предшествующем изложении), мы встретим ряд труднейших качественных проблем.

Качественные вопросы возникают здесь в связи с разветвленной жанрово-стилистической дифференциацией развитого языка, особенно языка, обладающего обширной письменностью. Сферы и формы речи, тематический материал речи, целевая направленность высказывания, литературно-художественная окрашенность высказывания (художественный стиль), индивидуальная окрашенность высказывания (индивидуальный стиль) — все эти моменты проявляют свое своеобразие прежде всего в том или ином отборе тех или иных языковых, в том числе и грамматических, явлений. Поэтому частотность употребления оказывается иной (часто совсем иной) на разных коммуникативных участках. И трудности, которые возникают здесь для анализа, это прежде всего трудность уловить и установить реальные формы употребления на этих многообразнейших участках, не обезличив их и не лишив их качественного своеобразия.

Наиболее явная опасность, стоящая перед исследователем здесь,— это возможность за примерно одинаковыми средними цифрами не увидеть различий в сущности тех явлений, которые выражаются этими цифрами, различий в тех факторах, которые определили совпадение этих цифр. Так, в немецких текстах XVIII в. весьма нераспространенными элементарными предложениями[4] отличаются и роман Геллерта «Приключения шведской графини Г.» (средний объем — 8,07 слов) и некоторые описания путешествий, например, путешествий Клемана (средний объем — 9,28 слов). Но в первом случае это выражение особого художественно-стилистического замысла, сознательно противопоставляющего краткое и предельно ясное элементарное предложение пышному, загроможденному элементарному предложению писателей барокко, а во втором случае — это выражение лишь узости авторского кругозора, сухости и стилистической беспомощности.

Систематическое обращение к количественным данным при изучении истории грамматического строя, в силу неразрывной связанности здесь качественного и количественного моментов, необходимо. Но в некоторых случаях общая картина развития здесь все же достаточно ясна и без специально устанавливаемых количественных данных: так, отмирание инструментального падежа в древневерхненемецком вполне очевидно и без специальных подсчетов, без выделения этого момента в особую операцию. Количественный момент и здесь, конечно, присутствует, но как бы имплицитно, выражаясь в таких понятиях, как «мало», «почти нет» и т. п., не нуждаясь в своем развертывании в самостоятельный прием исследования. Между тем, там, где мы имеем дело, например, с объемом предложения или словосочетания, количественные сдвиги (изменение числа слов, входящих в эти образования) являются основным объектом исследования.

Но при проведении количественного исследования в области развития грамматического строя есть и большие трудности. С точки зрения развер-

[4] Термин «элементарное предложение» означает все виды синтаксических конструкций, обладающих формальными чертами логико-грамматических типов предложения, независимо от их роли в развернутом синтаксическом целом, т. е. как самостоятельные предложения, так и предложения главные, подчиненные и сочиненные.

тывания исторического процесса в многовековой перспективе здесь действуют и должны быть учтены различные языковые стили и жанры, различные воздействующие на развитие данного явления факторы в их различных скрещениях. И взаимодействие всех этих моментов носит отнюдь не механический характер. Здесь на каждом шагу возможны неожиданности, нарушения, казалось бы, твердо наметившихся качественно-количественных линий развития, особенно когда в дело вмешиваются внеязыковые факторы — прямо или через какие-нибудь внутриязыковые «приводные ремни». И нередко (особенно в синтаксической сфере) наличие разных факторов делает колебания в частотности грамматических явлений отнюдь не случайными.

На данном этапе развития науки о грамматическом строе языка мы считаем наиболее целесообразным и необходимым для целей грамматического исследования как такового применение таких приемов количественного анализа, которые позволили бы наиболее непосредственно учитывать и общее направление развития, и частные отклонения, и переломы в этом развитии, и характер стоящих за всеми этими процессами факторов. В частности, весьма важными представляются нам несложные приемы, состоящие в сопоставлении количественных данных, полученных на основе сплошного подсчета в ряде сопоставимых по своему объему текстов, которые относятся к разным периодам развития и в которых соответствующее явление подвергается влиянию сходных или несходных факторов, причем следует охватить все наиболее отличающиеся друг от друга по сочетанию этих факторов типы текстов. Здесь предусматривается, таким образом, обследование на основе качественно определенной выборки текстов (ряды опорных текстов). И результатом этого обследования лишь в отдельных случаях может быть предсказание четких закономерностей развития и его итога. В общем виде, в результате этого обследования мы должны наметить некую тенденцию, примерную перспективу развития, а часто целый ряд перспектив развития в ее (или их) обусловленности соответствующими факторами. Выясняющееся здесь соответствие между теми или иными сочетаниями факторов и теми или иными количественными показателями оказывается фоном и основой для анализа и тех текстов, в которых это соотношение складывается по-иному и даже для тех текстов, в которых возникает влияние совсем иных факторов. Количественные данные имеют здесь значение непосредственных качественно-ориентированных симптомов.

Изложенную методику количественного анализа грамматических явлений, которая стремится установить непосредственные количественные симптомы качественных моментов и вообще целиком ориентирована качественно, можно было бы условно назвать «симптоматической» или «качественно-количественной». Фактически именно эта методика в разных видах и, естественно, без данного наименования и применяется в целом ряде работ, конкретно исследующих развитие грамматического строя при учете его количественных моментов[5].

Только при таком «симптоматическом», качественно-количественном подходе можно плодотворно рассмотреть, например, такое сложное явление, как развитие объема группы существительного в немецком языке, переживавшее огромные колебания в зависимости от воздействия мно-

[5] Из работ самого последнего времени укажу на две германистические диссертации, при всем своем несходстве трактующие обширный количественный материал непосредственно «симптоматическим» образом: С. М. Козман, Развитие атрибутивного родительного падежа и его синонимов в нововерхненемецком языке, Л., 1962; Е. С. Троянская, Влияние диалекта на оформление группы существительного в немецком литературном языке 16—17 вв., М., 1962.

жества факторов. Так, средний объем в немецком языке этой группы по различным текстам, характерным для данных веков, в XIV—XV вв. колеблется между 2,98—7,17 слов, в XVI в.— между 2,54—4,57 слов, в XVII в.— между 3,34—5,04 слов и т. д.

Это не значит, что методы математической статистики вообще неприменимы в историко-грамматическом и вообще в грамматическом исследовании. На своем месте они возможны и нужны. Но при оперировании количественными данными для нужд грамматического исследования грамматических объектов все же более ценны и содержательны приемы количественно-качественного анализа.

Из сказанного можно было бы сделать вывод, что рекомендуемый здесь прием количественно-качественного анализа мы противопоставляем статистическим методам исследования. Это не совсем так. По старому пониманию слова «статистика» к ней относятся все случаи приведенного даже в простейшую систему оперирования количественными данными при исследовании любого объекта — простейшие подсчеты, сведенные в простейшие таблицы с установлением простейших коэффициентов и индексов (или даже без них). Предлагаемая здесь «симптоматическая» методика, также сводящая количественный материал в определенную систему и устанавливающая ряд коэффициентов (например, коэффициент насыщенности предложения членами группы существительного или коэффициент сложноподчиненности предложения), также является статистической и ее можно было бы назвать «грамматической статистикой».

Но в последнее время под статистикой в лингвистических исследованиях часто стали понимать нечто иное, а именно лишь строгое применение методов математической статистики как таковой, с выявлением вероятностных закономерностей. Только такие формы количественного описания нередко рассматриваются теперь как современные и заслуживающие внимания.

Думается, что такой подход глубоко неверен. Даже если в некоторых случаях при анализе историко-грамматического материала, а именно в случаях более однолинейного развития, применение вероятностных методов целесообразно, этим отнюдь не снимается целесообразность применения других более «старомодных» методов количественного описания. Все зависит от конкретного характера объекта.

Основной путь развития в изучении количественной стороны грамматических явлений — это путь от качественных методов с лишь имплицитным освещением количественного момента к количественно-качественным методам, в которых освещение количественного момента в связи с моментами качественными уже выделено, но носит все же несистематический и недостаточно обоснованный характер, и далее к качественно-количественным методам, в которых освещение количественных моментов (без потери их связи с моментами качественными и без преувеличения их случайного характера) проводится уже в систематическом и обоснованном виде. Дальнейший этап, т. е. создание чисто количественной методики с лишь имплицитным включением качественных моментов, не только возможен, но даже нужен и в значительной мере уже осуществлен. Решающим для лингвистического исследования количественных моментов грамматического строя является качественно-количественное исследование, «грамматическая статистика», в той или иной мере сводящаяся к «симптоматике».

Различие между математической статистикой и статистикой «грамматической», сводящееся к степени непосредственного включения качественных факторов в процессе количественного анализа и к степени трактовки количественных вариаций в грамматических явлениях как случайных, не безусловно и допускает ряд переходных форм.

В. Г. Адмони

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. Н. КОЛМОГОРОВ

К ИЗУЧЕНИЮ РИТМИКИ МАЯКОВСКОГО

1

В № 5 «Вопросов языкознания» за 1962 г. опубликована статья А. М. Кондратова «Эволюция ритмики В. В. Маяковского», являющаяся отражением интересной работы, проведенной автором частью независимо от меня, частью в развитие программы, которая была намечена при моем участии весной 1961 г.

Выводы статьи в значительной мере основаны на данных таблиц 1 и 2, которые были составлены А. М. Кондратовым той же весной и послужили для нас обоих исходным пунктом дальнейших разысканий, приведших к выделению основных свойственных Маяковскому типов метрической организации стиха и пониманию сложной метрической структуры многих его произведений. Наши выводы изложены в совместной статье «*Ритмика поэм Маяковского*» (ВЯ, 1962, 3), где дан полный тщательно выверенный разбор ритмики поэмы «Люблю».

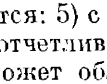
К сожалению, в своей статье А. М. Кондратов: 1) публикует без проверки свою первоначальную статистику, иногда весьма неточную; 2) в примечании на стр. 102 воспроизводит отрывок из моего письма, написанного ему в самом начале работы, где я даю весьма несовершенную попытку классификации метров Маяковского; 3) не считаясь с итогами своих же собственных разысканий, сохраняет в качестве будто бы содержательных характеристик поэм «Война и мир», «150 000 000», «В. И. Ленин» статистические данные по двум выборкам в 100 + 100 стихов из каждой поэмы; 4) *в ряде специальных вопросов* (определение дольника, характеристика отдельных произведений) дает неточные формулировки, в частности, на стр. 102 весьма невразумительно описывает употребляемые мною и Н. Г. Рычковой приемы «разбивки» текста на слова.

В этой заметке я хочу сообщить более точную классификацию типичных для Маяковского метров. При этом под метром я понимаю закономерность ритма, обладающую достаточной определенностью, чтобы вызывать: а) ожидание ее подтверждения в следующих стихах, б) специфическое переживание «перебоя» при ее нарушении.

Насколько мне известно, предлагаемая здесь классификация разделяется и А. М. Кондратовым, хотя в своей брошюре «Математика и поэзия» (М., 1962) он вновь излагает ее не вполне отчетливо.

Мы выделяем четыре основные группы метров Маяковского: 1) классические силлабо-тонические метры со следующим твердой схеме числом метрических ударений (числом «стоп») в стихе, например, 4-3-4-3-ямб в «Необычайном приключении, бывшем с Владимиром Маяковским летом на даче»; 2) дольники

(чаще всего четырехдольник или 4-3-4-3-дольник). Промежутки между смежными метрическими ударениями, за редкими исключениями, 1-2-сложны, при пропуске одного метрического ударения возникают, как правило, 3-5-сложные промежутки, при пропуске первого метрического ударения — 2-5-сложные анакрусы. Пропуски метрических ударений в дольниках Маяковского сравнительно редки, но являются существенным средством художественной выразительности; 3) ударный стих со следующим твердой схеме числом ударений в стихе и свободной длиной межударных промежутков. Примеры четырехударника — «Хорошее отношение к лошадям» (промежутки 0—3), «Стихи о проданной телятине» (промежутки 0—4). Отклонение от заданного схемой числа ударений разрушает метр чисто ударного стиха (так как нет возможности уловить компенсацию «пропущенного» ударения удлинением цепи безударных слогов). Если таких отклонений слишком много, то чисто ударный метрически организованный стих переходит в свободный стих; 4) вольный хорей и вольный ямб, по преимуществу 5-7-стопный с максимумом в 9-10 стоп и минимумом в 1-2 стопы. В поэтике Маяковского вольный ямб и вольный хорей легко сменяют собою четырехударный стих и свободный стих с тяготением к четырехударности, сохраняя свойственный им характер вариации длины стиха. От классического вольного ямба вольные ямбы и хореи Маяковского отличаются отсутствием тенденции к отчетливому выделению своеобразного звучания стихов с различным числом стоп. Роль вольного хорея и ямба в композиции поэм Маяковского совершенно отлична от роли включаемых в них отрывков, следующих силлабо-тоническим метрам, отнесенных нами к группе 1. За пределами этих четырех групп находится: 5) свободный стих, в котором ритм не подчинен достаточно отчетливо воспринимаемым закономерностям. Ритм свободного стиха может обладать большой индивидуальной выразительностью. Иногда в свободном стихе возникают переходящие правильности вроде двукратного повторения ритмического хода



в четверостишии[1]:

Полоса.
Щели.
Голоса
еле.

Но ввиду их преходящего характера эти правильности не имеют характера метра.

---

[1] Ритм главки «Друзья» поэмы «Про это» весьма интересен. Приведенному четверостишию предшествует четверостишие правильного четырехдольника (с межударными промежутками в 1-2 слога):

А вóроны гости!
Двéрье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орлó
ко мне доплеталось пьяное дóпьяна.

После четверостишия «Полоса. Щели...» метру правильного четырехдольника подчиняются лишь ремарки автора:

Сглушило слова уанстепным темпом,

2

Четырехударник Маяковского был ярко охарактеризован еще в известной работе Р. Якобсона «О чешском стихе». Главки «О балладе и балладах», «Фантастическая реальность», «Последняя смерть» поэмы «Про это» написаны бесперебойно четверостишиями 4-3-4-3-ударника. Эти вполне отчетливые метры в освещении А. М. Кондратова попали в общую рубрику со свободным стихом, в котором число ударений не подчинено никаким закономерностям.

В связи с этим и отличие чисто ударного стиха от дольника, подробно объясненное в нашей общей с А. М. Кондратовым статье, оказалось смазанным. Утверждение А. М. Кондратова на стр. 106 о тяготении «к четырехударному дольнику» трех первых частей и конца четвертой части «Облака в штанах» не имеет ясного смысла.

Уже данные табл. 3 А. М. Кондратова показывают, что в третьей части и в конце четвертой части «Облака в штанах» тяготение к четырехударности проявляют лишь нечетные стихи четверостиший, а четные стихи тяготеют скорее к трехударности. Если бы мы имели дело с четырехдоль-

---

и снова слова сквозь темп уанстепа:

. . . . . .

Опять полоса осветила фразу.
Слова непонятны — особенно сразу.

. . . . . .

Да,
  их голоса. Знакомые выкрики.
Застыл в узнаваньи,
                расплющился нем,
Фразы крою по выкриков выкройке.
Да —
    это они —
              они обо мне.
Шелест.
        Листают, наверное, ноты.

. . . . . .

И снова
        в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щек они.

. . . . . .

И снова
        хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами испарканные.
И снова стен
                раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Прямая же речь «друзей» нарочито аритмична:

«Аннушка —
ну и румянушка!»
Пироги...
        Печка...
Шубу...
        Помогает...
                С плечика...

. . . . . .

«Что это вы так развеселились?
Разве?!»...

и т. д.

ником, то это значило бы, что в четных стихах много безударных долей, распознаваемых по длине межударных промежутков. Но это не так. В «Облаке в штанах» трехударность стиха, как правило, обозначает его реальное сокращение:

Почти окровавив исслезанные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
«Хорошо!»

В действительности, ранние поэмы Маяковского («Облако в штанах», «Флейта — позвоночник», «Война и мир») написаны свободным стихом лишь с тяготением к четырехударности. Временами в них четырехударник и 4-3-4-3-ударник приобретают почти характер метра. Но тенденция эта неустойчива и заменяется построениями типа [2]:

1. Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры 4 4 4 1
2. Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом·мечась,
догнала,
зарезала,—
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного... . . . . 4 3 1 4
3 3 3 3

Вообще нельзя определить метр какого-нибудь отрывка как дольник (в том понимании этого термина, которое А. М. Кондратов разделяет со мною), исходя только из статистики числа ударений в стихе и не обращая внимания на длину межударных промежутков. Но в некоторых случаях статистические данные, собранные А. М. Кондратовым, позволяют прийти к содержательным выводам. Покажем это на примере.

По табл. 2 в «Стихах о советском паспорте» имеется 38% стихов, следующих двухсложным силлабо-тоническим метрам, и 12% — трехсложным. По моим подсчетам отношение обратное: 35% трехсложных метров и

[2] Исследуя ритмику трех указанных ранних поэм Маяковского, было бы хорошо следовать методике, которую В. А. Никонов с меньшими основаниями применил при изучении поэмы «Владимир Ильич Ленин»: составить статистику форм четырехстиший по числу ударений в стихе:

4 4 4 4
4 3 4 3
3 3 3 3
4 4 4 1

и т. п.

10% двухсложных[3]. Сделав эту поправку, сопоставим данные А. М. Кондратова по трем стихотворениям: «Гимн судье», «Нашему юношеству» и «Стихи о советском паспорте».

	«Гимн судье»	«Нашему юношеству»	«Стихи о советском паспорте»
Среднее число слогов в стихе	9.30	9.18	9.60
Среднее число ударений в стихе	3.42	3.31	3.24
Среднее число ударений в			
1-м стихе четверостиший	4.00	3.96	3.78
2-м » »	3.00	3.00	2.73
3-м » »	3.96	3.95	3.99
4-м » »	2.80	2.42	2.60
Процент стихов, следующих классическим метрам			
двухсложным	13	6	10
трехсложным	25	27	35

Большое сходство данных по трем стихотворениям очевидно. В действительности, все это — 4-3-4-3-дольник. На этом примере видно, что статистика типа табл. 1 и 2 работы А. М. Кондратова в простых случаях (когда все стихотворение подчинено одной метрической схеме) может служить исходным пунктом для настоящего анализа ритма.

Обнаружив сходство характеристик трех рассмотренных стихотворений, следовало выяснить его причины. Быть может, из-за ошибки в статистике стихов, следующих классическим метрам, в «Стихах о советском паспорте» А. М. Кондратов не довел исследование до естественного завершения. В качестве примера 4-3-4-3-дольника в статье указывается стихотворение «Нашему юношеству». «Стихи о советском паспорте» использованы лишь как пример произведения с большим процентом стихов, подчиненных классическим трехсложным размерам (здесь в противоречии с данными таблицы правильно говорится о преобладании именно трехсложных размеров, их по тексту статьи—«почти 50%», по таблицам — 12%, в действительности — 35%). Относительно «Гимна судье» в тексте статьи А. М. Кондратова ничего не сказано. Это стихотворение интересно как ранний (1915 г.) пример 4-3-4-3-дольника у Маяковского. В нем только три пропуска метрических ударений (в двух стихах подряд и в одном стихе отдельно в конце четверостиший):

1. Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!
2. И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

---

[3] На самом деле из 49 стихов стих

как бритву
обоюдоострую,

взятый изолированно, может быть принят и за четырехстопный ямб и за трехстопный амфибрахий. Таким как на самом деле это трехдольный стих 4-3-4-3-дольника, то амфибрахическая интерпретация здесь более уместна.

Таким образом, некоторые данные табл. 1, 2 и 3 допускают содержательную интерпретацию. Но, вообще говоря, автоматическая статистическая обработка данных о ритмике произведений различной структуры по общему шаблону в стиховедении малопродуктивна. Например, «средние отклонения» числа слогов и числа ударений в стихе в случае 4-3-4-3-дольника следовало подсчитывать отдельно по четырехдольным и трехдольным стихам. В таком же виде следовало дать и статистику числа стихов с тем или иным числом ударений: четырехударный трехдольный стих звучит совсем иначе, чем четырехударный четырехдольный, аналогично и трехударный четырехдольный стих совсем не равноценен трехударному трехдольному.

3

Вольный хорей и вольный ямб Маяковского часто упоминались в стиховедной литературе. Но лишь недавно М. Л. Гаспаров изучил их подробно. М. Л. Гаспаров обнаружил, что обе эти системы ритмической организации стиха у Маяковского имеют устойчивые характеристики, не меняющиеся заметно при переходе от произведения к произведению и лишь медленно эволюционирующие со временем. Хореические отрывки поэмы «В. И. Ленин» по всем основным характеристикам сходны с одновременными произведениями, написанными полностью вольным хореем. Отрывки эти охватывают много законченных четырехстиший и двустиший. Переходные четырехстишия со смешением хореических и не хореических стихов немногочисленны.

Вопреки высказывавшемуся мнению, в вольных хореях и ямбах Маяковского, по Гаспарову, не наблюдается тяготения к четырехударности. Выделяя стихи с данным числом стоп (например, пятистопные стихи), мы получаем приблизительно то же распределение по числу реальных ударений, как и в классическом русском хорее и ямбе той же стопности. Поэтому Гаспаров не видит в наименовании «вольный хорей и вольный ямб Маяковского» никакой условности. Он считает, что эти метры являются реальной основой ритмической организации обследованных им произведений и отрывков. Гаспаров отмечает, однако, два отличия вольных ямбов и хореев Маяковского от классических:

1. Средняя длина стиха у В. Маяковского больше, довольно часты семистопные стихи, встречаются восьми- и девятистопные, а однажды (в материале Гаспарова) — десятистопный стих.

2. В классическом вольном ямбе стихи определенной стопности имеют отчетливые отличительные признаки. Например, шестистопные стихи всегда имеют цезуру после шестого слога, в четырехстопных редко пропускается ударение на второй стопе, а в пятистопных — на первой и третьей (так называемый «вторичный ритм»). Стихи одной стопности имеют тенденцию образовывать группы. Этой тенденции к восприятию качественного своеобразия стихов каждой стопности соответствует и обычай выделять их графически при помощи отступов[4].

В вольных же хореях и ямбах Маяковского «вторичный ритм» сглажен или отсутствует, в шестистопных стихах цезура после шестого слога не соблюдается, поэтому индивидуальный характер стихов определенной стопности теряется. Сохраняется лишь противопоставление очень длинных и очень коротких стихов и контрасты между стихами с различным числом реальных ударений[5].

---

[4] См. М. П. Штокмар, Вольный стих XIX в., сб. «Ars poetica», II, М., 1928.

[5] Любопытно, что вольные ямбы Есенина ближе примыкают к классической традиции. В частности, в них соблюдается цезура после шестого слога в шестистопных стихах.

4

В заключение я хочу еще остановиться на метрике поэмы «В. И. Ленин». В совместной статье с А. М. Кондратовым было указано, что четырехдольник этой поэмы имеет статистические характеристики, близкие к характеристикам четырехдольника в поэмах «Люблю» и «Про это». Там же были приведены примеры контрастного противопоставления четырехдольника четырехударному стиху с большой свободой вариации длины межударных слогов (0—6 слогов) и менее контрастного перехода правильного дольника (с межударными промежутками 1—2 слога) в четырехударный стих (после сигнала «шагом марш» до конца поэмы).

Чтобы понять метрическое строение всей поэмы, сначала надо выделить отрывки с четко воспринимаемым индивидуальным ритмом, подобные четырехстишию:

Мы смело в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это!,

указанному в нашей с А. М. Кондратовым статье отрывку трехударника (20 стихов):

У нас
семь дней...,

законченному тематически отрывку (16 стихов):

Сверху
взгляд
на Россию брось...,

написанному правильным трехдольником с анапестической анакрузой и т. п.

Все, что остается после этого выделения, за исключением единичных стихов, принадлежит одной из трех систем ритмической организации стиха: 1) вольный хорей; 2) правильный четырехдольник; 3) свободный стих с сильным тяготением к четырехударнику большого размаха колебаний межударных промежутков (как отмечено в нашей с А. М. Кондратовым статье, 0—8 слогов).

Первые две системы несомненно заслуживают названия м е т р о в, третья — лишь в отрывках, где четырехударность соблюдается достаточно строго. В стихах, которые Гаспаров отнес к третьей системе, он насчитал 83% четырехударных стихов. 17% исключений, надо думать, не позволяют воспринимать на слух четырехударность в качестве отчетливого з а к о н а [6].

На рис. 1 изображено (по данным Гаспарова) распределение стихов, принадлежащих к каждой из описанных систем, по числу слогов (от начала стиха до ударной константы включительно). Так как в хореических стихах возможно только нечетное число стихов, то для них по вертикали взят вдвое меньший масштаб. Мы видим, что в четырехдольнике распределение тесно сгруппировано вокруг нормальной длины в 10 слогов. Распределения же для хореических стихов и свободного стиха имеют значительно больший разброс (дисперсию). Их можно считать почти

[6] В четырехдольнике поэмы, как будет дальше отмечено, 82% четырехударных стихов. Но в четырехдольнике двухударные, трехударные и пятиударные стихи при надлежащих условиях воспринимаются как законные варианты метра (см. нашу с А. М. Кондратовым статью). Н е п р а в и л ь н ы х же стихов в четырехдольнике поэмы очень мало (можно думать, не более обнаруженных нами в «Люблю» и «Про это»—4—5%).

совпадающими (материал недостаточно велик для того, чтобы придавать значение провалу кривой на тринадцатисложных стихах для свободного стиха). Это наблюдение кажется мне очень интересным. По-видимому,

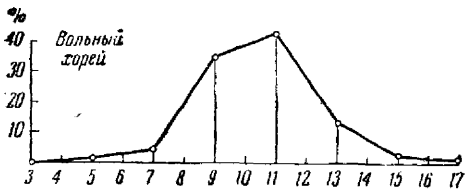


Рис. 1

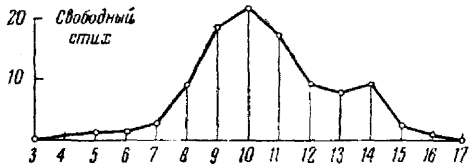


Рис. 2

здесь, а не в распределении по числу ударений, надо искать объяснения того обстоятельства, что на слух переход от вольного хорея к свободному стиху и обратно от свободного стиха к вольному хорею не воспринимается как переход к совершенно новой организации стиха. При переходе от вольного хорея к свободному стиху лишь исчезает альтернирующий ритм сильных и слабых слогов и возникает усиленная тенденция к четырехударности; при обратном переходе наблюдаются обратные изменения, но сохранение прежнего размаха колебаний длины стиха создает и впечатление некоторой непрерывности ритмического построения.

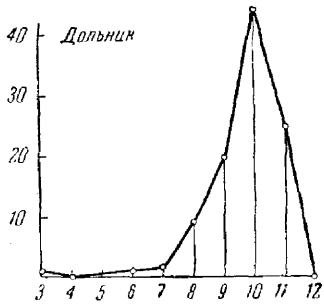


Рис. 3

Распределение стихов, отнесенное Гаспаровым к трем указанным выше ритмическим системам, по числу ударений дано в следующей таблице (в процентах):

1	2	3	4	5	6
Вольный хорей	3	17	51	23	5
Четырехдольник	3	12	82	3	—
Свободный стих с тяготением к четырехударности	1	14	83	2	—

Таблица показывает, что в этом отношении четырехдольник и свободный стих поэмы почти тождественны, с появлением же альтернирующего хореического ритма тенденция к четырехударности ослабевает. Можно было бы показать, что четырехударность примерно половины хореических стихов — это естественное следствие средней длины стиха в 11 слогов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

С. Б. БЕРНШТЕЙН

КАРПАТСКИЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС

Послевоенный период в славянской диалектологии характеризуется широким применением методов лингвистической географии. Приступив к этой работе с некоторым запозданием, специалисты по славянской диалектологии успели, однако, за сравнительно короткий срок сделать многое. Завершено и подготовлено к печати несколько томов атласа русских говоров (в 1957 г. вышел из печати том, посвященный говорам к востоку от Москвы), полностью завершен и находится в печати атлас белорусских говоров, завершается сбор материала для украинского атласа. Опубликован малый польский атлас, находится в печати атлас юго-восточных говоров Болгарии. Идет интенсивный сбор материала для атласов чешского, словацкого, сербо-лужицкого и македонского языков. Близка к завершению работа над атласом словенского языка.

Параллельно идет составление региональных славянских диалектологических атласов (начало чему было положено М. Малецким и К. Ничем еще в 1934 г.[1]). Можно указать на большое число отдельных лингвогеографических исследований славянского диалектного материала, опубликованных после войны в различных странах.

В принципах и методике лингвогеографических исследований в ряде случаев имеются существенные расхождения. Различные коллективы диалектологов по-разному решают проблему построения вопросника-программы для сбора материала, коренным образом расходятся в определении возможностей построения чисто фонетических карт (т. е. фонетических изоглосс, не связанных с определенным кругом лексики), не могут прийти к согласию в отношении роли и значения фонологического аспекта в лингвогеографических исследованиях, по-разному оценивают возможности лингвистической географии в изучении синтаксиса, спорят о соотношении диалектного и этнографического материала. Не менее горячие споры идут и о методах сбора материала, о принципах картографирования, о технике картографирования. Таким образом, можно говорить о существовании в славянской лингвистической географии нескольких школ и направлений.

Уже давно в науке был поставлен вопрос о целесообразности изучения изоглосс не только на материале говоров одного славянского языка. Именно об этом шла речь в докладе И. А. Бодуэна де Куртене «Izoglosy w swiecie językowym słowiańskim» на первом съезде славистов-филологов в Праге в 1929 г.[2] Позже специально о славянском диалектологическом атласе писал Б. А. Ларин[3]. Мимоходом этого вопроса касались многие. Следует, однако, обратить внимание на то, что диалектологи не видели существенных и принципиальных отличий между национальными атласами отдельных славянских языков и общеславянским атласом. Многим

[1] См. «Atlas językowy polskiego Podkarpacia», cz. I — Mapy; cz. II — Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów, Kraków, 1934.

[2] «Sborník prací I sjezdu slovanských filologů v Praze 1929», Praha, 1932, стр. 448.

[3] См. Б. А. Ларин, О принципах составления атласа славянских языков, «Уч. зап. [ЛГУ]», 97. Серия филол. наук, 14, 1949.

казалось, что общеславянский атлас получится сам собою в результате механического сложения национальных славянских атласов. Проф. К. Мирчев, например, так и писал: «Нет никакого сомнения в том, что болгарский диалектологический атлас будет частью общеславянского»[4].

Впервые специально вопрос об общеславянском диалектологическом атласе был поставлен на IV Международном съезде славистов в Москве. В результате всестороннего обсуждения этого вопроса стало очевидно, что общеславянский атлас будет коренным образом отличаться от национальных славянских атласов. С этим согласились все участники обсуждения, хотя в определении степени и характера расхождений были известные разногласия. На съезде было принято решение приступить к работе над общеславянским атласом. После съезда было проведено несколько международных совещаний по атласу. На страницах специальных журналов проходило обсуждение ряда проблем, непосредственно связанных с этой работой. В результате всей этой деятельности постепенно создается теория общеславянского атласа.

Параллельно с развитием теории общеславянского атласа развивается теория региональных атласов [5]. Все чаще появляются исследования в плане структурной типологии [6]. Расширение и углубление лингвогеографических методов показало, что возможны многообразные формы описания диалектного материала, различные типы атласов, существенно различающиеся между собою задачами, принципами и методикой.

Еще в 30-х годах XX в. был поставлен вопрос о возможности создания «Балканского диалектологического атласа». В данном случае речь шла об атласе, который бы опирался на изучение «языкового союза». По случайным причинам этот замысел не был осуществлен. Однако нет сомнения в том, что атлас подобного типа мог быть составлен. Он, конечно, сильно бы отличался от обычных атласов. Так, в нем большое место должно было бы быть уделено картографированию соотносительных грамматических моделей, соотносительных семантических явлений, представленных в словах различной материальной оболочки. Выявление территории балканизмов дало бы в руки исследователей новые данные для решения проблемы происхождения и истории общих черт балканских языков.

Около 30 лет тому назад загребский романист М. Деанович поставил вопрос о целесообразности создания «Средиземноморского лингвистического атласа», который бы показал связи народов, живущих в Средиземноморском бассейне. Эта тема была утверждена VIII Международным съездом лингвистов в Осло в 1957 г. В работе над атласом принимают участие лингвисты Югославии, Болгарии, Италии, Греции и других стран. Картографироваться будет лексика, связанная с морским делом и рыболовством. Программа атласа содержит 800 вопросов. В последние годы все чаще раздаются голоса о необходимости создания славянского топонимического атласа. Нет сомнений в том, что и топонимический материал может быть объектом лингвистического картографирования.

---

[4] К. Мирчев, Защо ни е необходим атлас на българските говори, «Български език», I, 3—4, 1951, стр. 200.

[5] См., например, И. А. Дзендзелевский, Принципы составления региональных атласов, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», 33—34: Актуальные проблемы славяноведения, 1961, стр. 195.

[6] См. например, статьи П. Ивича: «On the structure of dialectal differentiation» («Word», XVIII, 1—2, 1962); «Основни аспекти структуре дијалекатске диференцијације» («Македонски јазик», XI—XII, 1—2, 1960—1961); статью Н. И. Толстого «Из опытов типологического исследования славянского словарного состава» (ВЯ, 1963, 1) и др.

Итак, возможны различные типы лингвистических атласов. Методы лингвистической географии широко применяются при решении исторических проблем на основе самого разнородного материала. Именно это обстоятельство превратило диалектологию в центральную лингвистическую дисциплину, способную решать кардинальные вопросы сравнительно-исторического языкознания.

*

Южнославянские языки (болгарский, македонский, сербохорватский и словенский) характеризуются рядом весьма существенных отличий от севернославянских (точнее от западнославянских и восточнославянских) языков. Наиболее древние отличия можно возвести к тому периоду, когда праславянская территория находилась к северу от Карпат. Уже тогда праславянский язык имел различные диалектные группы — к одной из них генетически и восходят южнославянские языки [7]. Наиболее значительная часть южнославянских отличительных черт сформировалась, конечно, значительно позже, уже на Балканском полуострове после VI—VII вв. н. э. в связи с новыми условиями языковой и социальной жизни южных славян. Именно эти черты и являются предметом исследования историков южнославянских языков. Так, историки болгарского языка не касаются добалканского периода его истории. Это легко обнаружить не только в старых трудах Б. Цонева и Ст. Младенова, но и в новой работе К. Мирчева. Такой подход оправдывается тем, что историк отдельного славянского языка якобы не должен вступать в праславянский период: его задача исследовать историю языка после завершения праславянского периода. «Историческая грамматика болгарского языка,— пишет К. Мирчев,— имеет целью изучить и представить постепенное развитие изменений, которые произошли в звуковом составе, в грамматическом строе и в лексике болгарского языка от периода его обособления в самостоятельный славянский язык после распада праславянского языка»[8]. Аналогичной точки зрения придерживаются историки и других южнославянских (и не только южнославянских) языков. Лишь И. Попович попытался выйти за указанные хронологические рамки [9]. И для этого у него имелись веские основания.

В южнославянских языках произошли глубокие изменения в тот период, когда предки южных славян заселили Карпаты и начали жить в новых для них условиях горного ландшафта. До этого славяне жили в иной географической среде. «В славянских языках,— писал В. Н. Щепкин,— замечательно богатство названий для проточных и стоячих вод, для ключей и колодцев, для озер, болот и топей, для лесов, зарослей и рощ. Напротив того, общие всем славянам названия горных формаций очень редки. Все указывает, что родиною славян была лесистая, богато орошенная равнина, а никак не безлесные степи или долины и склоны гор» [10]. Карпатский период в истории южнославянских языков имел огромное значение. Это связано было прежде всего с изменением географической среды, которая должна была наложить глубокий отпечаток на эти языки. Произошли глубокие изменения и в экономической жизни. Здесь установились иные взаимоотношения между различными славянскими племенами: вошли в близкое соприкосновение те племена, которые прежде не находились в состоянии контакта.

---

[7] Подробнее см. в моем «Очерке сравнительной грамматики славянских языков» (М., 1961), стр. 66—74.

[8] К. Мирчев, Историческа граматика на българския език, София, 1958, стр. 5.

[9] I. Popović, Geschichte der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden, 1960.

[10] В. Н. Щепкин, Введение в славяноведение, М., [1914], стр. 38—39.

Новая территория славянских поселений в Карпатах не была безлюдной. Здесь издавна жили многочисленные племена, говорившие на фракийских диалектах. Есть основания полагать, что в западных Карпатах обитали кельты. В Трансильванских Альпах жило население, говорившее на одном из романских диалектов. Начался процесс ассимиляции части местного населения славянами, который, конечно, не прошел бесследно и для славянских языков. В результате во всех славянских языках, испытавших воздействие в той или иной степени указанных выше факторов, произошли многочисленные изменения. Они отражаются во всех южнославянских языках, в юго-западных говорах украинского языка, в южных говорах польского языка, охватывают значительную часть центральных и восточных словацких говоров, некоторые моравские говоры чешского языка. Таким образом, в результате карпатской миграции славян возникла очень важная локальная группа диалектов, характеризующаяся многими общими особенностями. Они нашли отражение преимущественно в области словаря, семантики, словообразования, синтаксиса, фразеологии. В меньшей степени карпатские языковые инновации отразились на звуковом строе говоров и на морфологии.

Славянская колонизация Балканского полуострова началась в VI в. н. э. К концу VII в. значительная часть полуострова уже была заселена славянами. Таким образом, мы можем думать, что языковые изменения, связанные с пребыванием славян в Карпатах, происходили наиболее интенсивно между II—III вв. и VI—VII вв. н. э. Именно в этот период происходило формирование тех языковых черт, которые следует связывать с карпатской миграцией славян.

Это был, конечно, еще праславянский период. Однако историки праславянского языка не могут выявить частных и локальных групп, которые формируются в результате сложных взаимодействий на сравнительно небольших территориях. Эти процессы должны изучаться на материале тех языков, которые в своем развитии прошли через эти локальные группы. Вот почему историк польского языка должен непременно учитывать всю историю лехитской группы, историк болгарского языка должен считать предметом своей специальности весь карпатский период жизни болгарского языка.

Не все местные языки в Карпатах были поглощены славянскими языками. Это относится прежде всего к румынскому языку, который на значительной территории сам ассимилировал славянские диалекты. Естественно, что современные румынские диалекты сохраняют многие особенности, сформировавшиеся здесь. Некоторые из них были определены влиянием древних румынских диалектов на диалекты пришедших с севера славян, другие являются наследием в румынском языке ассимилированных славянских диалектов. Вот почему карпатскую языковую проблему нельзя решать без всестороннего учета данных дакорумынских диалектов. Нельзя пройти мимо и венгерских диалектов, несмотря на то, что венгры появились здесь только в IX в. Конечно, к этому времени многие процессы были здесь уже завершены. Однако венгры ассимилировали на территории Паннонии местное славянское население. Изучение славянских элементов в современных венгерских диалектах может дать очень важные сведения о направлении древних изоглосс карпатского ареала.

Итак, перед историками южнославянских языков стоит важнейшая задача изучения тех изменений, которые пережили эти языки между II—III и VI—VII вв. н. э. в Карпатах. Эти изменения были глубоки и они определили многие специфические особенности болгарского, македонского, сербохорватского и словенского языков. Аналогичные задачи

стоят перед историками юго-западных украинских говоров, южнопольских говоров, словацких и моравских говоров. Ведь в сфере воздействия карпатской языковой ситуации оказались украинские говоры Закарпатья и Прикарпатья, расположенные в Западных Бескидах, гуральские говоры польского языка, словацкие говоры Малых и Белых Карпат, говоры моравских валахов. Сравнительное изучение всех этих языков (или диалектов) вместе с румынским и венгерским языками даст возможность вскрыть те процессы, которые привели в свое время к формированию «карпатизмов».

Можно ли говорить о существовании «карпатского языкового союза»? На этот вопрос следует дать, видимо, отрицательный ответ. Имеются лишь отдельные элементы, которые при дальнейшем развитии могли бы сформироваться в «языковой союз». Для «языкового союза» характерно наличие прежде всего сходных грамматических моделей. Мы не знаем пока специфических карпатских грамматических моделей, которые бы объединяли языки и диалекты карпатского ареала. Представленные здесь параллельные грамматические структуры повторяют во многом грамматические модели «балканского языкового союза». Специфические «карпатизмы» — это прежде всего характерные для языков данного района лексемы и чрезвычайно своеобразная семантика многих хорошо известных всем славянским языкам слов.

*

Поставленная нами проблема интересовала в какой-то степени лингвистов и раньше. Однако ее пытались решать на ограниченном материале и только в плане заимствований. Я имею в виду работы, в которых обсуждались вопросы влияния южнославянских языков на юго-западные (главным образом закарпатские) говоры украинского языка.

Впервые этот вопрос был поставлен неспециалистом по украинскому языку. Речь идет о проф. В. Погорелове, который, познакомившись с закарпатскими говорами, обнаружил в них ряд черт, которые он определил как «болгаризмы». В небольшой статье «Болгаризмы в карпатских говорах»[11] В. Погорелов приводит следующие примеры из карпатских говоров: 1) краткие формы дат. падежа местоимений употребляются в значении притяжательных местоимений (*жона ми* вместо *жона моя*); 2) союз *що* употребляется в функции относительного местоимения; 3) превосходная степень образуется с помощью частицы *май* (*май-слабый*); 4) сравнительная степень образуется с помощью частицы *по-*, которая перетягивает на себя ударение (*пóкороткий*); 5) употребляется удвоенный предлог *зоз* (<*със*); 6) встречаются типичные для болгарского языка слова: *балта*, *бердо*, *брич*, *дойка*, *жеб*, *копылец*, *мерша*, *пазити*, *перть*, *полонина*, *псовати*, *сербати*, *твердо*, *читавый*.

На основании представленных фактов В. Погорелов высказал предположение, что до прихода венгров на Балканы между древнерусским населением Закарпатья и болгарами существовал тесный контакт, в результате которого многие болгаризмы проникли в восточнославянскую речь, где они сохраняются до сих пор.

Отрицательное суждение о работе В. Погорелова высказал М. Фасмер[12]. Он отметил, что некоторые из указанных «болгаризмов» встре-

---

[11] Статья первоначально опубликована в 1935 г. в газ. «Русский народный голос», в 1940 г. перепечатана в журн. «Spisy Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave», 2.

[12] См. ZfslPh, XVII, 1940.

чаются не только в южнославянских языках и в карпатских говорах украинского языка, а далеко за их пределами. В. Погорелов, по справедливому замечанию Фасмера, не изучил истории тех явлений, на основе которых он утверждал наличие тесного контакта между восточнославянским населением Карпат и южными славянами до прихода на Карпаты венгров (т. е. до IX в.). Многие из представленных в списке Погорелова болгаризмов сами являются сравнительно поздними заимствованиями в болгарском языке. Отрицательное суждение о статье Погорелова высказал Ив. Панькевич. В ответе В. Погорелову «Чи можна говорити про болгаризми в південнокарпатських говорах» (1937) Панькевич справедливо указал, что примеры В. Погорелова не могут подтвердить его гипотезы о наличии древних контактов между восточнославянским и южнославянским населением Карпат. Не отрицая возможности вообще таких контактов, Панькевич, однако, обратил внимание на необходимость изучения так называемых болгаризмов за пределами закарпатских говоров. Некоторые из указанных В. Погореловым особенностей встречаются в разных украинских говорах (не только в юго-западных). Панькевич убедительно показал, что Погорелов не учитывает того, что многие южнославянизмы могли проникнуть в закарпатские говоры в сравнительно позднее время через румынский и венгерский языки. Поставленную В. Погореловым проблему необходимо решать при всестороннем учете данных румынских и венгерских говоров.

В послевоенный период специалисты по юго-западным украинским говорам продолжали обсуждать вопрос, поднятый Погореловым. При всех недостатках статьи Погорелова нельзя не признать, что в ней были поставлены вопросы, мимо которых не может пройти украинист. Обнаруживались все новые и новые факты, которые объединяют говоры Закарпатья и Прикарпатья с южными славянскими языками (не только с болгарским, но и с сербохорватским).

В 1955 г. Ив. Панькевич опубликовал большую статью «Українсько-болгарські мовні зв'язки в Семигороді» [13]. На основе изучения топонимического материала Трансильвании и языка брашовских грамот Панькевич пришел к выводу, что в районе Трансильвании в XII в. существовал тесный контакт между болгарами и предками украинцев.

Детальный анализ статьи Панькевича не входит сейчас в мою задачу. К этому я вернусь специально в другой раз. Здесь лишь отмечу, что по уровню лингвистического анализа эта статья не отличается от статьи Погорелова. Недостатки метода здесь видны даже яснее, так как перед нами не газетная статья, а специальное исследование. Изолированные и случайные сопоставления отдельных фактов, отсутствие строго этимологического анализа, поразительная неосведомленность автора в болгарской диалектологии, игнорирование данных румынской и венгерской диалектологии (здесь Панькевич забыл о своих советах Погорелову) — все это дает нам основание поставить под сомнение все выводы и основные положения статьи. Автор не смог привести ни одного убедительного факта, который бы подтверждал его хронологию. Ряд фонетических явлений закарпатских говоров украинского языка автор рассматривает в связи с возможным влиянием болгарского языка. Примечательно, однако, что в книге «Нарис історії українських закарпатських говорів» (Прага, 1958) Панькевич совершенно не учитывает возможности влияния на эти говоры южнославянских языков. Здесь данная проблема автором даже не ставится.

---

[13] См. «Slavia», XXIV, 2—3, 1955

Затронута интересующая нас проблема и Б. В. Кобылянским в книге «Діалект і літературна мова». Здесь, однако, речь идет не о закарпатских говорах украинского языка, а о прикарпатских (главным образом о покутских говорах). Автор и здесь обнаружил многие из тех «болгаризмов», которые до него отмечались в закарпатских говорах. Из области лексики он приводит: *бердо* «круча», *клеть* «комната», *ватра* «огонь», *ватрал* «кочерга», *езвіро* «глубокий провал», *гуне* «короткое теплое пальто из грубого сукна», *варувати* «беречь», *пазити* «наблюдать, стеречь», *токмити* «договариваться», *брич* «бритва», *сарака* «бедняга», *доста* «хватит», *кокошка* «курочка», *борзо* «быстро», *лигати* «глотать» и др.[14]. К болгаризмам Кобылянский относит встречающийся часто в говорах глагольный префикс *ві* (*вішов*, *вірізую*), твердый *ц* в именных суффиксах *-еца*, *-ец*, широкое употребление энклитических местоимений и др. В ряде случаев автор предпочитает говорить не о «болгаризмах», а о «болгаро-южнорусских диалектных схождениях». Сюда он относит, например, окончание 1-го лица мн. числа настоящего времени *-ме* и ряд других фактов. Обращает внимание Кобылянский и на ряд фонетических черт, генезис которых, по мнению автора, может быть выяснен только при учете болгаро-украинских связей[15].

Б. В. Кобылянский отвергает возможность проникновения болгарских элементов в украинские говоры через румынский язык. «Известные звуковые и морфологические общие черты, которые существуют в диалектах восточнокарпатских, покутских и болгарских, не следует объяснять посредничеством румынского языка»[16]. Однако у автора нет убедительных оснований для подобного утверждения. Ссылка на древние связи между болгарским и древнерусским языками в районе Карпат не убедительна без установления хронологии этих общих черт. Следует указать, что вообще автор не решает вопросов хронологии [17].

На пятой славистической конференции в Ужгороде в 1962 г. В. В. Нимчук сделал доклад на тему «Вопросы связей закарпатских украинских говоров с южнославянскими языками». Докладчик справедливо указал на актуальность данной тематики. Собранный Нимчуком материал пополняет инвентарь так называемых «южнославянизмов»: *кр'áтати* «повертывать», *тір'áти* «гнать», *уталожитис'а* «успокоиться» и др. В отличие от своих предшественников Нимчук больше внимания уделяет связям закарпатских говоров с сербохорватским языком. В заключение он пишет: «Необходимо дальнейшее изучение лексики и грамматики закарпатских и соседних украинских говоров в лингвогеографическом и историческом планах для того, чтобы выяснить древние и новые связи этих говоров с говорами южнославянских языков, установить хронологию их общих черт» [18].

---

[14] Б. В. Кобилянський, Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови), Київ, 1960, стр. 247—248.

[15] Там же, стр. 256—260.

[16] Там же, стр. 246—247.

[17] Преуменьшал роль и значение румынского языка в создании общих элементов в языках карпатского ареала Д. Кранджалов (D. Crânjală). См. его монографию «Rumunské vlivy v Karpatech» (Praha, 1938), статью «Le problème des influences roumaines dans les Carpates du Nord et de l'Oueste, surtout dans la région dite Valachie morave (ou Tchécoslovaquie)» («Acta universitatis Palackianae Olomoucensis», 1961, стр. 143—190).

[18] В. В. Німчук, Питання про зв'язки закарпатських українських говорів з південнослов'янськими мовами, «Тези доповідей у міжвузівської республиканської славістичної конференції», Ужгород, 1962, стр. 93.

В изучении связей между карпатскими говорами украинского языка и южнославянскими языками имеются весьма существенные пробелы и недостатки. Укажу основные.

1. Все специфические особенности юго-западных украинских говоров, имеющие аналогии или соответствия в болгарском или сербохорватском языках, причисляются к «южнославянизмам». Исследователи не считаются с трезвым предостережением Г. Геровского, который еще в 1946 г. писал: «Правильно было бы, по-видимому, упомянутые карпатские слова, сходные с болгарскими, не считать заимствованными из этого языка, а словарными совпадениями с южнославянскими, унаследованными от старого времени, когда славянские говоры болгарского типа имели распространение в нынешней Трансильвании („дакославянские" говоры) и Украине по северной стороне Дуная (IX—XI вв.), с которыми предок нынешнего карпаторусского говора был непосредственно связан»[19]. Многие отличительные особенности болгарского и сербохорватского языков сформировались, как уже было сказано выше, в период карпатской миграции южных славян. Эти карпатские инновации охватили часть говоров восточных и западных славян. Все эти особенности следует считать «карпатизмами».

От «карпатизмов» необходимо отличать «балканизмы», многие из которых этимологически восходят к южнославянским языкам. Некоторая часть этих балканизмов румынского, албанского, новогреческого и турецкого происхождения. В данном случае речь идет о заимствованиях из балканских языков (главным образом, через румынский) в сравнительно позднее время (после XIV в.). Турецкое завоевание Балканского полуострова вызвало отлив населения в северные области. Это не могло пройти бесследно для языков карпатского ареала. Влияние балканских языков определялось и экономическими причинами. Недавно польский языковед З. Голомб убедительно показал, что карпатская скотоводческая терминология содержит многочисленные элементы, заимствованные из балканских языков. «В скотоводческом словаре карпатских славян (украинцев, поляков, словаков) имеется много балканских элементов, которые представляют собою румынские (романские) слова или слова, которые румыны заимствовали из других балканских языков (среди них и южнославянских)»[20].

2. При изучении «карпатизмов» специалисты по украинской диалектологии основное внимание обращали на южнославянские языки. А между тем многие из «карпатизмов» хорошо известны некоторым словацким, моравским, польским говорам. Это же относится и к «балканизмам».

3. Отдельные ученые (например, Панькевич) понимали, что поставленную проблему нельзя решать без данных румынского и венгерского языков. Однако дальше общих пожеланий дело не шло. Очевидно, что исследователь «карпатизмов» не должен ограничиваться только славянскими языками. В этом отношении очень велика роль румынского языка, который не только территориально объединяет украинские и болгарские «карпатизмы», но и сам является источником многих «карпатизмов» и «балканизмов».

В инвентарь «южнославянизмов» специалисты по карпатским украинским говорам всегда включают известное здесь слово *рупа* (*рóпа*) «яма для хранения овощей, нора, дупло, пещера, горная котловина». Действительно, это слово с различными фонетическими вариантами хорошо из-

---

[19] «Костер», 9, Прага, 1946, стр. 150.

[20] З. Голомб, Генетички врски меѓу карпатската и балканската сточарска терминологија и улогата на словенскиот елемент во ова подрачје, «Македонски јазик», X, кн. 1—2, 1959, стр. 22.

вестно южнославянским языкам. Недавно вновь это слово привел В. В. Нимчук как доказательство влияния южнославянских языков на закарпатские говоры. Оно стоит в списке слов, которые якобы доказывают «существование в глубокой древности языковых контактов между южными славянами и юго-западными древнерусскими племенами, прежде всего белыми хорватами»[21]. Однако может ли это слово доказывать и подтверждать эти контакты? Попытку С. Младенова связать это слово со славянским *pona* «соляной раствор» следует признать несостоятельной. В. М. Иллич-Свитыч полагает, что «**rupa* в значении „горное ущелье, пещера" было заимствовано у дославянского населения Карпат в период карпатской миграции»[22]. Следовало бы сказать более определенно. Ведь это слово — вклад румынского языка в карпатскую лексику (ср. лат. *rumpo*, *rūpi*, *ruptum*, *rumpere* «рвать, разрушать, вырывать, прорывать», *rūpīna* «расселина в скалах, каменистое ущелье», рум. *ruptură* «дыра», *rupe* «рвать»). Подобных романизмов в карпатской лексике много. И это естественно.

В румынском языке имеется много слов славянского происхождения. В основном эти слова генетически связаны с болгарским языком. Многие из этих слов через Маремуреш и Буковину проникали в украинские говоры в сравнительно позднее время. Особенно много их в прикарпатских говорах (в покутских и гуцульских говорах, в говорах бойков). Многие из этих слов имеют сравнительно небольшую территорию и могут быть причислены к л о к а л ь н ы м к а р п а т и з м а м и б а л к а н и з м а м. Выявить их возможно только методом лингвогеографического описания.

4. Многие «карпатизмы», известные языкам карпатского ареала, этимологически не могут быть возведены к этим языкам. Они, видимо, сохранились от ассимилированного здесь, в Карпатах, языка, от древнего карпатского субстрата. Причислять их к «болгаризмам», или «сербизмам», или «балканизмам» нет никаких оснований. Обычно, однако, специалисты по украинским карпатским говорам их смело причисляют к южнославянским элементам. Вот один из примеров.

В список южнославянизмов карпатских говоров обычно включают закарпатские *кварити* «портить», *квар* «порча». М. И. Онышкевич фиксирует эти слова и в прикарпатских говорах (у бойков: *квар би т'а ўкварию* — Коростів). Действительно, соответствующие слова хорошо известны всем южнославянским языкам: болг. *кваря*, *покварям*, *поквара*, *покварен*; срх. *кварити*, *кварен*, *поквара*; словен. *kvariti*, *kvaren*, *kvar*. Все они употребляются в значении «портить», «испорченный», «порча». Фиксируют соответствующие слова и словацкие словари: *kvárit'* «портить», *kvárený* «испорченный», *kvár* «порча». Известно слово *kár* (< *kvar*) венгерскому языку, где оно, очевидно, заимствовано из славянского. Об этом свидетельствует начальный *k*. Еще Юнгман в свое время пытался соответствующий корень связать с *skvьrnъ*, но неудачно. Ошибочность его этимологии очевидна. Ни один из известных нам языков не дает данных для установления этимологии морфемы *kvar-*. Вот почему можно думать, что эта морфема, хорошо известная языкам карпатского ареала, является наследием ассимилированного карпатского субстрата. В инвентаре карпатизмов таких слов немало. Нет сомнения, что многие из подобных неясных в этимологическом отношении слов являются здесь фракийским наследием.

5. В словарном составе украинских говоров Закарпатья и Прикарпатья встречается немало слов турецкого происхождения. Эти слова

[21] В. В. Н і м ч у к, указ. соч., стр. 91.

[22] В. М. И л л и ч - С в и т ы ч, Лексический комментарий к карпатской миграции славян (Географический ландшафт), ИАН ОЛЯ, 1960, 3, стр. 227.

хорошо известны болгарскому и румынскому языкам. Они проникли сюда сравнительно поздно, главным образом через румынский язык. Специалисты по украинской диалектологии не отделяют их от древних карпатизмов. Эти слова сплошь и рядом входят в список слов, подтверждающих древние связи предков украинцев с болгарами (см., например, у Кобылянского слово *гердан*, которое стоит рядом со словами *ватра*, *гуне*, *пазити* и т. д.). *Гердан* и под. следует причислять к «балканизмам» турецкого происхождения.

6. При установлении инвентаря «карпатизмов» специалисты по украинской диалектологии пользуются словарями южнославянских литературных языков. Таким образом, в стороне остается богатейшая диалектная лексика болгарского и сербохорватского языков. Эта лексика могла бы значительно пополнить список слов, объединяющих украинские карпатские говоры с южнославянскими языками.

Но дело не только в этом. Ведь не все уже выявленные слова характеризуют все говоры южнославянских языков. Каждый «карпатизм» имеет свою сферу распространения на территории этих языков. Вот почему для решения всей проблемы в целом необходимо иметь представление о так называемых карпатских изоглоссах на территории болгарских, македонских, сербохорватских и словенских говоров. Не все говоры этих языков в одинаковой степени отражают древнее карпатское наследие.

Если говорить о болгарских говорах, то здесь особое значение приобретают северо-западные говоры Болгарии. Эти говоры имеют наибольшее число «карпатизмов». Близки к ним в этом отношении восточные, северо-восточные и центральные говоры штокавского диалекта сербохорватского языка. Именно центральный район северной границы южнославянского ареала в наибольшей степени связан с центральным районом южной границы *севернославянского ареала*. П. Ивич в докладе на IV Международном съезде славистов в Москве указал, что «большое число южных особенностей в центре северной территории должно иметь свои глубокие причины»[23]. Ивич справедливо полагает, что после переселения славян на Балканский полуостров в течение длительного времени не нарушался контакт между северной и южной группами. Барьер возник позже «вследствие переселения венгров, проникновения германских племен в теперешнюю Восточную Австрию и формирования компактного романского этнического ядра в Румынии»[24]. Это привело к ликвидации многочисленных переходных говоров между южнославянскими и севернославянскими языками.

7. При выявлении «карпатизмов» мало обращалось внимания на семантику. А между тем именно в области семантики отражаются многие важные процессы, связанные с карпатской миграцией славян. Именно здесь многие общие праславянские слова приобрели новые значения, связанные с новыми географическими условиями и новыми условиями быта. Эти значения резко отделяют южнославянские языки от севернославянских. Говоры последних, примыкающие к карпатскому району, в ряде случаев сближаются с южнославянскими. Семантика южнославянских языков может дать очень много важных и ценных фактов и параллелей для карпатских говоров украинского, словацкого и польского языков. В свою очередь, эти говоры содержат ценнейшие данные для изучения истории значений многих южнославянских слов, так как на Балканах

[23] П. Ивић, Значај лингвистичке географије за упоредно и историско проучавање јужнословенских језика и њихових односа према осталим словенским језицима, «Јужнословенски филолог», XXII, Београд, 1957—1958, стр. 199.
[24] Там же.

были утрачены некоторые древние значения, хорошо сохраняющиеся до сих пор в Карпатах. Это можно показать на многих примерах.

В болгарском представлено слово *стая* «комната». В том же значении в говорах употребляются турцизмы *одая* и *соба*. Нет сомнений, что слово *стая* в болгарском славянского происхождения. Оно восходит к праславянской глагольной морфеме **stā-*. Сопоставление болгарского *стая* с сербохорватским *staja* «стойло, хлев, барак» и словенским *staja* в том же значении дает основание считать болгарское значение более новым (ср., например, от того же корня слово *стадо*). Однако южнославянский языковой материал не дает возможности идти дальше. Здесь этимологу приходят на помощь карпатские говоры украинского языка, где это слово сохраняет значения, дающие возможность восстановить все утраченные звенья: «пастбище, где овцы задерживаются на длительный срок», «место пастушьей зимовки в горах», «пастушья стоянка в горах», «главный большой шалаш на стоянке пастухов». Именно отсюда в дальнейшем и развилось болгарское значение слова *стая*. Переход от «помещения» к «комнате» является естественным, так как современное понятие «комната» является, конечно, новым. Вспомним, что в болгарских говорах часто слово *къща* имеет значение не только «дом», но и «комната».

И. Попович в «Южнославянских лексических этюдах» изучил целую цепь значений славянского **kǫtja*, которая в южнославянских языках завершается значением «domus»[25]. Она была бы несомненно полнее, если бы автор привлек больше материала из карпатских говоров. Кроме отмеченного им «клеть для птиц, хлев для свиней» (по Гринченко), «помещение для свиней, бедный дом, хибара» (по Жилко), можно было бы еще указать из карпатских говоров «маленький дом, собачья будка, куча чего-либо...».

8. Исследователи так называемых «южнославянизмов» в карпатских говорах украинского языка не имели представления о территории их распространения не только в южнославянских языках, но и в украинском языке. Уже критики Погорелова указывали, что некоторые из отмеченных им «болгаризмов» имеются далеко за пределами возможного влияния южнославянских языков. Однако и критики не имели ясного представления о территории указанных явлений. Совершенно очевидно, что данная проблема могла быть решена только путем тщательного лингвогеографического описания. Это наглядно показал «Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР» И. А. Дзендзелевского[26], содержащий 270 частных лексических карт и 29 общих карт. Несмотря на незначительную территорию (атлас охватывает только украинское Закарпатье) и отсутствие у составителя специальной задачи выявить связи с южнославянскими языками, атлас дает очень много новых и ценных фактов для решения интересующей нас проблемы. «Впервые получили лингвогеографическое основание факты так называемых закарпатско-южнославянских связей, на которые в свое время обратил внимание В. Погорелов. Уже в рецензируемом томе „Атласа“ можно отметить значительное число слов, имеющих закарпатско-южнославянский ареал [*веремня* „солнечная погода“.., *ма́чка* „кошка“.., *хи́жа* „крестьянский дом..“, *о́болок* „окно“.., *ку́ча* „свинарник“.., *па́зити* „спешить“.., *игра́ти* „танцевать“.., *копа́чка* „мотыга“.., *ни́челници* „часть ткацкого стана“...]. Совокупное рассмотрение изоглосс такого рода не только может дать многое для решения вопроса о генезисе закарпатских украинских говоров, но и способно пролить свет на проблему переселения южных славян за Карпаты»[27].

[25] И. Попович, Южнославянские лексические этюды, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», 35. Славянское языкознание, 1962, стр. 44—53.

[26] См. Й. О. Дзендзелівський, Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР, I — Ужгород, 1958, II — Ужгород, 1960.

[27] В. М. Иллич-Свитыч, Г. В. Венедиктов [рец. на кн.]: Й. О. Дзенд-

Из второго тома могу указать на карты *клювач* «дятел», *геренда* «поперечная балка», *білі печінки* «легкие», *джумара* и его варианты «шкварки», *путечка*, «дорожка», *балта* «топор», *брич* «бритва», *часовник* «часы», *клинец* «гвоздь», *тко* «кто» и др. О существовании многих из отмеченных слов в закарпатских говорах было известно и прежде. Однако только теперь мы имеем полное представление о территории их распространения.

Атлас И. А. Дзендзелевского очень наглядно показал большое преимущество лингвогеографического описания. Во весь рост встала задача изучения «карпатизмов» по специальной программе методами лингвистической географии. Так возникла идея создания КДА.

Вопрос о КДА был поставлен в повестку дня первого Всесоюзного координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения, которое происходило в Москве в январе 1961 г. Именно этому вопросу была посвящена значительная часть моего доклада «Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков» [28]. Естественно, что на совещании была определена лишь первая стадия работы, выполнение которой возможно силами языковедов Советского Союза. Речь шла об изучении по специальной программе карпатских говоров украинского языка. Успешное продвижение этой работы могло бы явиться предпосылкой для включения в нее в дальнейшем языковедов Болгарии, Югославии, Польши, Чехословакии, Румынии и Венгрии.

После совещания в Институте славяноведения и на кафедре украинского языка Ужгородского университета началась работа над проектом вопросника КДА. В июне — июле 1962 г. в Ужгороде состоялось первое совещание, в котором приняли участие видные специалисты по юго-западным говорам украинского языка [29]. В июле — начале августа 1963 г. проводится первая экспедиция.

В настоящее время вопросник КДА включает в себя 541 вопрос: по фонетике 17 вопросов, по словообразованию и морфологии 57 вопросов, по синтаксису 13 вопросов, по фразеологии 15 вопросов, по лексике (от предмета к слову и от слова к предмету) 420 вопросов.

Наиболее ясно и четко отвечают задачам КДА вопросы по лексике. Здесь фиксируются те слова и те значения слов, которые отличают юго-западные украинские говоры от остальных украинских говоров и сближают их прежде всего с южнославянскими языками, в ряде случаев со словацкими, моравскими и южнопольскими говорами. Учитывались по мере возможности данные румынской и венгерской диалектологии. В разделе лексики большое место отведено ландшафту (*дебра*, *дебирь*, *пустара*, *рудина*, *рудовина*, *діл*, *пресліп*, *бердо*, *осой*, *полонина*, *диря*, *перть*, *извор*, *рупа*, *ропа* и др.), природным явлениям (значения слов *година*, *веремя*, *поледица* и др.), фауне и флоре (*мачка*, *клювач*, *костриж*, *мерена*, *боз*, *трепета*, *смерека*, *жаборина* и др.), человеку (*кмет*, *челядь*, *приведеник*, *копилец*, *сліпе око* и др.), пище, одежде (*баник*, *солонина*, *кирпа* и др.), болезням, обычаям (*груша*, *гирча*, *задушница*, *полазник* и др.), дому, утвари (*хижа*, *куча*, *колиба*, *лавица*, *прозор*, *під*, *судина*, *протак*, *часовник*, *ватра* и др.), сельскому хозяйству (*кирд*, *тирло*, *копачка*, *кошница*, *бороква* и др.). Для КДА очень важно собрать материал для слов *горня* «кружка, горшок», *грішка* «ошибка», *печурка* «гриб», *добиток* «домашний скот», *кола* «телега, повозка», *квар* «порча», *кварити* «портить», *порекло* «прозвище», *вир* «водоворот», *глоба* «штраф», *мерша* «падаль», *грижа* «за-

---

зелівський, Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР (Лексика), ВЯ, 1960, 3, стр. 118.

[28] См. «Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», 33—34: Актуальные проблемы славяноведения, 1961, стр. 183—185.

[29] См. ВЯ, 1962, 6, стр. 148—149.

бота», *токма* «соглашение» и др. Из прилагательных укажу на следующие: *питомний* «ручной, недикий, домашний», *плиткий* «мелкий, плоский», *коравий* «покрытый коркой, непокорный, упрямый», *люзький* «чужой», *правий* «прямой», *храпавий* «неровный, шероховатый», *солодкий* «пресный», *безочливий* «наглый», *хитрий* «скорый, быстрый» *читавий*, «целый, неповрежденный, хороший, сильный», *бавний* «медленный, медлительный», *наручний* «удобный, сподручный», *жежкий* «горячий, жаркий» и др. Богатый материал дают наречия: *доста* «достаточно, довольно», *горі-долу* «кое-как, приблизительно», *онде* «вон там, вон туда; недавно», *боле* «лучше, хорошо», *мучно* «тяжело, трудно», *твердо* «очень, сильно», *легко* «может быть», *пак* «потом; же», *чисто* «просто, полностью», *мало* «чуть не; немного», *вон*, *вонка* «снаружи», *докля* «докуда, до какого места; до каких пор», *уедно* «вместе», *само* «только, лишь», *сночи* «вчера вечером, вчера», *поготів* «тем более», *требало* «нужно было» и мн. др. Из предлогов зафиксирован только предлог *зад*: *зад себе*, *вскочив у хату зад їх*.

Много вопросов уделено глаголам (главным образом семантике глаголов). Здесь фиксируются глаголы: *гнявити* «давить виноград; придавить ногу; давить, мять», *санкатися* «кататься на санках», *іграти* «плясать, танцевать», *двигати* «поднимать», *голоситися* «отзываться, подавать голос», *пристигати* «прибывать, приезжать», *поскорити* «поторопить», *проширити* «расширить», *обрікати* «обещать», *псовати* «ругать», *крятати* «двигать, поворачивать», *кресати* «тесать камень, дерево», *гомзити* «ползать, кишеть», *знати* «уметь», *ховзати* «скользить», *дворитися* «забавляться», *тіряти* (*кіряти*) «гнать, прогонять», *пристати* «жить в семье жены», *сочити* «предлагать, рекомендовать», *спирати* «останавливать, задерживать», *пазити* «стеречь, беречь», *жаморити* «болтать», *вівкати* «кричать, звать», *праскати* «трещать, лопаться», *уталожитися* «успокоиться, утихомириться» и мн. др.

Составленный вопросник КДА содержит, конечно, разнородный материал, отражающий различные исторические периоды в судьбах языков карпатского ареала. Он даст возможность выявить наиболее древние «карпатизмы», характеризующие языки и диалекты карпатского ареала, многие локальные «карпатизмы» разных периодов, старые и сравнительно поздние «балканизмы» (т. е. заимствования из различных балканских языков). КДА покажет территорию распространения всех зафиксированных в вопроснике языковых особенностей. Задача исследователя будет состоять в разграничении и историческом комментировании изоглосс КДА.

На Ужгородском совещании было принято решение обследовать на территории к западу от линии Самбор — Галич — Теребовля — Каменец-Подольский 120 украинских населенных пунктов, 12 румынских и 8 венгерских. Сетка обследования будет определяться не географическими, а исключительно языковыми факторами.

Работа над КДА должна вестись в тесном контакте с работой над общеславянским атласом. Перед составителями обоих атласов стоит много общих задач. КДА даст очень важный и ценный материал для изучения трудной проблемы классификации славянских языков, для изучения взаимоотношений южных и северных групп славянских языков, для выявления ряда важных древних славянских изоглоссных областей. А все эти проблемы стоят и перед составителями общеславянского атласа. КДА поможет решить много чисто балкановедческих проблем: он даст возможность разграничить старые «карпатизмы» и «балканизмы», выявит их изоглоссы, даст надежный материал для изучения карпатского и балканского языковых субстратов, для изучения истории славяно-румынских и славяно-венгерских языковых отношений.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

М. КАРАСЬ

СЛОВАРЬ ПОЛЬСКИХ ГОВОРОВ

(Проблемы и предложения)

1. В настоящей статье излагаются общие принципы и положения, принятые в работе над новым словарем польских говоров, который подготавливается Сектором языкознания ПАН в Кракове. Эта тема заслуживает всестороннего обсуждения; здесь хотелось бы затронуть только аспекты, особенно важные для сбора диалектного материала и его редактирования, что является весьма актуальным в связи с тем, что работа над диалектными словарями ведется сейчас не только в Польше, но и во многих других славянских странах. Существенно, что диалектная лексикография, не имеющая в славянском языкознании длительной традиции, до самого последнего времени развивалась в качестве побочной дисциплины при создании словарей литературных или общенародных языков. До последнего времени не наблюдалось попыток представить диалектную лексику как некоторую систему, самостоятельность которой зависит от характера отдельных диалектов и степени воздействия на них со стороны литературного языка. Конечно, выражение «диалектная лексическая система» нельзя понимать как замкнутый комплекс определенных элементов; нельзя также пытаться подвести все диалекты данного языка под одну систему, оппозитивную системе литературного языка [1]. Действительно, если в литературном языке представлена одна система лексических и семантических противопоставлений, достаточно открытая и постоянно пополняемая новыми элементами (путем внутренних преобразований и дериваций, а также путем включения посторонних элементов, их ассимиляции и подчинения элементам исконным), то диалектная лексика еще более доступна проникновению лексических элементов из близкого ей лексического запаса, по своей общественной функции несомненно превалирующего над ней, а именно из лексического запаса литературного языка. При весьма значительной «открытости» диалектных систем и легкости, с которой они воспринимают элементы извне, в диалектной лексике существуют независимые внутренние противопоставления лексических и семантических единиц; в их упорядоченности легко обнаруживаются определенные правила. С другой стороны, нельзя забывать, что в диалектной лексике идет постоянный процесс обогащения и обновления словаря в результате возникающих дериваций и передвижений значения у старых элементов. Все эти проблемы еще не были предметом исчерпывающей дискуссии, а между тем они имеют не только теоретическое значение, но также решающим образом определяют лексикографическую практику. Другой вопрос, не менее важный и вытекающий из первого,— это выбор редакционной модели диалектного словаря, т. е. общих и частных принципов построения словарных статей, критериев определения значений

[1] Ср. Н. И. Толстой, Из опытов типологического исследования славянского словарного состава, ВЯ, 1963, 1. Представленный здесь опыт показывает большие возможности системного изучения лексики.

слова в их соотношении, объем привлекаемой документации. Одной из таких проблем является характер словарной статьи в диалектном словаре, в частности вопрос о том, давать ли заглавное слово в его литературной форме (если это слово существует в литературном языке). Положительное решение этого вопроса несомненно практически обосновано, однако оно не охватывает те случаи, когда слово не известно литературному языку и выступает только в говорах, и при этом в очень различных вариантах, обусловленных фонетической системой данного диалекта. В этих случаях выбор нужного заглавного слова представляет немалые трудности и требует заранее выработанной инструкции. Дело еще больше осложняется, когда зафиксированные в диалектах звуковые разновидности слов носят индивидуальный, лексикализованный характер.

Обе выдвинутые здесь проблемы неравноценны для лексикологической теории: первая из них имеет общее значение, вторая направлена на установление и отбор отдельных явлений. Оба эти вопроса нуждаются в определенном расширении, и заслуживают внимания все попытки в этой области, производимые на материале отдельных славянских языков.

2. Приведем некоторые данные по истории польской диалектной лексикографии. Не останавливаясь на работах более ранних, относящихся к XIX в. и носивших чисто местный характер, назовем «Словарь польских говоров» Я. Карловича [2], который сыграл большую роль в фиксации и изучении диалектной лексики в Польше. Первый том этого словаря, вышедший из печати в 1900 г., был несомненно большим достижением; в течение долгого времени он оставался единственным трудом такого рода в славянских странах. До какой-то степени словарь собрал и суммировал все достигнутое предшествующей наукой в данной области. Тем не менее, уже с самого начала он не отвечал в полной мере требованиям диалектной лексикографии, главнейший постулат изучения диалектной лексики — географический принцип — был в нем реализован явно недостаточно. Большие сомнения вызывали также принципы отбора диалектных слов, способы определения значений и подачи материалов. Сразу же после выхода словаря и позднее критика выдвигала в его адрес много вполне обоснованных возражений. Однако, несмотря на все оговорки, словарь оказался весьма полезным для исследования лексики польского языка; он и сейчас продолжает оставаться незаменимым источником информации о диалектной лексике, хотя давно уже назрела необходимость создать новый труд такого рода.

Работе над новым словарем польских говоров положил начало К. Нич, который еще в начале XX в. имел намерение организовать систематический сбор диалектной лексики для будущего словаря [3]. Той же цели в какой-то степени должна была служить кампания по сбору диалектной лексики по специальным вопросникам, начатая в «Записках научного общества в Торуне» [4] и продолженная впоследствии в журнале «Польский язык» [5]. Однако собранные таким путем материалы не могли стать необходимой базой для работы над новым словарем. Лишь в незначительной степени

---

[2] J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, I—VI, Kraków, 1900—1911. Тома IV—VI подготовлены к изданию Я. Лосем.

[3] Ср. рецензию К. Нича на «Słownik gwar polskich» Я. Карловича («Rocznik slawistyczny», IV, 1911).

[4] K. Nitsch, Zachodnio-pruski kwestionariusz gwarowy, «Zapiski Towarzystwa naukowego w Toruniu», II, 1911—1913; III, 1916; IV, 1917.

[5] K. Nitsch, Poszukiwania naukowe. Kwestionariusz do zbierania słownictwa udowego, «Język polski», VIII, 1923; IX, 1924; X, 1925; XI, 1926; XII, 1927.

их дополнили собрания, представленные в магистерских работах или полученные в результате обработки печатных источников, проводимой под руководством К. Нича и его ассистентов. В собираемую таким образом картотеку иногда попадали и случайные материалы, присылаемые в Лексикографический сектор ПАН. Такая работа по сбору материалов не могла удовлетворять научным требованиям; к 1950 г. насчитывалось всего лишь около 30 000 карточек.

Значительная активизация работы над словарем началась с 1953 г., после создания специального Сектора атласа и словаря польских говоров ПАН со штатом научных работников с лингвистическим образованием. Диалектная лексика обследовалась и языковедами на местах. Этим создавалась реальная основа для успешной работы. В результате систематической росписи печатных источников и путем сбора лексических материалов в диалектологических экспедициях резко выросла картотека словаря. Значительно обогатили картотеку созданные в этот период исчерпывающие словари отдельных деревень, насчитывающие иногда более 10 000 слов, которые подготавливались для сектора лингвистами — обычно уроженцами этих деревень [6]. Сейчас картотека словаря насчитывает свыше 800 000 примеров приблизительно для 50 000 лексем. Собрание расположено в алфавитном порядке и снабжено полной системой формальных и семантических отсылок.

К. Нич руководил работой над словарем до 1958 г., направляя основное внимание на подготовку «Малого атласа польских говоров», первый том которого был издан в 1957 г. Для словаря в основном лишь собирался материал; принципы отбора и включения материала при этом не были установлены и точно сформулированы. Из практики вытекало, что словарь будет дифференциальным, охватывающим только собственно диалектную лексику. Эта точка зрения была высказана К. Ничем в докладе, прочитанном на заседании Комитета языкознания ПАН в Кракове 29 октября 1956 г., который не был опубликован. Подробный доклад о типе будущего словаря сделал на заседании Комитета языкознания 10 марта 1960 г. М. Карась. На этом же заседании был определен дифференциальный тип словаря, однако докладчик не исключил возможности введения в словарь и общих с литературным языком слов, предусматривая для них специальное ограничение в подаче материала [7].

Таким образом, история работы по составлению словаря польских говоров насчитывает по существу лишь около десяти лет, причем связанная с составлением словаря проблематика получила должное заострение лишь после 1960 г.

3. Словарь польских говоров охватит лексику, собранную на протяжении XIX и XX вв. Слова более ранних эпох, даже при всей их несомненной диалектной принадлежности, в словарь не войдут. Такое ограничение обусловлено двумя принципиальными соображениями, и прежде всего недостатком исследований и отсутствием собственно диалектных собраний до XIX в. С другой стороны, даже в тех случаях, когда в древнепольских текстах или словарях встречаются слова, отмеченные как народные, их географическая принадлежность бывает указана лишь в самых общих чертах, а еще чаще она вообще отсутствует. Вероятно, более целесообразно было бы более раннюю диалектную лексику (до XIX в.)

[6] Ср., например: M. Kucała, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław, 1957; M. Szymczak, Słownik gwary Domaniewka w pow. Łęczyckim, I, A—E, Wrocław, 1962.

[7] M. Karaś, Wytyczne doboru wyrazów języka ogólnonarodowego do słownika gwar polskich, «Język polski», XL, 2, 4, 1960, стр. 161; его же, Co to jest słownictwo gwarowe?, «Sprawozdania z prac naukowych Wydziału nauk społecznych PAN», III, 2—3, 1960.

рассматривать в словарях литературного польского языка данного периода [8]. Во многих случаях отграничение старопольской диалектной лексики sensu stricto от разговорного или даже литературного языка старшей поры представляет значительные трудности. В то же время обращение лишь к сегодняшнему состоянию диалектной лексики и ее географическому распространению может оказаться ненадежным и многозначным, ибо оно не дает сведений о том, было ли данное слово, ныне несомненно диалектное, географически ограниченным и в прошлом. Достаточно вспомнить хотя бы многочисленные лексические архаизмы современных говоров.

Принимая XIX и XX вв. в качестве хронологических границ словаря, мы, однако, наталкиваемся на другие, не менее серьезные затруднения. Как известно, научное исследование польских говоров, равно как и собирание лексики, началось лишь во второй половине XIX в., в лучшем случае после 1850 г. Первая половина XIX в. в этом отношении ненамного отличается от XVIII в. и более раннего времени. Однако нельзя забывать о начатом в тридцатые годы XIX в. записывании народных текстов, хотя эти записи и далеки от какой-либо фонетической точности; однако в них или вовсе отсутствует географическая информация, или она выступает как исключение, или она носит слишком общий характер, а именно сводится к помете, что данное слово встречается в Мазовше или Подхале. Опираясь только лишь на географические показатели, мы были бы вынуждены отказаться от многих источников XIX в. Такое решение вопроса было бы удобно для составителей словаря, но и весьма опасно: во-первых, таким образом ограниченный словарь не охватил бы всей совокупности диалектной лексики XIX в., известной нам хотя бы по словарю Карловича; во-вторых, мы лишились бы возможности проследить жизнь диалектной лексики на протяжении последних 150 лет как в отношении объема словарного запаса, так и в отношении изменений его географического распространения. Таким образом, вне словаря оказались бы многие слова, хотя и недостаточно географически определенные, но известные в XIX в. и признанные диалектными. По приведенным соображениям следует включить в список источников словаря древнейшие тексты народного характера, песни и рассказы (которые широко использовал Я. Карлович) [9].

При таком подходе к диалектным материалам начала XIX в. возникает новая проблема, а именно — следует ли ограничиться лишь выпусками, входящими в словарь Карловича, или заново пересмотреть использованные им материалы (это касается всех источников словаря Карловича приблизительно до 1895 г.). Кроме того, возникает необходимость выйти за пределы словаря Карловича и, опираясь на библиографию XIX в., расширить источники за счет тех собраний, которые Карлович не учел. Для правильного решения этого вопроса было бы целесообразно осуществить полный и точный контроль всех использованных Карловичем источников как с точки зрения адекватности выписки, так и с точки зрения количества примеров. Особенно важно это сделать в отношении ненадежных источников, не локализованных совсем или названных дважды по-разному; эти мнимые библиографические ссылки следует из словаря удалить. Из источников, неизвестных Карловичу, надо выбирать материал теми же способами, какие практикуются для современных источников.

Материальная база нового словаря, планируемая в таком объеме, обес-

[8] См. M. Karaś, Z historii badań nad słownictwem gwarowym, «Język polski», XLI, 3, 5, 1961.

[9] См. M. Karaś, Niektóre problemy słownika gwar polskich, «Sprawozdania z prac naukowych Wydziału nauk społecznych PAN», IV, 2, 1961.

печит ему максимальную полноту. Использованные в словаре Карловича тексты будут даваться по первоисточникам, без ссылки на Карловича (естественно, в случае их доступности). Особое положение с материалами, извлеченными Карловичем из многочисленных рукописных словарей или определенные им как «устные». В этих случаях словарь Карловича явится единственным свидетельством, и отсылка к соответствующей его странице будет документацией данного слова.

Материалы после 1895 г., не охватываемые словарем Карловича, в картотеке словаря будут представлены полностью. В настоящее время собрания лексикографического типа уже расписаны полностью; тексты и грамматические исследования (приводящие лексический материал и значения) используются выборочно. Не выписываются слова, общие диалектам и литературному языку, хотя это может привести к пропуску отдельных значений. Некоторой гарантией против этого должны послужить многочисленные словари, собранные в самых различных частях Польши и охватывающие весь запас лексики данной деревни. Кроме того, в ближайшие годы, до систематического редактирования нашего словаря мы намереваемся с целью контроля проверить заново все словарные статьи путем своего рода вопросника в пунктах, равномерно рассеянных по всей польской диалектной территории (до 20 пунктов), что одновременно пополнит наш словник. Таким образом можно будет выявить географические границы распространения слов и значений и избежать пропуска отдельных слов (лексем), который мог бы произойти из-за кажущегося формально-семантического подобия с литературным языком. Независимо от этого, у нас имеется полностью расписанный и включенный в картотеку материал текстов, помещенных во втором издании «Хрестоматии диалектных текстов» К. Нича[10]. Для XX в., кроме печатных материалов, имеются и богатейшие рукописные данные. Различные диалектологические коллективы выразили готовность представить для использования при редактировании словаря свои картотеки, собранные в результате полевых исследований. Таким образом, новый словарь польских говоров будет располагать всеми богатыми и ценными материалами.

Слова, извлеченные из всех известных записей и собраний диалектной лексики, рассматриваются и с точки зрения семантической и формальной. Это потребует критической переоценки отдельных примеров и отсылок. Возможно, придется отказаться от некоторых записей, особенно более ранних, если для данного слова с тем же значением, идентичной формой и той же территорией распространения имеются более точные, хотя и более поздние данные; в этом случае предпочтение будет отдано сведениям более поздним. Обе хронологически отдаленные записи с одной и той же территории будут даваться тогда, когда они отражают фонетические или семантические различия; при этом информация более старая снабжается соответствующими пометами.

4. С вопросами хронологии связаны вопросы географии словаря. Основные трудности возникают здесь в связи с лексикой польских говоров с территории современной Украины и Белоруссии (соответственно Литвы), которую широко отразил в своем словаре Карлович. Новый словарь, как бы вбирая в себя запасы словаря Карловича, возьмет также и эту лексику. Конечно, по мере возможности слова явно непольские не будут включены, чего не удалось избежать Карловичу. Прежде всего это относится к словам редким, подчас лишь однократно засвидетельствованным, с явной непольской огласовкой, например *hostec*. Видимо, от многих из таких слов лучше отказаться, особенно если они не подтверждаются ма-

[10] K. Nitsch, Wybór tekstów gwarowych, Warszawa, 1960.

териалом современных восточных говоров. Без сомнения, будут опущены также непольские слова, взятые из художественной литературы XIX в. или из каких-либо стилизованных текстов[11]. Напротив, слова непольского происхождения, принадлежащие словарному запасу польских говоров как XIX, так и XX вв., будут взяты на учет и локализованы согласно источникам. Важным критерием при этом явится в меру имеющихся данных включаемая в словарь лексика польских говоров восточного происхождения, расположенных на западных территориях современной Польши — говоров репатриантов с востока. Будут учтены и материалы более ранних источников, их локализация будет приводиться по состоянию до 1945 г. (возможно и раньше); для лексики западных земель дается сегодняшнее положение (в скобках отмечается первоначальная исходная деревня на востоке). Все источники такого типа будут снабжены в списке источников необходимыми комментариями.

Лексика польских говоров вне пределов компактной языковой территории, например из районов Буковины, Боснии или отдельных деревень в Словакии, войдет в словарь с соответствующей локализацией, равно как и лексика польских говоров на территории Чехословакии, составляющих продолжение польской языковой территории, но отделенных от нее только государственной границей (имеется в виду лексика силезских, чадецких, оравских и списских говоров). Такое решение едва ли требует подробных пояснений и обоснований; в словаре не будет по этому поводу каких-либо замечаний, не будет даже комментариев в списке источников.

Остается вопрос о кашубской и словинской лексике. Карлович в значительной степени учел эту лексику в своем словаре, правда довольно непоследовательно, что особенно проявляется при использовании материалов словаря С. Рамулта [12]. Эта традиция говорит в пользу включения данной лексики в словарь. Однако мы ограничимся использованием известных печатных источников. Специальной экспедиции для сбора материала на данной территории ввиду недостатка научных кадров мы организовать не сможем. Для кашубщины целесообразно было бы создать особый региональный словарь (помимо словаря Ф. Лорентца).

Наконец, из словаря исключается лексика польской эмиграции, в частности во Франции и США, что связано с отсутствием соответствующих исследований и собраний, а также с трудностями установления географической отнесенности. Кроме того, как это следует из работы В. Дорошевского [13], лексика польской эмиграции в конечном итоге не добавляет ничего нового к уже известным фактам.

Таким образом, географические рамки нового словаря польских говоров будут широкими, он охватит всю доступную ныне лексику польских говоров, выходя во многих случаях за пределы политических границ ПНР. При этом необходимо помнить, что лексика языковых островов, расположенных вне компактного языкового пространства в окружении чуждых некогда этнически, а ныне и политически территорий, имеет лишь историческое значение, и включение ее в словарь находится в тесной связи с его хронологической концепцией (XIX и XX вв.).

5. Дифференциальный принцип нового словаря понимается нами очень широко. Новый диалектный словарь будет отражать не только лексические различия, но будет содержать также слова, отличающиеся от общих

---

[11] Ср. M. Łesiów, W sprawie słownictwa kresowego, «Język polski», XXXVII, 2, 1957.

[12] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków, 1893. Из этой работы Карлович использовал слова только до буквы *R*.

[13] W. Doroszewski, Język polski w Stanach Zjednoczonych A. P., Warszawa, 1938.

с литературным языком слов своим значением (даже одно, неизвестное литературному языку, значение обусловливает включение данного слова в словарь) или формой в самом широком понимании этих терминов. При таком подходе в диалектном словаре окажутся не только такие слова, как *jątrznica* «гречневая колбаса», *świaczyna* «полдник», *jużyna*—то же, *palica* «палка, трость», *chwost* «хвост», отсутствующие в литературном языке, но также *stolica* «скамья», *krzesło* // *krzasło* «1) табурет, 2) прясло; звено, в заборе», *broda* «1) острие топора, 2) обрядовый сноп», *buczeć* «гнить, тлеть», а также *brzoda* // *broda*, *cień f.* // *cień m.*, *rozmajty* // *rozmanity* // *rozmaitny* // *rozmaity*, *okręgły* // *okrągły*, *obręczka* // *obrączka*. Так понимаемый принцип отбора лексики создает возможности собрать очень богатые коллекции слов и обеспечить полноту охвата отличного от литературного языка материала. Так, слово *woda* «вода» бытует и в литературном языке и во всех диалектах, но только в некоторых южных говорах выступает со вторичным значением «наводнение, половодье, паводок», что дает основание включить его в словарь.

Формальный критерий связан с фонетическим и грамматическим своеобразием диалектной лексики. Учитываются лишь различия собственно лексического порядка; особенности, в которых проявляется фонетическая и грамматическая система данного диалекта, не принимаются во внимание; ср. мазурение, произношение носовых гласных, переход *ch* → *k*, подхалянский архаизм, севернопольское произношение *y* и т. п. Особенности такого типа могут быть решающими при включении слов в словарь только тогда, когда какая-либо реализация не находит себе объяснения в системе данного говора; например, в словарь войдут формы слов типа *niesopust* «карнавал», *mieso* «мясо» из южной Малопольши, так как на этой территории *ń* обычно не переходит в *ń*, а также отсутствует систематическое исчезновение ринезма. Подобные различия носят лексикализованный характер. Подобным же образом будут расцениваться и некоторые исторические явления, имеющие теперь ограниченное распространение и выступающие только в закрытом ряде слов; их также можно рассматривать как факты лексикализованные; ср. *mietła*, *wietrak*, *powiedać*, *biedro* или же *redzić*, *redło*, *rek*, *jerzmo*, *jegoda*, *jek*. При документации этих отличающихся от литературного языка форм будет дано указание на области распространения форм, сходных с литературными, иначе может создаться ложное впечатление, будто эти формы вообще не выступают в диалектах [14].

Словообразовательные различия также дают основания включить данное слово в словарь. В отдельные словарные статьи выделяются параллельные образования типа *złoty* // *złotny*, *cały* // *całki*, *okopować* // *okopywać*, *wymachować* // *wymachiwać*. Отчасти будут показаны и словоизменительные различия, однако они не явятся основанием для введения слова в словарь. Лишь как исключения и, вероятно, во вторую очередь будут учитываться параллельные формы типа *pada* // *padze*; *głąb*, *głąbia* // *głąb*, *głąba*; *gnój*, *gnoja* // *gnoju*. Так же решаются и синтаксические различия: они отмечаются лишь тогда, когда слово уже окажется в словаре по каким-либо другим основаниям. В этом случае фиксируются различия в синтаксических связях слова, например, *pytać czegoś* // *pytać o coś* // *pytać za czym*; *rozumieć kogo* // *rozumieć komu*; *rupieć kogo* // *rupieć komu*. Сказанное не касается синтаксических функций предлогов и союзов (ср. *na wody* «за водой», *jak* «когда»), так как последние войдут в новый словарь.

---

[14] См. B. Reczkowa, Zakres informacji gramatycznych w słowniku gwarowym, «Sprawozdania...», IV, 2, 1961.

Фразеологический материал представляет интерес в том отношении, что слова, идентичные по форме и значениям литературным, могут выступать в иных фразеологических конструкциях (ср. *makiem siać* «замолчать»). Таким образом, фразеологические связи слова выступают в качестве одного из критериев отбора слов. Аналогичным образом расцениваются различные конструкции с переносным значением, хотя относительно их трудно быть последовательным, в частности по той причине, что во многих случаях это могут быть окказиональные употребления и образования, а вопросы диалектной стилистики перерастают задачи диалектного словаря. В словаре окажутся в качестве особых подразделов отдельных значений фразеологические сочетания (поскольку они были обнаружены), например, *druga broda* «подбородок» или же *tyś je dobry na cesarskiej sześć buczeć* «ты не пригоден ни к чему, не годишься ни на что»[15].

Следующий вопрос касается слов, общих и по формальным, и по семантическим признакам с литературными, но не являющихся общими для всей польской языковой территории, ограниченных в своем географическом распространении. Это слова типа *rogacz* «самец серны», которое выступает по диалектам только в части Малопольши соотносительно с *sar*, *sarnik*, *sarek*, *sarniak*, известными в других областях, *gonty* // *sędzioły* // *szyndle*, *piasta*// *piazda*//*głowa*//*łeb*, *maślniczka*//*kierzenka*. Это слова, имеющие в диалектах географически локализованные соответствия (синонимы). Примеров такого рода можно было бы привести очень много — достаточно обратиться к современным исследованиям по лингвистической географии. Географическая ограниченность известна и в отношении семантики слова; например, *strzecha* в литературном языке и части говоров означает «соломенная крыша», а в южной Малопольше — «навес крыши»; слово *gościniec* («1) дорога, 2) корчма, постоялый двор, 3) подарок») также географически локализовано. Все слова такого типа должны быть в диалектном словаре[16], так как они входят в оппозицию «диалекты: литературный язык», а также в междиалектные оппозиции, важные для изучения происхождения литературного языка и его словарного состава и для исследования взаимодействия отдельных диалектов. В словарь войдет вся терминологическая лексика, связанная с материальной и духовной культурой народа, например, *stodoła* «овин», *stajnia* «конюшня», *chlew* «свинарник», названия частей плуга, воза, народная терминология врачевания, астрономия, терминология религиозных культов и верований, хотя многие из этих слов принадлежат и литературному языку. Включение этой лексики в диалектный словарь имеет свои основания хотя бы потому, что она составляет главный пласт народного словарного запаса, игнорировать который было бы совсем нерационально.

Звукоподражательные слова, междометия, припевки (например, *buch*, *bach*, *hola*, *chy*, *tralala* и т. п.) включаются в словарь по традиции — они представлены в словаре Карловича, в словарях литературного польского языка. Однако не это соображение оказывается решающим. Самое главное здесь, пожалуй, то, что лексика такого типа выполняет существенную функцию выражения, а именно служит орудием экспрессии и импрессии. Кроме того, эта лексика очень специфична, нередко географически дифференцирована. Можно сослаться и на некоторые выгоды для этимологии.

Диалектный словарь не сможет охватить специальную, связанную с специальной узкой средой лексику, например, воровских, ученических,

[15] См. H. Augustynowicz-Ciecierska, Problemy frazeologiczne w słowniku gwarowym, «Sprawozdania...», IV, 2.

[16] См. L. Trześniowska, Sposoby określania znaczeń w słowniku gwarowym, «Sprawozdania...», IV, 2.

охотничьих жаргонов, так как лексика эта лишь в незначительной степени обязана своим происхождением диалектам (правда, нельзя полностью пренебрегать фактом воздействия диалектной среды, хотя это воздействие носит обычно вторичный характер). Лексика этого типа по своему происхождению и развитию связана прежде всего с литературным польским языком и скорее должна найти себе место в словарях общенародного языка (с соответствующими пометами). К тому же собирать в настоящее время специальную лексику очень трудно. Имеющиеся собрания стоило бы собрать воедино и издать их отдельным словарем — они имеют немалое значение для истории лексики общенародного языка. Предлагаемое решение отличается от позиции Карловича, который включил специальную лексику в свой словарь, правда непоследовательно и неполно.

Диалектный словарь не включит ни личных имен или территориальных названий, ни производных от них (названия жителей, имена прилагательные); исключение могут составить лишь немногие функционирующие в качестве нарицательных имен, а также входящие составной частью в устойчивые фразеологические обороты (ср. *elegant z Mosiny*, *fujara z Mościsk*). Так же следовало бы поступить с кличками животных типа *brzezula*, *białek*, *kornuta*, *pistrula*. Но так как не всегда можно определить, являются ли эти слова единичными именами или просто названиями признака, т. е. нарицательными словами (ср. *białek* «белая собака»), то меньшим риском будет включение этих слов в диалектный словарь.

Наоборот, придется отказаться от детской лексики, так как в этой области нет достаточного материала, а кроме того, установить, в какой степени эту лексику можно причислить к диалектной, почти невозможно. Однако поскольку некоторые из детских слов рассматривались в диалектологических работах и сборниках, было бы полезно ввести их в словарь, хотя непоследовательность такого решения очевидна.

Таким образом, принципы отбора слов в новый словарь довольно разнообразны. В целом принимается дифференциальный характер словаря; количество опущенных слов будет сравнительно невелико. Новый словарь впитает в себя богатейшие лексические собрания и явится исчерпывающей базой для изучения и исследования польской народной лексики.

6. Затронутые здесь проблемы лишь частично отражают трудности и сомнения, возникающие при создании диалектного словаря, однако они являются главными; в зависимости от разрешения этих проблем устанавливается самый тип диалектного словаря. Польский диалектный словарь можно рассматривать, с одной стороны, как дополнение к словарю литературного языка, а с другой — как сумму отдельных диалектных лексических систем, противопоставленных друг другу на географической плоскости и составляющих взаимные лексические и семантические оппозиции, которые либо не связаны с литературным языком, либо входят в него через один из членов данной диалектной оппозиции. Польский словарь вскроет элементы собственно диалектные и слова, общие с литературным языком, имеющие территориальную ограниченность, оставляя в стороне лексику собственно литературную, даже в случае очевидного проникновения ее в диалекты. Дифференциальность словаря имеет весьма широкие рамки, в связи с чем он будет в значительной мере самостоятельным и не зависимым от словаря литературного языка [17].

Перевела с польского *Т. С. Тихомирова*

[17] В настоящей статье не затрагивались собственно редакционные вопросы. В 1964 г. намечено выпустить пробную тетрадь польского диалектного словаря, которая будет содержать подробное изложение редакционных принципов и приемов и их иллюстрации на примере отдельных словарных статей.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

И. А. ДЗЕНДЗЕЛЕВСКИЙ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАРТ

1. Хронология ареалов (по терминологии Ж. Жильерона) и изоглосс может определяться на основании фиксации картографируемого явления письменными памятниками, сведений о времени появления реалии, название которой картографируется (лексические карты), сведений о миграциях, в ходе которых данное явление или слово было занесено извне. При отсутствии же таких исторических сведений хронологические отношения между представленными на карте противопоставлениями могут с относительной точностью определяться на основании их территориального размещения. Географическая проекция языкового явления в ряде случаев может указывать на его хронологию.

Различается ряд типов ландшафтов или, по терминологии М. Бартоли, норм ареалов [1]. Окраинные говоры обыкновенно в меньшей мере подвергаются влияниям со стороны других диалектов и литературного языка. Общеязыковые инновации нередко доходят сюда со значительным запозданием, что способствует сохранению архаических черт. Поэтому явления боковых или латеральных, маргинальных ареалов (если это не поздние наслоения соседних языков) обычно старше явлений центрального ареала (М. Бартоли, В. Пизани). Тезис этот обобщается на основании большого количества фактов, засвидетельствованных существующими атласами [2]. Так, например, в закарпатских говорах, в частности в группах говоров более древних формаций (ужанской, боржавской и особенно мараморошской), сохраняется большое количество традиционных лексических элементов для тех понятий, которые в литературном украинском языке и в большинстве украинских говоров выражаются более поздними образованиями. Ср. *де*ᵛ*ре*ᵛ*вúшче* [3] «гроб», общеукраинская инновация приблизительно XVI в. *труна* в Закарпатье встречается только в говорах крайних западных районов и ряде верховинских говоров, т. е. в тех говорах, которые подвергались значительным влияниям со стороны соседних бойковских и лемковских говоров (ЛА, № 33); *свáд'ба*, *свáл'ба* «свадьба», инновация XV в. *ве*ᵛ*с'íл'á* известна только в Гуцульщине (ЛА, № 31); *ис'кáти*, *с'кáти* «искать», инновация XIV в. *шукáти* распространена только на Раховщине (ЛА, № 251) и т. д.[4]. Много подобных фактов засвидетельствовано в покутско-буковинских говорах украинского язы-

[1] Для данной статьи, в частности, использованы: «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», М., 1957 (далее АР); Й. О. Дзендзелівський, Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР (Лексика), 1—2, Ужгород, 1958—1960 (далее ЛА); «Mały atlas gwar polskich», I—IV, Wrocław — Kraków, 1957—1961 (далее MAGP); M. Małecki i K. Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków, 1934; Z. Stieber, Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, I—VI, Łódź, 1956—1962, и некоторые другие.

[2] Встречаются, правда, и отклонения от этой типичной ситуации.

[3] Здесь и далее транскрипция источников сохраняется.

[4] Подробнее см. Й. О. Дзендзелівський, Традиційні лексичні елементи у говорах Закарпатської області, «Доповіді та повідомлення [Ужгородськ. держ. ун-ту], Серія філологічна, 5, 1960

ка[5], псковских[6], новгородских и других архаических говорах русского языка и т. п. Можно привести немало подобных примеров из области фонетики и грамматики; ср., например, сохранение различия древних *ы* и *и* в большинстве украинских карпатских говоров [7] и в чешских шумавских говорах (что вообще более показательно, чем сохранение этой древней черты в чешских ляшских говорах, расположенных на границе с польским языком); сохранение сочетаний *гы*, *кы*, *хы* в восточной части закарпатских и большинстве лемковских говоров [8]; употребление старой формы твор. падежа мн. числа существительных бывших *-о* основ в ряде закарпатских говоров: *брють чотирма́ вóлы* [9] и т. д.

Хронологическое различие между соотносительными явлениями центральных и латеральных ареалов может быть довольно значительным, в ряде случаев оно даже выходит за пределы так называемого исторического периода. Можно привести ряд примеров сохранения в окраинных украинских говорах таких явлений, которые на основной части языковой территории современного украинского языка были заменены инновациями еще в X и XI—XII вв.; ср. закарпатск. *пйаст'* «кулак» (ЛА, № 38); в восточнославянских языках *кула́к* — инновация X—XI в.; *чёл'ад'* «семья» (ЛА, № 149), в этом значении *чёлядь* употреблялось еще до эпохи «Русской правды» и начальной древнерусской государственности и т. д. Подобные примеры позволяют сделать вывод о важности для исторической диалектологии изучения окраинных говоров группы генетически родственных языков. На основе таких исследований (при параллельном привлечении данных памятников письменности, ономастики, этнографии и т. д.) со значительною степенью вероятности можно реконструировать ландшафты языковых явлений довольно отдаленных эпох, очевидно, и дофеодального периода.

2. Окраинные говоры обычно показывают значительное количество заимствований из соседних языков, говоры же центральных районов меньше подвергаются иноязычным влияниям. Явления большего ареала обычно старше явлений меньшего ареала (М. Бартоли, В. Пизани). Показательны в этом отношении общеязыковые атласы. Много убедительных иллюстраций локализации германизмов и чехизмов дает, например, малый польский атлас, а также — в отношении локализации германизмов, словакизмов, полонизмов, чехизмов, венгеризмов, румынизмов, украинизмов, белорусизмов и т. п.— региональные атласы польского Подкарпатья (М. Малецкого и К. Нича), польско-ляшской пограничной полосы говоров на территории Польши (К. Дейны), Лемковщины (З. Штибера), Закарпатья (И. А. Дзендзелевского) и атласы-словари отдельных лексических слоев говоров Вармии и Мазур (Я. Сятковского, Я. Симони-Сулковской, Г. Городыской, Б. Моцарской-Фалинской и др.).

3. Если сравнительно небольшой ареал явления *А* представляет собой остров в более широком ареале явления *Б* (и особенно если в районе этого острова явление *А* сосуществует с явлением *Б*), то это обычно указывает на более позднее внешнее (инодиалектное, иноязычное) наслоение и на то, что раньше в районе этого острова бытовало явление *Б*. Случаи такого наслоения ареалов хронологически разных явлений вообще довольно ча-

---

[5] См. В. А. Прокопенко, Архаїзми у складі лексики буковинських говірок, «Питання історичного розвитку української мови», Харьков, 1962.

[6] См. О. С. Мжельская, Лексика древней псковской письменности в современных псковских говорах, сб. «Слово в народных говорах русского севера», Л., 1962.

[7] См. Ф. Т. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ, 1955, стр. 133.

[8] См. І. Панькевич, Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей, Praha, 1938, стр. 152 и далее и карта № 3.

[9] Там же, стр. 194.

сты. Расшифровка соответствующих карт дает важные сведения о разных колонизационных движениях, переселении инодиалектных групп и т. п. Несколько примеров из Закарпатского атласа. Форма *л'он* (<*льнъ*) в Закарпатье употребляется в боржавских говорах (междуречье Латорица-Рика), на остальной территории бытует более древняя форма *лен* (ЛА, № 74), которая употребляется повсеместно и в смежных с Закарпатьем говорах, в частности гуцульских, лемковских, бойковских и т. д. Ареал *л'он* представляет остров в более широком ареале *лен* и является результатом влияния северо-восточных говоров. Подобные острова с такими же или близкими к *л'он* координатами образуют *батýг* «кнут», *здр'áчка* «зеница», *вы́зýр* «окно» (ЛА, № 22), *сні́тий* «головня» (ЛА, № 201), *ко^{у} цібáн* «кочерга» (ЛА, № 27), *мáтка*, *мáтиц'а* «свиноматка» и др. Сопоставление этих данных с данными других украинских диалектов при привлечении соответствующих исторических сведений дало возможность связывать возникновение боржавских островов с влиянием на закарпатские говоры говоров подолян и волынян, которые пришли на Закарпатье в конце XIV в.

MAGP для грядки в телеге (№ 36) почти на всей территории Польши фиксирует давний общий для поляков, белоруссов и украинцев термин *drabiny*, *drabie*, *drabki*, а в части оравских, спишских и подгальских говорах — *lêtry*. Остров или полуостров *lêtry*, очевидно, связан с известной довольно значительной немецкой колонизацией этого района.

Подобные ландшафты не всегда адстратного происхождения. Так, почти на всей территории Польши для обозначения плуга употребляется давнее название *plug*, в говорах северо-западного Мазовша наряду с *pług* отмечено *ameryk*, а в юго-восточной части варминских и северо-западной части мазурских говоров — *amerykan* (№ 10). Последние два слова представляют собой позднее образование на собственной почве.

4. Ландшафт островков на фоне монолитного ареала доминирующего явления обыкновенно представляют или остатки более давнего состояния (ранее употребляемое на этой территории явление было снято современным доминирующим эквивалентом), или более поздние наслоения. В первом случае островки располагаются без какой-либо зависимости и последовательности; во втором случае они территориально концентрируются, указывая на район или районы инодиалектных или иноязычных поселений (и нередко от района этой концентрации отходит цепочка таких же островков, которая как бы указывает путь движения переселенцев). Наглядным примером ландшафта островков первого типа может быть карта № 185 (названия постройки для хранения зерна) в АР. На преобладающей части исследуемой в этом атласе территории давние славянские названия *житница*, *клеть* утрачены, их вытеснил сравнительно недавний тюркизм *анбар*, который теперь выступает как общераспространенное, доминирующее название. Древнее *клеть* спорадически фиксируется в разных частях закартографированной территории, *житница* — в говорах на северо-восток от Москвы и в районе Горького. Если снять более позднее наслоение *анбар*, то можно предполагать, что на этой территории для обозначения указанного понятия существовало два названия — в северной части *житница*, а в южной — *клеть*; граница между ареалами этих названий, возможно, проходила где-то по линии Горький — Владимир — Москва.

Интересно отметить, что и в польских говорах для этого помещения общеупотребительным теперь является сравнительно поздний германизм *s'pichrz*, *s'pichlerz* и др., а более давние названия *żytnica*, *sypanie*, *sypaniec* фиксируются только на окраинах: *żytnica* — в северо-западной части кашубских говоров, *sypanie* — в юго-западных силезских, *sypaniec* в

подгальских и спишских говорах (MAGP, № 63). Имеются, однако, сведения, что *żytnica* еще не так давно было господствующим названием в говорах западной части Польши, в частности в Силезии[10]. Варшавский словарь отмечает *żytnica* как уже малоупотребительное слово. В силезских и западной части великопольских говоров как общеупотребительное (со сплошным ареалом) название для обода колеса воза отмечается германизм *rafa*, *refa*, *ref* (MAGP, № 22), а бытовавшее здесь раньше название *obręcz* (в преобладающей части польских говоров это название и теперь общеупотребительно) выступает уже как спорадическое, угасающее. Для крыши на всей территории Польши (MAGP, № 3) фиксируется *dach*, *dek*, *dak* (<нем. *Decke*; германизм *dach* польские памятники отмечают с XV в.[11]); в келецких говорах наряду с *dach* свидетельствуется уже как спорадическое значительно более старшее *wierzch*, а в говорах Краковщины *chyż*, которое также, вероятно, старше *dach*, и т. д.

Для ландшафта островков второго типа также имеется большое количество иллюстраций. Ср., например, АР № 227, где показано распространение слов *волк* и *бирюк*. Тюркизм *бирюк*, *бурюк* в значении «волк» свидетельствуется в разных местах картографированной территории, но все же чаще на юго-востоке, т. е. в том направлении, откуда в основном осуществлялось тюркское влияние на русские говоры.

5. Факультативные местные названия, возникшие в результате метафорического употребления, эвфемизации, табу и пр., обыкновенно являются более поздними сравнительно с обыкновенным названием на широком ареале. Такими являются, например, два первых названия для волка в гуцульских говорах в ряду: *флуд*, *скамéнник*, *вовк* (ЛА, № 10), которые возникли путем накладывания табу. Ср. также возникшие в результате метафорического употребления *ши^{i}рíнка*, *ши^{e}рúнка*, *кестемáн*, *кестемéн*, *монисто* «подгрудок крупного рогатого скота» наряду с общими ареальными *підгóрлина*, *підгóрлиц'а*, *пудгôрл'а* и т. п.

6. Стык ареалов двух названий одного предмета сравнительно редко образует четкую границу; чаще всего эти ареалы в какой-то части совмещаются, образуя зону абсолютных синонимов, один из которых вскоре видоизменяет (расширяет, сужает, смещает) свою семантику. Отличия в семантике слова в районе стыка ареалов по сравнению с его семантикой за пределами этого района чаще всего представляют собой более позднее явление. Так, в говорах западных и восточных районов Закарпатья для обозначения перстня употребляется давнее название *пéрст'ен'*, *пúрсти^{e}н*, а в говорах центральных районов — название *жукóвина*, *жовкóвина* (также древнее). В районе стыка бытует и *пúрсти^{e}н'* и *жукóвина*; последнее употребляется преимущественно для обозначения дешевого перстня из красной меди, а первое — дорогого золотого перстня (ЛА, № 60). Абсолютные синонимы в районе стыка ареалов нередко приобретают стилистические различия. Семантической или стилистической дифференциации подвергаются также и абсолютные синонимы, образованные вследствие восприятия говором иностранного названия. Так, в говорах Раховщины наряду с древним славянским *крóсна* стал употребляться германизм *варстáт* (очевидно, начиная с XVIII — начала XIX в.). Первое используется для обозначения более простой конструкции ткацкого стана (без челнока и т. п.), второе означает «ткацкий стан более современной модели» (ЛА, № 104)

7. Вопрос о природе размещения изоглосс, их направлениях и группировке весьма сложен. Старое наблюдение, что изоглоссы часто прохо-

[10] См. комментарии ко второму тому MAGP, стр. 51.

[11] F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, I, Kraków, 1951—1956, стр. 136.

дят вблизи прежних административных и других границ, естественных рубежей (рек, горных хребтов и пр.), вообще правильно и подтверждается большим количеством иллюстраций. Все же административно-политические границы, а тем более естественные рубежи не имели решающего значения при размещении изоглосс и диалектных групп. Материал атласов показывает, что естественные рубежи, в частности большие реки, в этой связи почти не сыграли какой-либо роли. Так, например, в АР можно было бы указать лишь на карту № 168, на которой северная граница названия лошади с суффиксом *-ан стриган* на протяжении от Горького до Чебоксар совпадает с течением Волги. В MAGP только на карте № 56 юго-западная граница *zajdy*, *zajdki* «задние сани» в основном совпадает с течением Вислы на протяжении от Пулавы до Влоцлавска. В работе В. С. Ващенко «З історії та географії діалектных слів» (Харьков, 1962) из 99 слов лишь пять бытуют только на Левобережье (*прасу́нок*, *ри́чка*, *хаве́ря*, *гёга*, *трепето́*), причем юго-западная граница распространения ни для одного из них не совпадает с Днепром. Такую же картину дают и другие атласы[12]. В Закарпатье целый ряд изоглосс в основном совпадает со средним течением р. Латорица, а ряд изоглосс — с нижним и средним течением р. Рика. Однако в связи с рассмотренными выше фактами, очевидно, следует предполагать, что в размещении этих изоглосс главную роль сыграли какие-то другие обстоятельства, а не естественные границы.

8. Если два массива говоров в каком-то районе разграничивает густой, компактный и довольно узкий пучок изоглосс, это обычно указывает на то, что одна из этих групп говоров сложилась в этой местности сравнительно недавно (200—300 лет), вследствие дозаселения или переселения какого-то в диалектном отношении однородного населения. Убедительной иллюстрацией этого могут быть сводные карты №№ 1, 11, 12, 13 ЛА (пучок изоглосс разделяет гуцульские и мараморошские говоры). Как известно, раньше в южной части современной Раховщины были распространены укающие говоры[13], однотипные с соседней Тячевщиной и с соседними украинскими селами на территории Румынии. В XVI—XVIII вв. часть гуцулов с северных склонов Карпат (в основном из бывших Надвирнянского и Коломыйского уездов) переселилась на южные склоны, заселив верховье Тиссы. При этом гуцульские говоры вошли в более тесный контакт с закарпатскими (мараморошскими), в результате чего граница между этими массивами говоров стала более контрастной.

9. Лингвистические карты районов сравнительно недавних (200—300 лет тому назад) дозаселений или заселений выходцами из разных диалектных традиций, как правило, фиксируют массовое факультативное функционирование грамматических, фонетических и лексических синонимов, т. е. представляют довольно значительную диалектную пестроту; ср. хотя бы наличие в говорах крайних западных районов Закарпатья, сложившихся в значительной мере за счет усвоения лемковских соответствий в связи с переселением сюда значительных групп лемковского населения после войн конца XVII — начала XVIII в., широкой лексической синонимии и наибольшей диалектной пестроты (по сравнению с говорами других районов). В говорах южных районов Украины, в частности, например, в нижнеподнестровских[14], придунайских и т. п.[15], исследователями

[12] Ср., напр., П. Бузук, Спроба лінгвістычнае географіі Беларусі, I, Менск, 1928.

[13] См. І. Панькевич, Нарис історії закарпатських говорів, «Acta universitatis Carolinae», 1958, Philologica 1, стр. 91—92.

[14] См. И. А. Дзендзелевский, Украинские говоры нижнего Поднестровья, Автореф. канд. диссерт., Одесса, 1952.

[15] См. А. М. Мукан, Украинские придунайские говоры. Автореф. канд. диссерт., Киев, 1961; см. также В. П. Дроздовский, Украинские говоры бессарабского Приморья, Автореф. канд. диссерт., Киев, 1962.

отмечается значительное количество параллельных морфологических форм, что связано со сравнительно поздним (в основном с начала XIX в.) заселением и дозаселением их выходцами из разных областей Украины (Подолья, Волыни, Полтавщины, Черниговщины и т. д.). В связи со сказанным можно предполагать значительное своеобразие определенной части карт южного тома украинского атласа.

10. Большинство лексических карт показывает обычно более многочисленные противопоставления, чем фонетические и грамматические карты. По основным противопоставлениям фонетических и грамматических карт, как правило, выделяются большие массивы говоров. Более детальная классификация, выделение в границах наречия меньших диалектных групп и подгрупп может обыкновенно осуществляться на основании менее важных, второстепенных фонетических и грамматических противопоставлений, а также в большей степени на основании лексических данных. Последнее, конечно, не означает, что для вычленения больших диалектных массивов лексика не может иметь существенного значения. Наоборот, лексические противопоставления здесь должны учитываться как можно полнее, в отдельных случаях они могут сыграть весьма важную роль; ср., например, в этом отношении значительные отличия в области словаря хотя бы между севернорусским и южнорусским наречиями или между юго-западным и юго-восточным украинскими наречиями.

11. Многочленность противопоставлений на лексической карте определяется спецификой лексической системы. Пестрота лексической карты (по сравнению с фонетической и грамматической) связана со следующими особенностями лексического материала: 1) лексика наиболее чувствительна к изменениям в общественной жизни; 2) лексика наиболее проницаема для иноязычных воздействий. Особенно показательны в этом отношении говоры периферийных районов на стыках с другими языками, районы билингвизма и т. п. (ср. материал атласов М. Малецкого и К. Нича, К. Дейны, З. Штибера и атласа Советского Закарпатья); 3) лексический материал представляет широкую семантическую специализацию, связанную с наличием этнографических разновидностей предметов; ср., например, *сокы́ра*, *сока́ра*, *сыкы́ра*, *то^{у}пі́р*, *то^{у}пї́р*, *фа́йса*, *ба́лта* «топор» и названия отдельных видов топора: *планка́ч* «топор с широким лезвием для тески», *фараґі́в* «вид топора для тески», *ко́л'энка* «тяжелый топор — колун», *кра́йнерка* «топор для обрубания сучьев»; *флишка́ч* «вид топора для рубки деревьев» и т. п. (ЛА, № 16); 4) прозрачность внутренней формы слова часто допускает значительную вариантность словообразования, а в отдельных случаях замену названием совершенно другой этимологии. Явление это довольно распространенное. Ср., например, название ручки цепа в русских говорах (АР, № 203); для польск. *odkładnia*, *odkładnica*, *odkład*, *odkłada*, *obkładnia*, *obkładnica*, *obkład*, *obkładka*, *okładnia*, *podkładnia*, *przekładnia* «полица плуга» (MAGP, № 14) есть основания предполагать замену более давнего *deska* (первоначально в деревянных плугах эта деталь имела вид обыкновенной доски), которое еще и теперь широко известно в подгальских, сирадских, кашубских и некоторых других польских говорах; 5) в связи с субституцией непривычных для носителей данного говора звуков и звукосочетаний в составе иностранных заимствований могут появляться фонетические и словообразовательные варианты; ср., например, употребляемые в Закарпатье названия аиста: *ґо́вл'а*, *ґо́вр'а*, *ґо́вн'а*, *ґо́вйа*, *ґо́вйа́*, *ґо́йа*, *ґова́*, *ґова́н'а* (ЛА, № 128); 6) незначительная роль реалии в производственной практике и быте часто обусловливает появление значительного количества разных названий и их вариантов; ср. довольно последовательную однородность в украин-

ских говорах названий более важных частей ткацкого стана, мельницы и т. п. и значительный разнобой названий более мелких деталей этих же приспособлений [16]; 7) в ряде случаев сравнительно недавнее усвоение реалии, и особенно из разных источников, ведет к значительной пестроте соответствующих названий. Ср., например, укр. *картопля*, *картофля*, *бандурка*, *бараболя*, *барболя*, *бульба*, *буля*, *бундз*, *бурка*, *гарбузи*, *гардибурка*, *грушка*, *ґайда*, *ґалґан*, *ґалух*, *ґараґоля*, *ґордох*, *ґордзоля*, *ґруля*, *земльовий біб*, *землянка*, *земняк*, *зимяк*, *зімак*, *каракуля*, *карпеля*, *карчоха*, *компір*, *конферя*, *кромпель*, *кумпітери*, *мандибурка*, *pina*, *тромпак* и мн. др. [17]; болг. *картофи*, *барабой*, *влашки боп*, *грутки*, *гулийа*, *диваци*, *калчово*, *комба*, *комбари*, *компир*, *корави*, *кромбале*, *кустан'ъ*, *мацуне*, *патати*, *шарабойки* [18]; словац. *zemiaky*, *bandory*, *bandorky*, *bandury*, *bobále*, *brambory*, *bumbury*, *butky*, *erteple*, *grule*, *grumbír*, *grumble*, *chrompl'e*, *kompere*, *krompachy*, *krompaky*, *krompari*, *krompele*, *kruple*, *repa*, *švábky*, *zemáky*, *zemky* и т. д. [19]; 8) возможность метафорического употребления слова; 9) экспрессивность; ср., например, названия для избы с разными экспрессивными (положительными и отрицательными) семантическими оттенками в закарпатских говорах (см. ЛА комментарий к карте № 15), а также названия для набитой шишки на лбу в этих же говорах — их отмечено свыше 70; 10) эвфимизация; 11) табуирование.

12. Двучленные противопоставления обычно отражают более давние отношения, чем трехчленные и многочленные. Изоглоссы двучленного противопоставления, как правило, бывают самыми старшими. Ср., например, рефлексацию **ort*, **olt* и **tort*, **tolt*, **tert*, **telt* или **dl*, **tl* и **tj*, **dj* и т. д.

Ареалы и изоглоссы на карте с многочленным противопоставлением чаще всего хронологически и качественно различны. Прием последовательного снимания более поздних слоев позволяет довести анализируемую карту до исходного (двучленного или нулевого) противопоставления (под нулевым противопоставлением следует понимать отсутствие противопоставления, т. е. распространение на всей исследуемой территории одного явления). Применение этого приема, обеспечивающего диахроническое изучение диалектов, может затрудняться неясностью этимологии картографируемых явлений, их хронологии, условий появления и распространения, отсутствием письменных свидетельств и т. п. При чтении или дешифровке лингвогеографической карты наиболее легко снимаются ареалы поздних иноязычных наслоений; значительно сложнее выявить инодиалектные наслоения. Особую же сложность для дешифровки составляют карты, на которых представлены хронологически разнородные

---

[16] См.: В. Гнатюк, Ткацтво у східній Галичині, сб. «Материяли до українсько-руської етнології», III, Львів, 1900; В. Шухевич Гуцульщина, ч. II, Львів, 1901, стр. 254 и далее; Б. Грінченко, Словарь української мови, I, Київ, 1907, стр. 137—138; Й. О. Дзендзелівський, Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР, ч. I, карты №№ 104—108, ч. II, карты №№ 237—247; І. Панькевич, Водяні млини на Підкарпатській Русі. «Підкарпатська Русь», XI, Ужгород, 1934; Й. О. Дзендзелівський, Млинарська лексика українських говірок Закарпатської області, «Діалектологічний бюлетень», VIII, Київ, 1961, и др.

[17] М. Мельник, Українська номенклятура висших ростин, Львів, 1922, стр. 266—267; ЛА, № 73.

[18] С. Стойков, Българска диалектология, София, 1962, стр. 162—166 и карта № 5.

[19] V. Vážný, Príspevki k slovenskému dialektickému slovníku, «Sborník matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu historiu», II, 2 [Sv. Martin], 1924, стр. 74—77.

явления, возникновение которых не может быть объяснено инодиалектными или иноязычными воздействиями.

На карте № 33 ЛА представлено пять ареалов основных названий для гроба: *домови́на* (Раховщина), *де^и^ре^и^ви́шче*, *де́ре^и^во* (говоры центральной части), *тру́на* (верховинские говоры и крайние западные районы), *ла́да* (западные говоры), *копе^и^ршів*, *ко^у^по^у^ршу́в*, *по^у^ко^у^ршу́в* и т. п. (говоры района Мукачева, Свалявы, Рахова). В ряде мест эти ареалы перекрываются. Самыми молодыми из названных ареалов являются *ла́да* и *копе^и^ршів*, *ко^у^по^у^ршу́в* и др. Последнее, очевидно, совсем недавний венгеризм, ср. венг. *koporsó* «гроб». *Ла́да* — словакизм, ср. широко употребляемое в восточнословацких говорах *lada* «гроб» [20]. Распространение его в Закарпатье, очевидно, следует связывать с волной словацкой колонизации в XIX в., а также с влиянием соседних лемковских говоров. Территория распространения и позднее появление позволяют предположить, что *ла́да* «гроб» сравнительно недавно сменило ранее бытовавшее в этом районе название *тру́на* [21]. Последнее в свою очередь — общеукраинская инновация примерно XVI в. (*тру́на*, *тру́мна* широко фиксируется украинскими памятниками со второй половины XVI в.), заимствованная из польск. *trumna*, *truna* и др., восходящего к нем. *Truhe*. В Закарпатье *тру́на* имеет два отдельных ареала — один в верховинских, другой в крайних западных говорах. В верховинские говоры, которые сложились под значительным влиянием соседних бойковских, эта инновация сравнительно недавно пришла с севера, от бойков, на что указывает ее спорадическое (наряду с доминирующим давним *де^и^ре^и^ви́шче*, *де́ре^и^во*) употребление. Что касается западного ареала *тру́на*, то тут положение несколько сложнее. Учитывая географический ландшафт западного Закарпатья, исторические данные и др., можно считать, что название *тру́на* здесь распространялось с северо-запада, что оно прошло (где-то в XVIII — начале XIX в.) район Ужоцкого перевала, спустилось по Ужанской долине и через некоторое время проникло в говоры западнее Мукачева, очевидно, вытеснив бытовавшее здесь раньше *де^и^ре^и^ви́шче*. И хотя сейчас в говорах северо-западнее Ужгорода, юго-западнее В. Березного и западнее Перечина *тру́на* неизвестно (здесь распространено *ла́да*), однако раньше здесь оно, очевидно, употреблялось, ибо в противном случае трудно было бы объяснить распространение его в части говоров центральной Ужгородщины. Таким образом, в говорах района Перечина, В. Березного *ла́да* для описываемого предмета уже третье название. Следовательно, карта с пятичленным противопоставлением после снятия ареалов трех названий, являющихся результатом более поздних наслоений, показывает наиболее древнюю изоглоссу *де^и^ре^и^ви́шче* — *домови́на*.

---

[20] См. S. Czambel, Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov, I, Sv. Martin, 1906, стр. 544; M. Kálal, Slovenský slovník z literatúry aj nárečí, Banská Bystrica, 1924, стр. 294; Fr. Buffa, Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese, Bratislava, 1953, стр. 170.

[21] Слово *ла́да* широко известно и в остальных говорах Закарпатья, но со значением «ящик», «сундук», «шкаф»; с такой семантикой *ла́да* употребляется и во многих других украинских диалектах, а также в польских, словацких, венгерских говорах. В западноукраинских *ла́да*, очевидно, из польск. *lada*, что (как и словац. *láda*, венг. *láda*) из нем. *Lade* «сундук», «ящик». В закарпатские говоры это слово, кроме словацкого, польского, лемковско-бойковского посредничества, могло заходить еще через венгерское посредничество, а также непосредственно от немцев-колонистов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Л. Н. ИОРДАНСКАЯ

О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ПРАВИЛЬНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

(На материале русского языка)

Под синтаксической структурой некоторой фразы понимается совокупность сведений о связях между словами и между простыми предложениями этой фразы [1]. Считается, что исследователь всегда может отличить правильную структуру от неправильной, основываясь на своем интуитивном представлении о правильности синтаксической структуры. Это интуитивное представление можно формализовать. В данной работе сделана попытка формально определить правильную синтаксическую структуру, указав те свойства, которые отличают интуитивно правильные структуры от неправильных. При этом мы упростили задачу, оценивая правильность структуры только с точки зрения синтаксиса, но не семантики: правильной считалась структура, которую приписал бы заданной фразе человек, знающий данный язык, но не понимающий значений слов этой фразы (такая ситуация имеет место при восприятии неспециалистом специального текста).

Первая наша задача — установить общие свойства правильной синтаксической структуры безотносительно к какому-то определенному языку, вторая — выяснить некоторые конкретные свойства правильной структуры русского языка. При выполнении этих задач мы ограничились письменным языком научно-делового жанра, для которого характерен наиболее упорядоченный синтаксис. Кроме того, из рассмотрения были исключены фразы с эллипсисом сказуемого.

Найденные свойства сформулированы применительно к предложенному И. А. Мельчуком способу представления синтаксической структуры при помощи определенного набора бинарных отношений — «отношений непосредственной доминации» (ОНД) [2]. Элементами, которые могут быть связаны этими отношениями, являются слова и предложения. Из двух связанных посредством ОНД элементов один является главным, а другой — зависимым. Относительно устройства синтаксической структуры приняты следующие соглашения:

1. Слово может зависеть только от одного слова, предложение — только либо от одного предложения, либо от одного предложения и одного слова из этого предложения.

2. В каждом предложении и в каждой фразе должна быть вершина, т. е. такой независимый элемент (слово — в предложении, предложение — во фразе), от которого непосредственно или опосредствованно зависят все прочие элементы, если они есть: все прочие слова — для предложения, все прочие предложения — для фразы. (В структуре $A\ B\ C\ D\ E$ вершиной является элемент B: от него непосредственно зависят элементы A и C и опосредствованно — E и D). Отсюда следует, что во фразе все слова, кроме вершинного слова, и все предложения, кроме вершинного предложения, обязательно должны зависеть от какого-то элемента.

3. Ни один элемент не может зависеть — непосредственно или опосредствованно — от самого себя (например, невозможно: $A\ B\ C$).

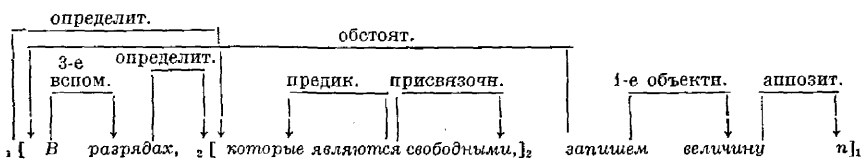
---

[1] Термин «фраза» употребляется здесь в смысле «отрезок текста между двумя „точечными" знаками (точка, восклицательный и вопросительный знаки)». Фраза может состоять из одного или нескольких простых предложений.

[2] И. А. Мельчук, Об алгоритме синтаксического анализа языковых текстов (Общие принципы и некоторые итоги), «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 7, 1962. В дальнейшем при наименовании соответствующих отношений используется терминология, принятая в указанной работе.

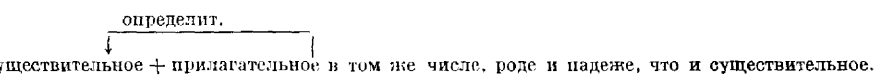
4. Среди ОНД выделяется предикативное, к которому предъявляется особое требование: предикативное отношение может связывать только такие элементы, главный из которых является вершиной.

Для синтаксической структуры, представленной указанным образом, возможно следующее графическое изображение. Слова, образующие одно предложение, заключаются в квадратные скобки. В случае, если одно предложение стоит внутри другого, скобки нумеруются: например: $_1$[*В разрядах*, $_2$[*которые являются свободными*,]$_2$ *запишем величину n*]$_1$. Связь между двумя словами изображается стрелкой, соединяющей эти слова; связь между двумя предложениями — стрелкой, которая соединяет скобки, открывающие эти предложения; связь между предложением и словом — стрелкой, которая идет от слова к скобке, открывающей предложение. Стрелка всегда направлена от главного элемента к зависимому. Над стрелкой указан тип ОНД, связывающего соединяемые ею элементы. Например, синтаксическая структура только что названной фразы изображается так:



Прежде чем перечислить свойства правильной синтаксической структуры, поясним некоторые используемые ниже термины.

Синтагма понимается как типовое сочетание двух элементов, для которого указано, какой элемент — главный, какой — зависимый и какое ОНД их связывает. Пример синтагмы:



Элементом с активной валентностью называется слово, предсказывающее наличие зависящего от него слова в определенной форме. Например, прилагательное в краткой форме предсказывает наличие имени в им. падеже; глагол *хотеть* предсказывает наличие инфинитива и т. д. Если предсказываемый зависимый найден во фразе, можно сказать, что элемент с активной валентностью насыщен. Если в данной структуре все элементы с активной валентностью либо насыщены, либо удовлетворяют условиям, при которых этим элементам разрешается быть ненасыщенными, эта структура называется насыщенной.

Правильная синтаксическая структура некоторой фразы обычно обладает следующими свойствами:

1. Она удовлетворяет принятым заранее соглашениям относительно представления структуры.

2. Каждая пара связанных элементов фразы соответствует какой-то синтагме из списка синтагм данного языка.

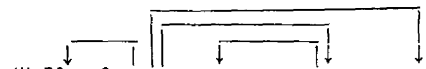
3. Между парами связанных элементов существуют характерные для данного языка отношения, заданные особым списком.

4. Имеется определенное правилами пунктуации данного языка соответствие между парами связанных элементов и знаками препинания и союзами.

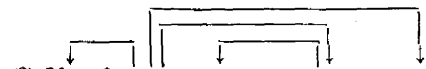
5. Либо данная структура является насыщенной, либо для данной фразы невозможно предложить ни одной такой насыщенной структуры, которая обладала бы первыми четырьмя свойствами.

Данные свойства (за исключением первого, связанного с необходимостью представлять структуру определенным образом) выведены эмпирически, в результате наблюдения ряда правильных и неправильных структур. Процесс исследования, при котором были установлены второе, третье и четвертое свойства, можно представить в идеализированном виде следующим образом. Подбираем две фразы с таким минимальным различием (например, в форме или в месте одного элемента), что если одной из них приписать правильную структуру, то для другой эта структура окажется неправильной. Так как фразы отличаются только одним признаком, правильность структуры в одном случае и неправильность ее в другом можно объяснить только влиянием этого признака. Тогда правильная структура должна обладать свойством, учитывающим этот признак. Приведем соответствующие примеры.

Второе свойство соответствует тому известному факту, что связанность некоторых двух элементов фразы определяется формами этих элементов. Список синтагм, которому, в соответствии со вторым свойством, удовлетворяет правильная структура, как раз учитывает зависимость между формами двух элементов и возможностью для них быть связанными в определенном направлении определенным отношением. Ср. (1) и (2):



(1) *Здесь даются нужным ученикам упражнения.*

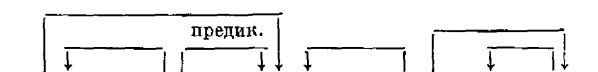


(2) *Здесь даются нужные ученикам упражнения*[3].

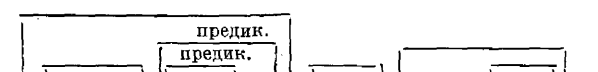
Одна и та же структура правильна для (1) и неправильна для (2). (1) и (2) различаются только формой прилагательного *нужный*. Очевидно, что правильность структуры существенно зависит от формы элементов.

Третье свойство означает, что связанность некоторых двух элементов фразы определяется не только их формами, но и контекстом: а) наличием/отсутствием во фразе элементов определенного типа и б) порядком элементов.

а) Влияние наличия или отсутствия определенных элементов на синтаксическую структуру видно из следующего примера:



(1) [*Заранее известно,*] [*где находятся эти породы*].



(2) [*Заранее известно место,*] [*где находятся эти породы.*]

Одна и та же[4] структура правильна для (1) и неправильна для (2), где придаточное должно зависеть от *место*, а не от *известно*. (1) и (2) различаются только наличием/отсутствием словоформы *место*, которое, следовательно, и влияет на правильность/неправильность данной структуры.

б) Влияние порядка элементов на структуру иллюстрируется следующим примером:

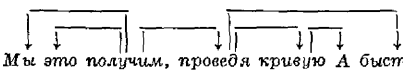
(1) *Читатели статьи любят этого публициста.*

(2) *Читатели любят статьи этого публициста.*

(1) и (2) отличаются только местом словоформы *статьи*, и это влечет за собой правильность данной структуры для (1) и ее неправильность для (2).

Оказалось, что влияние контекста на связанность некоторых двух элементов можно свести к закономерностям в отношениях пар связанных элементов между собою (об этих отношениях для русского языка см. ниже).

Четвертое свойство означает, что во фразе не должно быть «избытка» или «недостатка» — с точки зрения приписанной ей структуры — в знаках препинания или союзах. Ср. (1) и (2):

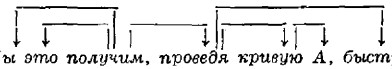


(1) *Мы это получим, проведя кривую А быстро.*

---

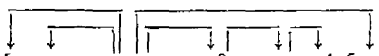
[3] Для полноты структуры следовало бы над каждой стрелкой указывать тип отношения. Однако там, где это несущественно для наших целей, типы отношений не даются.

[4] Одна и та же — с точностью до стрелок между словами, которые являются общими для обеих фраз; поскольку в (2) введено новое слово, появляется и новая стрелка.



(2) *Мы это получим, проведя кривую А, быстро.*

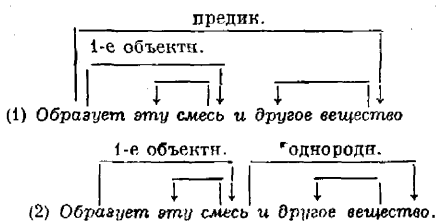
(1) и (2) отличаются только наличием/отсутствием одной запятой, что является существенным для синтаксической структуры: одна и та же структура правильна для (1) и неправильна для (2). В (2) структура неправильна потому, что она не объясняет запятую между *А* и *быстро*, которая, таким образом, оказывается лишней. Если бы фразе (1) была поставлена в соответствие следующая структура:



Мы это получим, проведя кривую А быстро.,

оказалось бы, что во фразе недостает одной запятой (закрывающей группу деепричастия — *проведя кривую А*).

Пятое свойство выведено из сравнения разных структур, приписанных одной и той же фразе. Оказалось, что ненасыщенная структура принимается как правильная, только если для данной фразы невозможна такая интерпретация, при которой все элементы с активной валентностью насыщены или их ненасыщенность строго обусловлена. Если же данной фразе можно приписать разные в отношении насыщенности структуры, то читающий или слушающий предпочитает обычно ту, при которой все элементы с активной валентностью насыщены или их ненасыщенность является разрешенной (см. об этом ниже). В следующем примере структура (1) насыщена, а в (2) есть глагол 3-го лица ед. числа без подлежащего.



(1) *Образует эту смесь и другое вещество*

(2) *Образует эту смесь и другое вещество.*

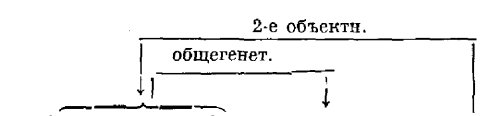
Или:

(1) *Его подготовка не удовлетворяет.*

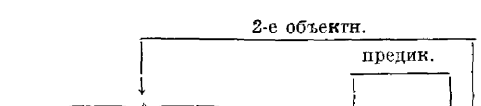
(2) *Его подготовка не удовлетворяет.*

Здесь в (2) переходный глагол остается без дополнения; предпочитается (1).

В определенных условиях ненасыщенность элемента с активной валентностью не приводит к тому, что при возможности приписать данной фразе другую — насыщенную — структуру эта последняя явно предпочитается. Ср. пример, где в (1) не хватает подлежащего, а (2) представляет собою насыщенную структуру:



(1) [*О таких утверждениях математики говорят,*] [*что они недоказуемы.*]



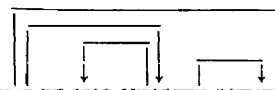
(2) [*О таких утверждениях математики говорят,*] [*что они недоказуемы.*]

В этих условиях ненасыщенность элемента с активной валентностью должна быть разрешена (в нашем примере допустимо отсутствие подлежащего при сказуемом, вы-

раженном глаголом 3-го лица мн. числа), и содержащая этот элемент структура должна считаться насыщенной (если она не содержит других ненасыщенных элементов).

Таким образом, правильная синтаксическая структура некоторой фразы определяется формой всех элементов фразы (свойство 2), наличием/отсутствием элементов определенного типа (свойства 3 и 5), порядком элементов (свойство 3), пунктуацией данной фразы (свойство 4) и принятым способом представления структуры (свойство 1).

Выделенные пять свойств правильной структуры являются независимыми друг от друга — в том смысле, что для каждого из них можно найти неправильную структуру, удовлетворяющую всем свойствам, кроме рассматриваемого. Для первого свойства см. пример:



..., дает ли этот алгоритм решения.

(не выполнено соглашение 1).

Для остальных свойств см. приведенные выше фразы (2); например, в (2) для второго свойства структура удовлетворяет всем свойствам, кроме второго: словосочетание *нужные ученикам* со стрелкой, идущей от существительного к прилагательному, не подходит ни под одну русскую синтагму. Независимость данных свойств означает, что если мы исключим любое из них, сохранив остальные, то для ряда случаев [например, в структурах (2)], мы не будем иметь формального критерия отличения правильных структур от неправильных.

Указанные свойства могут быть положены в основу формального определения правильной синтаксической структуры: синтаксическая структура некоторой фразы называется правильной, если она обладает всеми названными свойствами. При этом свойства правильной структуры некоторого языка можно считать описанными, если составлены следующие пять списков: 1) список соглашений относительно представления синтаксической структуры, 2) список синтагм, 3) список отношений между парами связанных элементов, 4) список правил пунктуации, 5) список условий разрешенной ненасыщенности.

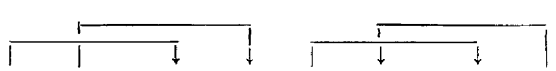
Встает вопрос о том, насколько хорошо данное определение соответствует интуитивному представлению человека о правильных/неправильных структурах, т. е. о том, как часто при помощи выделенных пяти условий можно отличать правильные — с точки зрения человеческой интуиции — структуры от неправильных. Для решения этого вопроса требуется значительная экспериментальная проверка, которая в соответствующем объеме проведена не была.

Теперь перейдем к свойствам правильной синтаксической структуры русского языка. Для полного описания ее свойств следовало бы — при имеющемся списке соглашений о представлении структуры, который в отличие от всех прочих свойст, по-видимому, не зависит от конкретного языка,— составить еще четыре указанных выше списка. Мы ограничились лишь исследованием отношений между парами связанных элементов в русском языке. Приводимый ниже список этих отношений следует рассматривать как предварительное описание некоторых синтаксических особенностей русского языка.

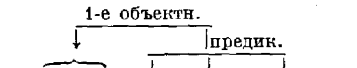
Все найденные отношения между парами связанных элементов можно сформулировать как отношения между двумя парами. Среди этих отношений нет избыточных, т. е. полностью, во всех случаях, предсказываемых — логически или фактически — другими отношениями. Неизбыточность каждого отношения показана на примере неправильных структур, удовлетворяющих всем отношениям (и всем другим требованиям к правильной структуре), кроме рассматриваемого. В большинстве примеров неправильных структур обозначены стрелками и названы лишь те типы связей (т. е. типы ОНД), которые существенны для иллюстрации рассматриваемого отношения (при этом предполагается, что все остальные стрелки расставлены правильно). Для сокращения формулировок будем называть пару связанных элементов просто «связью». По своему логическому характеру перечисленные ниже отношения между двумя связями делятся на два типа: одна связь предсказывает отсутствие другой (несовместимость двух связей) и одна связь предсказывает наличие другой (неотделимость одной связи от другой, см. пункт б) на стр. 111).

1. Несовместимы такие две связи, что между элементами первой расположен один и не расположен другой элемент второй связи.

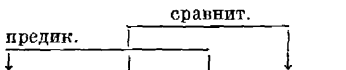
Эту запрещенную ситуацию можно назвать пересечением стрелок:



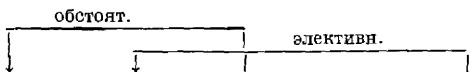
Однако иногда пересечение стрелок допустимо даже в письменном языке научно-делового жанра (в других жанрах, например, в поэтическом, допустимых пересечений будет больше), а именно: 1) в случае, когда обе стрелки связывают слова одного и того же предложения и одна из стрелок соответствует или объектному, или сравнительному, или элективному отношению, и 2) в случае, когда одна из стрелок связывает слова некоторого предложения, а другая связывает это предложение с предложением, зависящим от него.



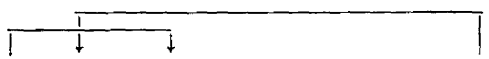
1) *О докладе дала отзыв комиссия;*



Это более понятная книга, чем та;

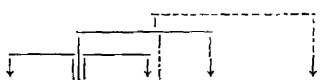


Почему из многих этим занимаются только некоторые?



2) $_1$[*Результаты,* $_2$[*которые изложены выше,*]$_2$ *получены недавно.*]$_1$

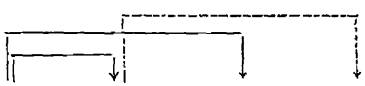
Ниже даны примеры неправильных структур с недопустимым пересечением или стрелок между словами, или стрелок между предложениями, или стрелок разных уровней (неправильные стрелки проведены пунктиром).



1) *Легко дает решения метод Лагранжа.*

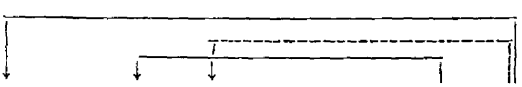
2) *Мы воспроизведем опыт, который дал новые результаты, если будут благоприятные условия, так как для проведения опыта требуется сложная аппаратура.*

Структура сложного предложения (предложения указаны по начальным словам):



[*Мы...*] [*который...*] [*если...*] [*так как...*]

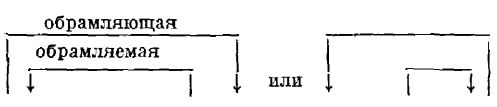
3) *Если этот тезис, поскольку он противоречит принятым представлениям, встретит возражения, доказательство придется повторить снова.*



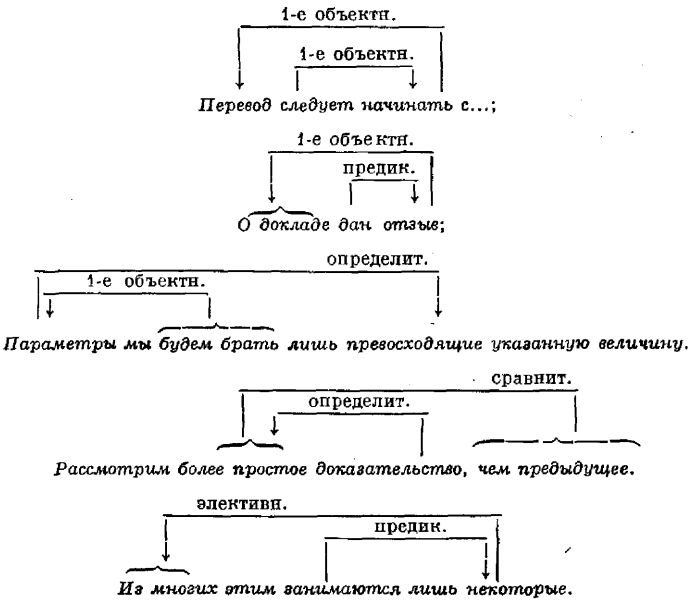
$_1$[*Если этот тезис,* $_2$[*поскольку...*]$_2$ *встретит...*]$_1$ $_3$[*доказательство...*]$_3$

2. Несовместимы две связи с одним общим элементом, который является главным элементом одной связи (обрамляющей) и зависимым элементом другой (обрамляемой), а именно такие, что главный из трех элементов расположен между своими непосредственным и опосредствованным зависимыми.

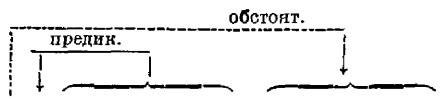
Назовем описанную запрещенную ситуацию обрамлением стрелок:



Обрамление допустимо в случае, если стрелки связывают слова и либо одна из стрелок соответствует объектному отношению, либо обрамляющая стрелка соответствует сравнительному или элективному отношению[5]. Ср.:

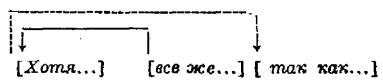


Примеры неправильных структур с недопустимым обрамлением стрелок:



1) *Новые вычисления будут рассмотрены по заданной программе.*

2) *Хотя ожидаемого эффекта мы не добились, все же можно рассчитывать на успех, так как обстановка сильно переменилась.*



Пересечение и обрамление стрелок можно рассматривать как два независимых признака, характеризующих порядок слов в том или ином языке. Так, эти два признака теоретически дают возможность различить в отношении порядка слов четыре типа языков: языки, где недопустимо пересечение, но разрешено обрамление; языки, где недопустимо обрамление, но разрешено пересечение; языки, где недопустимо ни пересечение, ни обрамление; языки, где допустимо и то и другое.

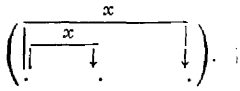
Названные два запрещения непосредственно связаны со «стрелочным» изображением синтаксической структуры. Для правильных синтаксических структур, представленных в виде дерева, исследователями по автоматической обработке текста отмечено так называемое свойство проективности, означающее следующее: перпендикуляры, опущенные из углов дерева, не пересекают его ветвей (см. рис. 1).

Оказалось, что свойство проективности, с одной стороны, и свойства непересечения и необрамления, с другой, точно соответствуют друг другу: если представить структуру с обрамлением или с пересечением в виде дерева, обязательно получится непроективная структура, и, наоборот, любая непроективная структура при стрелоч-

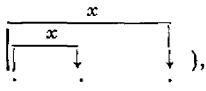
[5] Указанные случаи допустимого пересечения и обрамления стрелок представляют собой приблизительную схему, которая должна быть уточнена при дальнейшем наблюдении над текстами.

ном представлении будет структурой с пересечением или обрамлением [6] (это проверено для всех возможных схем из 4 элементов, а к таким схемам сводятся все остальные случаи). *Примеры см. рис. 2.*

3. Несовместимы две одинаковые по типу ОНД связи с одним и тем же главным элементом:

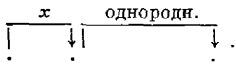


Данное ограничение верно при том условии, что однородность каких-то элементов показывается не стрелками с одинаковым номером, идущим от одного главного (не так:



),

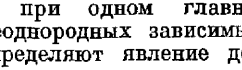
а стрелкой, соединяющей сами однородные элементы:



Исключение из данного ограничения составляет обстоятельственная связь: при одном главном может быть несколько обстоятельств, которые в принятой системе ОНД не различаются, хотя, возможно, пользуясь критерием совместимости, их следовало бы различать.

Рис. 1

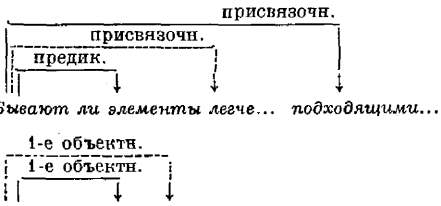
Это ограничение соответствует следующему связанному с логической стороной языка факту. Если при одном главном имеется несколько неоднородных зависимых, то эти зависимые определяют явление действительности, выраженное главным, с разных сторон. Другими словами, соподчинимы, вообще говоря, только неравнозначные зависимые (исключая однородные); равнозначные же зависимые несоподчинимы [7]. Ср. формы *чем* и *на что*, равнозначные при глаголе *заменять* (*заменять элементом*



B = *заменять на элемент B*), несоподчинимы: не бывает *заменять чем на что*.

Примеры неправильных структур с соподчиненными равнозначными зависимыми:

1) *Бывают ли элементы легче трех грамм, вопреки распространенному мнению, подходящими для наших целей?*



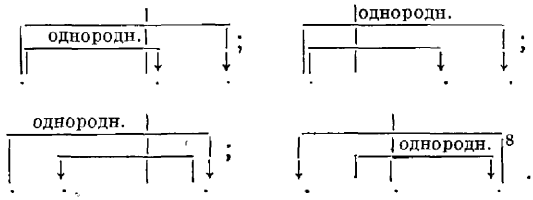
(2) [*Следует указать статью,*] [*где содержатся использованные сведения.*]

[6] О свойстве проективности или свойстве непересечения и об использовании этих свойств в алгоритмах анализа см.: Ф. А. Дрейзин, Об одном способе синтаксического анализа простого предложения, «Научн. труды [Ташкентск. гос. ун-та]», Нов. серия, 208, Математика, 1962; О. С. Кулагина, Об использовании машин при составлении алгоритмов анализа текста, сб. «Проблемы кибернетики», 7, М., 1962; С. Я. Фитиалов, О моделировании синтаксиса в структурной лингвистике, М., 1962; Г. С. Цейтин, Л. Н. Засорина, О выделении конфигураций в русском предложении, «Доклады на конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста», 2 [4], М., 1961; Hays D. G., Basic principles and technical variations in sentence structure determination, Santa Monica, The RAND corporation (Mathematics division. P —1984), 1960; L. Hirschberg, I. Lynch, Discussions sur l'hypothèse de projectivité («Rapport CETIS», 35), [б. м.], 1961; Y. Lecerf, Programme des conflits, modèle des conflits, «La traduction automatique», I, 4, 5, 1960.

[7] Л. Н. Иорданская, Два оператора обработки словосочетаний с «сильным управлением» (для автоматического синтаксического анализа), М., 1961.

4. Несовместимы однородная связь и связь, имеющая в качестве главного элемента любой из элементов этой однородной связи, если зависимый элемент второй связи отделен от главного запятой или союзом, служащими границей между однородными членами.

Схемы (вертикаль означает границу между однородными):



Это ограничение означает следующее: все зависимые одного из однородных членов должны быть по ту же сторону от границы между однородными, что и этот однородный член.

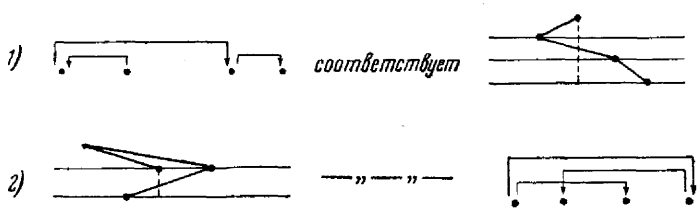
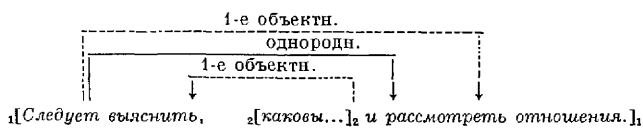


Рис. 2

Примеры неправильных структур, не удовлетворяющих данному ограничению:
1) *Вычислим сумму, затем проверим решение, если это уравнение указанного типа*

2) *Следует выяснить, каковы свойства этого вещества, и рассмотреть, кроме того, их отношения.*



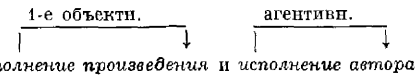
5. Перечисленные ограничения к сочетаемости пар связанных элементов не используют свойств самих элементов (для них неважна ни морфологическая форма слов, ни характер союза в предложении и пр.); поэтому их можно было показать схемами — последовательностями стрелок, совершенно не отражающих каких-либо особенностей элементов. Однако имеются и такие ограничения, для которых свойства элементов существенны. Эти ограничения удобно представить как правила сочетаемости синтагм данного языка. Не имея окончательного списка русских синтагм, мы не могли составить такие правила. Поэтому ограничимся лишь указанием некоторых возможных типов зависимостей между двумя синтагмами и приведем соответствующие примеры.

Список синтагм представляет собой перечень синтаксических отношений и возможных способов их выражения в данном языке. Одна синтагма — это некоторый способ выражения некоторого отношения.

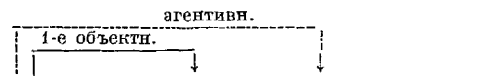
а) При одном и том же главном элементе несовместимы некоторые способы выражения определенных синтаксических отношений, совместимых при других способах выра-

[8] В последней схеме имеет место и обрамление.

жения. Так, первое объектное отношение, выраженное родительным падежом существительного и существительным, образованным от переходного глагола, и агентивное отношение, выраженное совершенно так же, несовместимы при одном главном элементе. Например, несовместимы

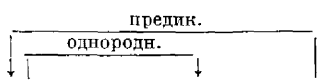


(см. неправильную структуру:

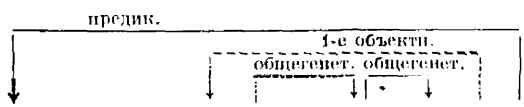


хотя вообще данные отношения совместимы: *исполнение произведения автором*. Или: при некоторых сильноуправляющих словах разные объектные отношения совместимы не при всех способах выражения[9].

б) Некоторые способы выражения определенных синтаксических отношений возможны лишь при вхождении одного элемента в другое определенное отношение. Так, предикативная или определительная связи — такие, что их главный элемент стоит во множественном числе, а зависимый — в единственном,— возможны лишь при условии, если их зависимый элемент одновременно является главным элементом однородной связи. Примеры:

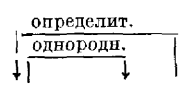


Первый оператор и второй оператор определяют (см. неправильную структуру:



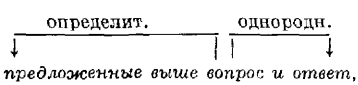
Первый оператор и второй оператор величины сдвигов определяют только при заданном условии.

и интерпретируется здесь как усилительная частица);

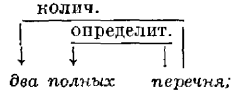


первое и второе свойства.

Или: такая определительная связь, что главный элемент стоит в единственном числе, а зависимый — во множественном, возможна лишь, если при том же главном есть однородная или количественная связь: ср.



предложенные выше вопрос и ответ,



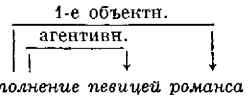
два полных перечня;

агентивная связь, выраженная твор. падежом существительного и отглагольным суще-

---

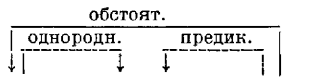
[9] Список несоподчинимых сильноуправляемых форм, связанных с одним и тем же главным элементом разными объектными отношениями, содержится в указ. соч. Л. Н. Иорданской.

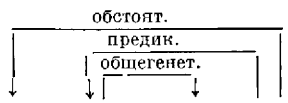
ствительным, возможна лишь, если при отглагольном существительном имеется объектная связь:



(*исполнение певицей* отдельно не бывает).

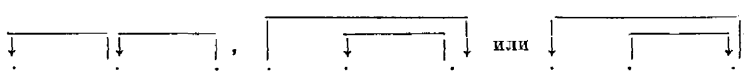
в) Специфический случай связан с однородным отношением: однородное отношение между элементами, различающимися наборами синтагм, в которых они могут участвовать, несовместимо с таким отношением между одним из однородных членов и некоторым другим элементом, что второй однородный не может участвовать в синтагмах с таким отношением. Например, словоформы *годы* и *люди*, которые в определенном контексте могут рассматриваться как однородные (ср. название мемуаров «Годы и люди»), различаются своими синтагматическими возможностями: *годы* может участвовать в обстоятельственной синтагме в качестве зависимого элемента, а *люди* — нет. Структура, где *годы* является обстоятельством и одновременно связано однородным отношением с *люди*, неправильна: ср. *Из-за недостатков методики все эти годы и другие люди страны не могли найти решение задачи*;





(правильная структура: ... *годы ... люди страны не могли...*).

В заключение укажем еще на одно отношение между связями, которое, хотя и является следствием синтагматических правил, представляет, на наш взгляд, самостоятельный интерес: несовместимы такие две связи между предложениями, что зависимый элемент одной связи является главным элементом второй связи, зависимый элемент которой расположен влево от главного:



(недопустимость указанных схем можно учесть уже в списке синтагм русского языка, где не должно быть синтагм, в которых от предложения с показателем его зависимого характера зависит другое предложение, стоящее влево от него).

*

Формальное определение правильной синтаксической структуры какого-то языка может быть использовано при создании алгоритмов анализа для этого языка. Целью алгоритма синтаксического анализа является нахождение для заданной фразы правильной синтаксической структуры. Возможен такой алгоритм синтаксического анализа, который, не учитывая никаких языковых ограничений, строит все формально возможные структуры, а затем при помощи определения правильной структуры отбирает из этих структур только правильные[10].

---

[10] Идея такого алгоритма изложена в работах И. Лесерфа (см. указ. соч.), а также Ф. А. Дрейзина (указ. соч.). Автор выражает свою искреннюю признательность Ф. А. Дрейзину, О. С. Кулагиной и Б. Ю. Пильчак за их ценные замечания и советы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

А. БЛОК

ЗНАЧЕНИЕ ВУКА КАРАДЖИЧА В СЕРБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

Деятельность Вука Стефановича Караджича (род. в с. Т/е/ршиче Ядринского уезда около города Лозницы в 1787 г., ум. в Вене в 1864 г.) зачалась в тяжелый для Сербии период: страна только что начинала самоопределяться, освобождаясь от турецкого владычества и обороняясь от притязаний римско-католической церкви. Первая задача была, по преимуществу, политического и внешне-культурного характера; вторая — поднимала вопрос о православии и народности, о сохранении национальной и религиозной независимости.

Вук Караджич выступил на свое поприще в эпоху турецких притеснений (его родное село было разграблено) и восстания Георгия Черного. Деятельность его была первоначально сосредоточена на реформе языка, позже он остановился на вопросах истории и этнографии своего племени.

В 1813 году статья Вука Караджича о падении Сербии обратила на себя внимание известного деятеля славянского Возрождения Копитара. С этих пор и начинается их совместная деятельность, результатами которой были выпуски «Песнарицы» (в 1814 г.), «Писменица» (1814 г.), «Српски рјечник» (1818 г.).

Основная реформа Караджича коснулась языка. В первой же, выпущенной по настоянию Копитара, грамматике ставится вопрос о введении *ј*, об излишности *ъ*, о введении *ѣ*, *ѣ*, *ђ* и о разделении наречий по произношению буквы *ѣ*; южное (Герцеговинское) —*ије* (в долгих слогах) и *је* (в коротких), восточное (Срамское) — *е* и западное (Ресавское) — *и*. Сам Караджич вначале принял для литературного языка южное наречие, хотя и писал некоторые сочинения на восточном. Позднейшая литература пользуется восточным наречием. В дальнейших сочинениях по грамматике и орфографии Караджич утвердил все свои изменения и прибавил еще следующие:

---

* В фонде Петербургского университета, хранящемся в Государственном историческом архиве Ленинградской области (фонд 14, опись 3, дело 35242), находятся рукописи А. Блока, относящиеся ко времени окончания им Петербургского университета. Среди них прошение А. Блока (1 марта 1906 г.) председателю историко-филологической испытательной комиссии при Петербургском университете о допущении его к испытаниям по славянско-русскому отделению, «Автобиографический очерк», зачетное сочинение «Значение Вука Караджича в сербской литературе», а также фотографическая карточка на металлической пластинке, покрытой лаком. Кроме того, имеется справка деканата историко-филологического факультета от 25 ноября 1905 г. для представления в Испытательную комиссию со сведениями о том, что Блок имеет восемь зачетных семестров и что им представлено сочинение для зачета шести семестров на тему «Болотов и Новиков».

Как известно, А. Блок поступил в Университет на юридический факультет, но в 1901 г. он с третьего курса перешел на историко-филологический факультет, который окончил в 1906 г. Занимаясь в Университете главным образом историей русской литературы и русского языка, Блок изучал и сербскую литературу. Об этом говорит его зачетное сочинение «Значение Вука Караджича в сербской литературе», которое удостоилось высокой оценки проф. П. А. Лаврова. На первом листе этого сочинения им была поставлена отметка: «Весьма удовлетворительно». Сочинение это не было опубликовано, хотя оно представляет несомненный интерес для изучения творчества А. Блока.

Ниже публикуется сочинение А. Блока о Вуке Караджиче, столетие со дня смерти которого будет отмечаться в 1964 г

И. Ф. Ковалев

исключил из азбуки *і*, *й*, *щ* (усл. *шт*, серб. *ћ* — *пошћ* — *ноћ*), *ы* (везде пишется *и*), *э*, *я*, *ю*, *е*, *ѵ* — нашел замену для *ь* (*в*, *а*), сохранил только слоговое *ъ* (в сочетании с *р*: *гръоце*) и укрепил употребление *ћ* и *ц* (последняя буква заимствована из румынского алфавита и употребляется в иностранных словах). Проф. Кулаковский считает коренной реформой, главным образом, разделение наречий по произношению *ћ*, а остальное — только заслугой систематизации. Но и последнее важно для установления единства сербского литературного языка, потому что каждый писатель писал, как хотел («по правилам бабы Смиляны», замечает Кенгельц), а сколько-нибудь выработанных мнений кроме того существовало три: 1) Одни хотели, сохранив «словено-сербский» язык, усовершенствовать народный. 2) Другие прямо называли народный язык «говедарским и свиняреким» и настаивали на сохранении одного только русско-церк[овно]-слав[янского] языка. 3) Третьи (как Мушицкий в одах) требовали двух литературных языков. Всех серьезнее было первое мнение, оно опиралось на национальный вопрос. Противники Караджича находили большую поддержку в духовенстве, которое, нападая особенно на *ј* (из латинского алфавита), подозревало Вука и Копитара в пропаганде латинства (об этом до сих пор не вполне выясненном вопросе писал Гильфердинг в своей книге «Les slaves occidentaux», Paris, 1858). Действительно, Караджич хотел приспособить свой алфавит к алфавиту хорватских братьев (католиков), чему не противоречило и правило его «пиши, как говоришь». Значение вуковицы еще усилилось с тех пор, как Гай принял реформу Караджича для Хорватии.

Предшественником Вука был, прежде всего, Орфелин, ограничившийся введением гражданского шрифта. Крупнейший предшественник Вука Досифей Обрадович не произвел решительной реформы, отчасти — по политическим причинам (указы Марии Терезии о замене кириллицы латиницей). Вук Караджич, обладая и связями и влиянием и, главное, понимая, как всякий крупный общественный деятель, потребности своего времени, достиг упорством, решительностью, дарованиями — полной победы. По всей справедливости его можно назвать основателем сербского литературного языка и новой сербской литературы.

Вторая заслуга Вука Караджича состоит в собирании народных песен. И эту работу он начал под влиянием Копитара. В первом выпуске «Песнарицы» находится 100 женских исполняемых без гуслей и 6 мужских народных песен с гуслями. Здесь язык носит еще следы поправок, которых Караджич позже избегал, печатая далеко не все слышанное и записанное, обладая чуткостью при выборе материала. Собрание песен составило 6 томов (два последние изданы после смерти Караджича редакционным комитетом). Караджич может быть назван лучшим собирателем песен во всей Европе. Он же положил начало современному (более развитому) делению песен на юнацкие, или мужские (о возможном и вероятном) и женские (о чудесном и сверхъестественном). Собрание песен было не только национальным делом. Оно обратило внимание величайших умов Европы на мало до той поры известную Сербию. Песни были переведены Тальви, Востоковым. Караджичем интересовались такие ученые, как Яков Гримм.

Третья заслуга Караджича — его многотомные исторические и этнографические труды. Деятельность его в этом направлении началась с 1826 г., когда появился первый его альманах «Даница» с описанием десяти монастырей. Обходя свою страну, Караджич описывал ее героев и деятелей, дал ее географическое и статистическое описание. Караджичу принадлежит несколько статей по истории Сербии, собрания пословиц, сказок. «Рјечник», удвоенный и вновь редактированный во втором издании, сообщает данные не только языковые (в связи с латинским и немецким текстом, составленным Копитаром), но и сведения о народных поверьях, обычаях и т. п. Знаменитый немецкий историк Ranke в своей истории сербской революции пользовался документами и устными сообщениями Вука Караджича. Кроме собств[енно] Сербии, Караджич описал Черногорию в книге «Montenegro und Monlenegriner» (1834 г.).

Все громадное дело Караджича А. Н. Пыпин считал делом обособления и самоопределения Сербии. Проф. Кулаковский считает реформу слишком поспешной. Знаменательно и наиболее ярко одно доказательство стремления Вука к обособлению: в своем словаре он исключал русские слова и предпочитал им даже турецкие. Это, по словам проф. Кулаковского, могло подвергнуть молодую страну с неустановившейся культурой — опасному влиянию чуждых и более сильных европейских культур и отпадению от культуры славянского востока. В этом смысле проф. Кулаковский считает сомнительным влияние Копитара, с которым, впрочем, Караджич был не во всем согласен.

В последние годы жизни Караджич был окружен сочувствием Миклошича, Копитара, Срезневского, Юрия Даничича, который впоследствии много работал над усовершенствованием реформы Вука. Молодой, рано умерший поэт Бранко Радичевич принял в своей литерат [урной] деятельности орфографию Вука Стефановича. Полное господство в Сербии вуковица получила в 1868 году.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1963

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ МЕТОДОВ В РАБОТАХ ПО ОБЩЕЙ И СЛАВЯНСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

В ряду лингвистических дисциплин диалектология до последнего времени отличалась неадекватным соотношением диапазона накопленных фактов и приходящихся на них научных выводов: если диалектологические материалы составляли едва ли не самые обширные в лингвистике и к тому же непрерывно пополняемые собрания фактов, то их интерпретация сводилась к чисто описательным процедурам и ограничивалась традиционной проблематикой одного языка или родственных языков. В значительной степени статус диалектологии приближался к дисциплине вспомогательного характера, подсказывающей и подтверждающей гипотезы относительно праязыка и истории языка. Если считаться с тем, что диалектологические материалы при этом накапливались как перечень различных рефлексов праязыковых явлений, то между диалектологией и историей языка нельзя не видеть порочного круга с циркуляцией лишь известного набора фактов и тавтологических заключений.

Очевидно, что в такой ситуации внутренней потребностью диалектологии, стимулируемой общелингвистическими тенденциями, стала разработка теории диалектологии, новых исследовательских методов и способов обращения с огромным фактическим материалом. В последние годы появилось много работ с теоретической ориентацией, акцентирующих разные проблемы, но объединенных идеей структурного подхода к диалектам. Знаменательно, что в итоге этих работ на новом уровне достигается индивидуализация диалектологии как дисциплины. Это выражается, с одной стороны, в частичной идентификации диалектологических вопросов с общелингвистическими, а с другой — в новых представлениях о специфически диалектологической проблематике.

Значительная часть теоретических вопросов, которыми традиционно занималась диалектология, принадлежит по существу типологии, предлагающей наиболее общую теорию отношений между языковыми системами. Специфически диалектологическим аспектом остается пространственная интерпретация результатов общих или частичных типологических сопоставлений языковых систем в пределах некоторых замкнутых территорий.

Неочевидна уже самая возможность сопоставления двух или более дискретных систем, так как формальные единицы неидентичных систем являются, строго говоря, несоизмеримыми. Традиционная диалектология, как правило, игнорирует взаимообусловленность элементов системы и сравнивает элементы, принадлежащие к разным системам без удовлетворительного описания их внутренних связей в этих системах. Соизмеримость систем может быть достигнута унифицированным описанием их через одни и те же предельные компоненты (единицы). Такой универсальный способ описания разработан пока только для фонологии — это дихотомическая теория различительных признаков Р. Якобсона, Г. Фанта и М. Халле.

Для измерения лингвистического разнообразия территорий диалектологии предстоит выработать строгие критерии различия и подобия систем, точнее критерии релевантности признаков, привлекаемых в качестве основания сравнения. Такие признаки вообще говоря могут избираться произвольно (важно только, чтобы они были структурно заданы), однако в этом случае они будут обладать неодинаковой классифицирующей силой и типологической надежностью, поэтому проблема выбора признака остается актуальной. Этой проблеме уже в 1931 г. была посвящена статья Н. С.

Трубецкого «Фонология и лингвистическая география»[1], в которой дается систематизация возможных звуковых различий между диалектами. Предлагается различать между несовпадениями: 1) в фонологической системе, 2) в фонетической реализации отдельных фонем и 3) в этимологическом распределении фонем в словах. Традиционная диалектология, оперировавшая недифференцированным понятием диалектного различия, практически ограничивалась этимологическими различиями. При таком понимании неизбежно представление о неточности и расплывчатости диалектных границ, так как между областями максимальных этимологических звуковых различий (т. е. где различие охватывает наибольшее число слов) всегда лежат области переходные, где разные слова имеют неодинаковые замещения «этимологического» звука. При фонетических различиях тоже трудно провести строгую границу, так как имеются области с переходным типом реализации определенных фонем; однако в любом случае различие касается в с е х слов с этими фонемами в определенных позициях. И только в случае фонологических различий переходные области в строгом смысле невозможны: фонема или комбинация фонем может либо присутствовать, либо не присутствовать в диалекте.

Если учесть, что с интерпретацией отдельных диалектных различий связана возможность проведения границ между диалектами и адекватной классификации диалектов, становится понятным, почему до самого последнего времени в диалектологической литературе продолжает обсуждаться вопрос о релевантности диалектных различий[2].

У. Вайнрайх, понимая структурную диалектологию как изучение «структурных последствий частичных различий в рамках частичной общности», считает релевантными только функциональные различия. Эти различия и являются специфическим объектом диалектологии. Они могут быть двух видов: различия инвентаря и различия дистрибуции. В то время как дистрибуционные различия являются постоянным материалом сравнительного изучения, различия первого рода еще не получили достаточного освещения. Инвентарные различия могут быть установлены как для фонем, так и для грамматических категорий. Различия в дистрибуции не выводятся прямо из сравнения инвентарных различий, хотя между ними обычно существует определенная связь. Детальное описание инвентарных различий на фонетическом и фонологическом уровне, техники их исследования, а также критерии оценки этих различий содержатся в статье Р. Стокуэлла «Структурная диалектология. К постановке вопроса».

Безусловный прогресс был внесен в этот вопрос требованием структурной значимости отмечаемых диалектных различий. Однако, как указывает П. Ивич, это не разрешает всех трудностей, во-первых, потому что число структурных признаков может быть очень велико, во-вторых, потому что и среди «неструктурных» могут быть признаки, заслуживающие внимания с точки зрения классификации диалектов. Выход, вероятно, в том, чтобы усовершенствовать структурные критерии; один из таких способов предлагает, в частности, Ж. Фурке: классификация некоторых западногерманских диалектов может стать более эффективной с введением т о п о л о г и ч е с к о г о критерия, учитывающего положение элемента в системе или в отдельных рядах системы (например, положение соответствующих передних гласных на линии палатальности). Другой способ более совершенного сравнения состоит в конструировании систем более высокого уровня из дискретных и гомогенных систем.

Такие конструированные системы описывает У. Вайнрайх[3], называя их «диасистемами». Диасистема, или суперсистема может быть построена лингвистом из любых двух систем, обладающих частичным сходством. При этом язык может пониматься как диасистема его диалектов. Например, реальный инвентарь гласных фонем языка идиш, понимаемого как диасистема трех диалектов (1 — центральный, польский; 2 — юго-западный, украинский; 3 — северо-западный, литовский), можно представить формулой:

$$1,2,3 \left| \begin{array}{c} \dfrac{1/i : \sim i/}{\dfrac{2/i \sim 1/}{3i}} \approx e \approx \dfrac{1/a : \sim a/}{2,3a} \approx o \approx u \end{array} \right|$$

---

[1] N. S. T r u b e t z k o y, Phonologie und Sprachgeographie, TCLP, 4, 1931. Кроме того, из ранних работ можно указать: B. H a v r á n e k, Nařečí česká «Ceskoslovenská vlastivěda», III, Praha, 1934; G. L a z i c z i u s», Bevezetés a fonológiába, Budapest, 1932.

[2] См., например, U. W e i n r e i c h, Is a structural dialectology possible?, «Word», X, 2—3, 1954; J. F o u r q u e t, Classification dialectale et phonologie évolutive, «Miscelánea homenaje a A. Martinet. Estructuralismo e historia», II, La Laguna, 1958; R. P. S t o c k w e l l, Structural dialectology: a proposal, «American speech», 34, 1959, P. I v i ć, On the structure of dialectal differentiation, «Word», XVIII, 1—2, 1962.

[3] См. U. W e i n r e i c h, указ. соч.

Подобные различия могут быть установлены для инвентаря грамматических категорий, например, для диалектов, имеющих, два и три грамматических рода, или три и четыре типа спряжения и т. д. К пониманию языка как диасистемы приближаются многие работы, использующие схему анализа Дж. Треджера и Г. Смита[4], при котором с помощью ряда символов могут быть описаны формы всех диалектов American English, но этот анализ обеспечивает не фонемическое описание, а лишь транскрипционный арсенал.

Из недавних работ, использующих понятие диасистемы, можно назвать доклад Дж. Франческато на IX Международном конгрессе лингвистов[5]. Диалектные различия на всех уровнях интерпретируются как модификации на общем фоне диасистемной (наддиалектной) модели. Диасистемные критерии обладают повышенной силой при установлении диалектных границ, особенно в случае высокой степени смешения в пограничных районах смежных диалектов.

Диасистему удобно использовать как начало отсчета при сравнении систем. Тогда конструкт обратного порядка, учитывающий лишь элементы, общие всем сравниваемым системам и элиминирующий специфические признаки отдельных систем, послужит вторым эталоном, а каждая конкретная система получит характеристику, указывающую на ее положение по отношению к обоим. На конструировании двух таких искусственных систем в ходе фонологического анализа настаивает Р. Стокуэлл[6].

Оснащенная методом построения наддиалектной и междиалектной (ядерной) моделей, современная диалектология оказывается способной строго очертить лингвистическое пространство языка и локализовать в нем относительно ядерной модели любую частную диалектную систему. Соотнесение лингвистического пространства языка с его географическим пространством подводит структурную диалектологию к традиционным вопросам диалектологических дискуссий: существуют ли диалекты как территориальные единства, реальны ли диалектные границы, как интерпретировать структурное сходство пространственно близких систем. Очевидно, нельзя признать адекватным решением этих проблем ни младограмматический тезис об абсолютном характере языковых и диалектных границ, ни неолингвистическую концепцию непрерывного атомистического потока языковых явлений. Оба представления основываются на неправомерном упрощении проблемы — в одном случае отказываясь от рассмотрения разного рода переходных образований и используя достаточно произвольные критерии членения территории, а в другом случае ошибочно отрицая факт существования отличных друг от друга систем в пределах данной языковой территории. Более обоснованной интерпретацией дифференцированности языка в пространстве, по-видимому, следует признать понимание языка как пространственного континуума диалектов. Это означает, что лингвистическое разнообразие языковой территории[7] рассматривается как расчлененность языка в данном его состоянии на ряд четко различающихся систем и, что крайне существенно, ряд переходных образований, интерпретированных как специфические системы.

В таком направлении развиваются рассуждения Э. Станкевича в статье «О дискретности и непрерывности в структурной диалектологии»[8]. Анализируя и оспаривая обе крайности предшествовавших диалектологических исследований, Э. Станкевич предлагает такой способ членения языкового континуума, который бы обнаруживал непрерывность дискретных систем и фиксировал переходы от системы к системе. Идеи Э. Станкевича таковы. В терминах строгой релевантности достигается описание т о л ь к о дискретных систем. Непрерывность можно выявить благодаря расширению границ релевантности. Так, более широкий фонетико-фонологический критерий, учитывающий избыточность лингвистического кода, позволяет отметить непрерывность там, где строго фонологический критерий выявляет лишь дискретные типы. Таким образом, пространственная непрерывность может быть градуирована знаками не обязательных, но допустимых фонетических различий (а типы изменений во времени определяются явлениями «фонемизации», «рефонемизации», «дефонемизации»). Идея комплексного (фонетико-фонологического) критерия близка мыслям Н. С. Трубецкого о закономерности диалектных границ в зависимости от критериев различия звуковых систем (Н. С. Трубецкой предлагал ком-

[4] G. T r a g e r, H. S m i t h, An outline of English structure, Washington, 1957.

[5] G. F r a n c e s c a t o, Dialect borders and linguistic systems, «Preprints of papers for the IX International congress of linguists», Cambridge (Mass.), 1962.

[6] R. P. S t o c k w e l l, указ. соч.

[7] Величина, поддающаяся математическому измерению (см. работу Дж. Г р и н б е р г а «Об измерении лингвистического разнообразия» в «Word», XXXII, 1, 1956, а также I. E. G r i m e s, Measures of linguistic divergence, «Preprints of papers for the IX International congress of linguists»).

[8] E. S t a n k i e w i c z, On discreteness and continuity in structural dialectology, «Word», XIII, 1, 1957.

плексное сопоставление, при котором бы четкой границей разделялись лишь фонологические отличия).

Можно полагать, что в разных случаях в зависимости от цели исследования окажется эффективным или абсолютно дискретное или абсолютно непрерывное представление языка. При этом во всяком случае нужно отдавать себе отчет в том, что именно диалектные ситуации представляют наиболее благоприятные условия для разработки вопроса о языковой дискретности и непрерывности, и, может быть, именно его должна в первую очередь решать диалектология.

На этом пути для диалектологии было бы неосновательным ограничиться пределами языка или языковой семьи и игнорировать проблемы дискретности и непрерывности языковых групп, объединенных общностью «месторазвития» (термин Р. Якобсона) — языковых союзов [9]. (Важно, что при этом диалектология не потеряет своей постоянной связи с диахроническими выводами, так как конвергентное развитие столь же типично для истории языка, как и дивергентное). По-видимому, первоочередное в этом плане — распространение исследований диалектологического типа на контактные межъязыковые зоны, часто двуязычные. Можно думать, что приближение к этому типу исследований содержится в работах, касающихся диалектов в традиционных рамках одного языка, в том случае, если основное внимание сосредоточено на выяснении не различий, но тождеств.

Диалектологические проблемы нового типа, обладающие безусловной перспективой и индивидуализирующие диалектологию в ряду других лингвистических дисциплин, трактуются в последних исследованиях П. Ивича [10], неизменно ориентированных на теоретический и типологический полюсы. Предлагается изучать структуру самой диалектной дифференциации, моделью которой служит диалектологическая изоглоссная карта (при этом важно, что преимущество полагается иметь изоглоссам структурно и статистически релевантных явлений). П. Ивич намечает принципы легенды изоглоссной карты, состоящие в лингвистической интерпретации таких характеристик, как равномерность распределения и степень концентрации изоглосс, направление очертания изоглосс. Каждая характеристика может быть приведена к числовому виду (например, индекс равномерности распределения изоглосс = количеству изоглосс на единицу расстояния; очертание изоглосс может вычисляться как степень отступления от круга), и, таким образом, лингвистический ландшафт получает вполне строгое описание.

Лингвистическое картоведение, как оно намечено в работах П. Ивича, по-новому ставит дискуссионные вопросы диалектологии — о диалектных и языковых границах, о «консервативных» диалектах, о «центральных» и «периферийных» диалектах, о выведении исторических ситуаций из географических. Очевидно, насколько это продуктивнее прежней постановки вопроса. Достаточно сослаться на то, что вполне формальной становится, например, процедура проведения диалектных границ, легко осуществляемая в случае скопления изоглосс, приходящихся на линию между двумя пунктами:

Рис. 1

но становящаяся невозможной при равномерном их распределении:

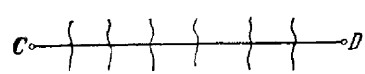


Рис. 2

Исторически положение диалектологии было таково, что факты о современном состоянии диалектов и выводы из синхронных наблюдений над ними обслуживали главным образом диахронические исследования, снабжая их основательным материалом для реконструкций предшествовавших состояний. При этом не всегда удавалось избежать произвольности выводов, во-первых, потому, что реконструировались изолированные и часто случайные фрагменты, во-вторых, из-за отсутствия строгих критериев оценки архаичности отдельных диалектных фактов, так же, как и их предсказательной силы. Вообще, более привычна для диалектологии постановка вопроса о диалектной дивергенции, чем о путях,

---

[9] Это направление мысли было предложено еще в 20-е годы Н. С. Трубецким [статья «Вавилонская башня и смешение языков» («Евразийский временник», III, Берлин, 1923)]; эта концепция развита в масштабном исследовании Р. Якобсона «К характеристике евразийского языкового союза» (1931 г.) (R. Jakobson, Selected writings, I, The Hague, 1962). В последнее время интерес к языковым контактам неизменно разделяли У. Вайнрайх, Э. Хауген.

[10] П. Ивић, Основни аспекти дијалекатске диференцијације, «Македонски јазик», XI—XII, 1—2, 1960—1961; его же, On the structure of dialectal differentiation, «Word», XVIII, 1—2, 1962; его же, Structure and typology of dialectal differentiation, «Preprints of papers for the IX Congress of linguists»

закономерностях и перспективах конвергентного развития. Однако именно в диалектологии возник вопрос о возможном изоморфизме между пространственной плоскостью в синхронии и временной в диахронии. Отдельные примеры такого изоморфизма отмечались в последнее время, в частности, Э. Станкевичем [11], исследовавшим фонологию польских диалектов. Э. Станкевич сформулировал закономерность соотношения между числом гласных и согласных: максимальные вокалические подсистемы несовместимы с максимальными консонантными подсистемами и обратно, что находит себе параллель в исторической тенденции к большей подвижности в области вокализма у диалектов с консервативным консонантизмом и наоборот. Сопоставление пространственных и временных тенденций в развитии языка, вероятно, позволило бы наметить некоторые общие закономерности движения языка. В частности, могли бы быть уточнены представления о зависимости между степенью диалектной дробности языка и временем его существования, могли бы быть выявлены критерии оценки диалектных фактов с точки зрения глубины реконструкции, выполняемой на их основании.

Общее требование структурной значимости сравниваемых элементов или фрагментов систем остается безусловно релевантным в диахронических сопоставлениях. Принципы построения исторического и синхронного описания применительно к фонологическому уровню предложены Ж. Фурке в статье «Фонология и диалектология» [12]. История каждого диалекта должна быть представлена динамической системой преобразований от исходного уровня через ряд этапов, каждый из которых отличается характерной перестройкой фонологической системы. Эти этапы запечатлены в современной фонологической системе любого диалекта отчасти в форме дистрибутивных ограничений, которые не могут быть объяснены из современного состояния. Формулируя причины диалектных изменений, следует исходить из того, что при переходе от ступени *A* к ступени *B* вид фонологической системы определяется ступенью *A*, хотя изменение не может быть абсолютно ясно из нее. Уже описание с точки зрения только вопроса «как» навязывает причинное объяснение (например, перегрузка палатального ряда согласных по сравнению с велярным есть причина передвижения гласных после велярных). Фонологическая причинность скрещивается с двумя другими типами причинного действия: внутриязыковым и внеязыковым. Только через взаимодействие внутренней и внешней причинности можно исчерпать историю данного диалектного типа.

В другой статье Ж. Фурке [13] диахронические сведения о диалектах привлекаются наряду с синхроническими для осуществления адекватной классификации диалектов. Нам кажется, что такая двойная ориентация сообщает классификационным критериям бо́льшую надежность.

Классификация диалектов сопряжена обычно с проблемой литературного языка, который удобно описывать как один из диалектов, характеризующийся, однако, следующими специфическими особенностями: наличием двух форм выражения — устной и письменной, функцией служить средством междиалектного общения и вследствие этого тенденцией к экспансии в пределах данной языковой территории. Проблема приобретения диалектом этой функции, вероятно, должна изучаться типологически, в результате чего может быть выявлена степень системности условий (как лингвистического, так и нелингвистического порядка) оформления литературного языка. Проблематика, связанная с отношениями литературного языка и диалектов, может быть рассмотрена в плане общей теории двуязычия, разрабатываемой У. Вайнрайхом [14]; в частности, представляется весьма плодотворной развитая им теория о диасистемах у носителей литературного языка и диалектов.

Можно предположить, что дифференциация языка в с о ц и а л ь н о м плане составляет в равной мере органический аспект диалектологии, не нуждающийся, как кажется, в особом подходе и вполне подчиняемый теоретическим и методологическим принципам пространственной диалектологии. При этом следует учесть три обстоятельства: 1) предполагаемый изоморфизм в строении диасистем пространственного и социального измерения; 2) известную специфику социального плана дифференциации языка, связанную с характером функционирования (например, ситуативность) социальных диалектов; 3) взаимодействие этих планов [15].

Т. М. Судник, С. М. Шур

---

[11] E. S t a n k i e w i c z, The phonemic pattern of the Polish dialects, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 518—533.

[12] J. F o u r q u e t, Phonologie und Dialektologie, «Zeitschr. für Mundartforschung», XXVI, 3, 1958.

[13] J. F o u r q u e t, Classification dialectale et phonologie évolutive.

[14] См. U. W e i n r e i c h, Languages in contact, New York, 1953; е т о ж е, On the description of phonic interference, «Word», XIII. 1, 1957.

[15] См. об этом H. K u r a t h, Interrelation between regional and social dialects, «Preprints of papers for the IX International congress of linguists».

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ РАБОТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ПО ВОПРОСАМ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Учение о так называемом «актуальном (aktuálním, или смысловом — obsahovém) членении предложения» (термин В. Матезиуса, ныне получивший широкие права гражданства в славянском языкознании) принадлежит к числу «молодых» разделов синтаксиса. Возникнув на базе младограмматического психологизма немецкой лингвистики второй половины XIX в. (Г. фон Габленц, Г. Пауль, В. Вундт, Г. Штейнталь, Б. Дельбрюк), нашедшего своеобразное преломление в работах чешских ученых И. Зубатого и В. Эртля, это учение в 20—30-х годах текущего столетия быстро и энергично оформляется в самостоятельный раздел описательного синтаксиса, в полной мере обнаруживающий свою лингвистическую специфику.

Своими достижениями учение об актуальном членении предложения в первую очередь обязано работам В. Матезиуса, заложившего его теоретические основы [1], и Фр. Травничка, в своих синтаксических исследованиях много внимания уделившего вопросам словорасположения — главного формального выразителя категории актуального членения [2]. После работ двух крупнейших своих исследователей чехословацкая лингвистика оказалась наследницей оригинального учения, способного стать базой для выяснения многих сложных вопросов словорасположения и речевого интонирования предложений [3], но в то же время требующего дальнейшей детализированной теоретической и практической разработки.

И теория В. Матезиуса, и положения Фр. Травничка, порой вступавшего с В. Матезиусом в острую полемику, вряд ли могут считаться внутренне едиными, последовательно выдержанными и в равной мере разработанными во всех своих частях. Получившие широкую известность и распространение тезисы об исходной части высказывания и его ядре, об объективном и субъективном порядке слов, а также положения Фр. Травничка (который различает смысловой — функциональный и фонетический принципы словоследования, различно проявляющегося при взволнованном и спокойном сообщении [4]) оставляют по существу без истолкования ту часть вопроса о взаимоотношении актуальной и формальной структуры предложения, которая касается определения тождества и различия принципов словорасположения в предложении в целом и в отдельной синтаксической группе в его составе. Так, Фр. Травничек вычленяет части предложения, не являющиеся с точки зрения членения представления ни психологическим сказуемым, ни психологическим подлежащим (т. е. вообще никакой его частью) и «прицепляющиеся» либо к тому, либо к другому [5]. Порядок следования этих частей предложения ничем по сути дела не определяется, и действие смыслового принципа охватывает таким образом далеко не все части предложения, что не позволяет считать самый этот принцип единым и универсальным. «Несколькословные содержательные части предложения» делятся Фр. Травничком на «связанные» (однофункциональные, выступающие совместно) и «несвязанные» (двухфункциональные, выступающие раздельно). Давая описание различных способов расположения членов «связанных» частей (тесных синтаксических единств, например определения и определяемого), Травничек отступает от смыслового принципа и заменяет выяснение факторов словорасположения в этих случаях характеристикой отдельных частных возможностей [6]. Описание различных случаев постановки членов синтаксической группы в зависимости от наличия или отсутствия ударения на одном из членов не может полностью удовлетворить, поскольку понятие ударения не соотносится с понятием членения психологического представления [7].

---

[1] Основные его работы по вопросам актуального членения предложения вошли в сборник: V. Mathesius, Čeština a obecný jazykozpyt, Praha, 1947. См. также: его же, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, Praha, 1961.

[2] См. главным образом: Fr. Trávníček, Mluvnice spisovné češtiny. II — Skladba, Praha, 1951; его же, Historická mluvnice česká. III — Skladba, Praha, 1956; его же, Slovosled při důrazu, SaS, V, 3, 1939; его же, Základy českého slovosledu, SaS, III, 2, 1937.

[3] Значение и основные достоинства учения об актуальном членении предложения, носящего в отличие от предшествовавших ему работ собственно языковедческий характер, неоднократно отмечались в нашей литературе. Назовем здесь работу: В. В. Виноградов, Основные задачи изучения синтаксиса простого предложения, ВЯ, 1954, 1.

[4] Fr. Trávníček, Mluvnice..., стр. 862—1004.

[5] Там же, стр. 878.

[6] Там же, стр. 964—1002.

[7] В своей последней работе «O tak zvaném aktuálním členění větném (SaS, XXII, 3, 1961) Ф. Травничек специально оговаривает, что вопрос об актуальном членении ставится лишь для всего предложения в целом, но не для отдельных его (пусть и несколькословных) членов (стр. 163).

В учении В. Матезиуса имеется то несомненное преимущество, что принимаемое им суммарное деление высказывания на две части (известное — исходное и новое — ядро) позволяет охватить принципом актуального членения по существу весь состав предложения, не оставляя без определения некие его *средние части*. В. Матезиус различает два рода факторов, определяющих порядок слов в чешском языке — главные (определяющие взаиморасположение подлежащего и сказуемого) и сопутствующие (не влияющие непосредственно на расположение подлежащего и сказуемого) [8]. Среди сопутствующих факторов В. Матезиус называет момент грамматический. Он заключается в том, что место слова или словосочетания в предложении может быть обусловлено его грамматической функцией, что́ ведет или к устойчивому, или к обычному (нейтральному) порядку *слов*; действие этого фактора осложняется моментами ритма и ударения [9].

Проблема воздействия грамматической природы члена предложения на способ его расположения в предложении не получила, таким образом, в трудах Ф. Травничка и В. Матезиуса достаточно полного освещения: грамматический фактор стоит у них особняком, не соприкасаясь и не взаимодействуя с основным фактором — смысловым. В своих работах В. Матезиус неоднократно обращает внимание на возникающее в предложении противоречие между актуальным членением и органическим (грамматическим) строением предложения. Это должно было бы способствовать заострению вопроса о взаимоотношении смысловой и грамматической структуры предложения. Однако этот вопрос решается В. Матезиусом преимущественно в плане сопоставления языков различного типа (чешского и английского), но не в пределах одного славянского языка. Между тем при изучении способов расположения членов словосочетания было бы важно разграничивать уровень словосочетания как номинативной единицы языка и уровень его функционирования как конструктивной единицы предложения. Словосочетания в составе предложения могут быть нейтральны к его актуальному членению, в других условиях они могут подвергнуться актуальному членению и видоизменить свою структуру; в последнем случае происходит отступление от свойственных словосочетанию данного типа норм словорасположения; грамматические связи членов словосочетания могут при этом преобразовываться в связи иного рода (например, атрибутивные — в предикативные). В предложении может быть не только одно нерасчлененное ядро, но целая иерархически построенная система «ядер», при которой отдельные части предложения допускают членение на исход — ядро подобно всему предложению в целом, имеющему в этом случае многоступенчатое членение.

Богатое теоретическое наследие Фр. Травничка и В. Матезиуса, дающее чехословацкой лингвистике прекрасную базу и весьма надежное основание для дальнейшей разработки теории и дескрипции словорасположения и особенно наименее разработанного славянского [10], вызвало к жизни весьма большое количество работ, преимущественно журнальных статей, посвященных вопросам словорасположения и актуального членения предложения. Современная чехословацкая лингвистика вполне закономерно уделяет этим вопросам несравненно больше внимания, чем лингвистика других славянских стран [11], что является ее неоспоримой заслугой. Приходится лишь с сожалением отметить, что современные чехословацкие исследователи подчас осваивают богатое наследие без должного критического подхода, иногда даже механически совмещая несовместимое в учении Травничка и Матезиуса [12], хотя подлинное синтезирование

---

[8] V. Mathesius, Základní funkce českého pořádku slov, сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», 341—342.

[9] Там же, стр. 348—350.

[10] Наследие В. Матезиуса как основа дальнейших исследований (преимущественно в области английского и чешского словорасположения) оценивается Я. Фирбасом в статье «Ze srovnávacích studií slovosledných (K Mathesiovu pojetí slovosledné soustavy)», SaS, XXIII, 3, 1962; здесь же приводится обзор новых работ чехословацких исследователей.

[11] Так, явно недостаточно внимания уделяется новому разделу синтаксиса в советской лингвистике; на сегодняшний день можно по существу назвать лишь две специальные работы, предлагающие теоретическое осмысление вопроса: А. С. Мельничук, Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках, Киев, 1958; И. П. Распопов, Актуальное членение предложения (На материале простого повествования преимущественно в монологической речи), Уфа, 1961.

[12] Так, П. Адамец называет в числе основных принципов чешского (и русского) словорасположения актуальное (контекстное) членение, синтаксическую сопринадлежность членов и фонетический (ритмический) фактор, равнозначно употребляя термины «актуальное членение предложения» и «строение предложения по составу представлений» («představová stavba věty») (Př. Adamec, K rozdílům mezi českým a ruským slovosledem, сб. «Kapitoly ze srovnávací

ценного обоих учений, возможно, и могло бы дать положительные результаты (призывы к такому синтезированию раздаются сейчас в чехословацкой печати).

В течение полутора послевоенных десятилетий появилось несколько работ, в которых рассматриваются в сопоставительном плане вопросы чешского и русского словорасположения (К. Горалек, Г. Кржижкова, С. Жажа, П. Адамец [13]). Авторы их приходят к некоторым весьма интересным конкретным выводам. Своеобразная попытка представить в синтезированном виде основные положения теории порядка слов представлена в работе В. Шмилауэра «Современный чешский синтаксис» [14]. Теоретическим вопросам словорасположения посвящена серия статей словацкого исследователя Э. Паулини, где рассматривается взаимное наложение результатов действия актуального и ритмического членения [15]. В этот же период появилась посвященная расположению присубстантивного притяжательного генитива имен собственных работа А. Едлички [16].

Я. Фирбас занимался изучением актуального членения предложения в староанглийском и современном английском языке [17], Я. Шимко — в староанглийском [18]. В минувшее пятилетие появилось немало работ, продолжающих эти наметившиеся направления (если говорить о тематических изменениях, то можно отметить почти полное исчезновение работ сопоставительного характера).

Как видно уже из этого беглого перечня затрагиваемых тем, наименее исследованным в этот период продолжал оставаться вопрос о том, каким образом соотносятся между собой принципы расположения слов в предложении и синтагме, главных членов предложения и второстепенных. Недостаточно четкое и целостное понимание возможностей совместного и одновременного проявления основных принципов славянского словорасположения — смыслового и грамматического, отсутствие их единого рассмотрения в плане предложения или высказывания наблюдалось в чехословацкой лингвистике вплоть до появления специально посвященной этим вопросам работы Ф. Данеша «К вопросу о порядке слов в славянских языках» [19]. Автор предлагает принципиально новое различение словорасположения на различных языковых уровнях, находящихся между собою в отношении определенной иерархии. На уровне высказывания (výpovědi) осуществляется первичная функция порядка слов — реализация задачи актуального членения высказывания в планах объективном и субъективном. Принадлежность членов предложения к ядру или исходной части высказывания определяется контекстом или ситуацией и не зависит от их синтаксической функции или семантической значимости. Другой уро-

---

mluvnice ruské a české», I, Praha, 1956). Стремясь вслед за Ф. Травничком выделить члены предложения, не являющиеся психологическим подлежащим или психологическим сказуемым и тяготеющие к одному из них, он в явном противоречии с принимаемыми исходными понятиями указывает на расположение таких членов между исходным и новым (очевидно, в понимании В. Матезиуса), хотя В. Матезиус делил все предложение в совокупности его членов на исходное и новое (стр. 182, 189—190).

[13] K. Horálek, Několik poznámek o pořádku slov v ruštině ve srovnání s češtinou, «Sovětská věda. Odd. jazykov.», III, 6, 1953; H. Křížková, Problémy českého a ruského slovosledu, сб. «Kniha o překládání», Praha, 1953; St.Ža ža, K postavení přívlastku, «Kapitoly e srovnávací mluvnice ruské a české», I; P. Adamec, указ. соч. Ряд замечаний по славянскому словорасположению имеется в кн. К. Горалка «Úvod do studia slovanských jazyků» (Praha, 1955).

[14] V. Smilauer, Novočeská skladba, Praha, 1947. В. Шмилауэру принадлежат главы о порядке слов и в ряде популярных руководств (см. «První hovory o českém jazyce», 3 vyd., Praha, 1946; «O češtině pro Čechy», Praha, 1960). В. Шмилауэр, как известно, является автором монументального исследования «Poloha přívlastku v Kronice Pražské Bartoše Písaře» (Praha, 1930).

[15] E. Pauliny, Gramatickí činitelia a vetný takt pri slovoslede, «Slovenská reč», XVI, 7, 1950—1951; его же, K slovosledu súvetia, там же, 8; его же, Slovosled a aktuálne vetné členenie, там же, 6.

[16] A. Jedlička, Postavení přivlastnovacího genitivu osobních jmen typu *Vrchlického spisy — spisy Vrchlického*, сб. «Studie ze slovanské jazykovědy. K 70 naroz. akad. Fr. Trávníčka», Praha, 1958.

[17] J. Firbas, Proznámky k problematice anglického slovního pořádku s hlediska aktualního členění větného, «Sbornik prací filosofické fakulty Brněnské university», V. Řada jazykovědná, 4; 1956; его же, Some thoughts of the function of word-order in Old English and Modern English, «Sbornik prací filosofické faculty Brněnské university», A 5, 1957; его же, K otázce nezákladových podmětů v současné angličtiné, «Časopis pro moderni filologii», XXXIX, 1 и 2—3, 1957.

[18] J. Šimko, Word-order in the Winchester manuscript and in William Caxton's edition of Thomas Malory's Morte Darthur (1485), Halle (Saale), 1957.

[19] F. Daneš, Kotázce pořádku slov v slovanských jazycích, SaS, XX, 1, 1959.

вень проявления функций порядка слов — это уровень грамматического строения предложения (věty), т. е. членения его на синтагмы. Порядок слов выступает здесь как сопроводительный элемент синтаксических связей. В синтагмах порядок слов бывает твердо установленный (неизменный), обычный (может изменяться при определенных условиях) и лабильный (свободный). Требованиям актуального членения в наибольшей мере может отвечать синтагма с порядком лабильным и в наименьшей — тесная синтагма. Синтагма с обычным порядком слов находится в этом отношении посредине, она подлежит актуальному членению лишь до известной степени. Изменение обычного порядка находится на уровне смыслового (неграмматического) строения. Таким образом, Ф. Данеш признает смысловой принцип действительно ведущим, осуществляющимся и внутри синтагмы. Использованная им возможность рассмотрения некоторых неоднородных по существу явлений на разных уровнях (высказывания как минимальной коммуникативной единицы и предложения как ее специальной грамматической формы) [20] оказалась весьма перспективной и позволила представить эти явления как вполне определенно локализованные элементы одной структуры.

В появившихся за последние пять лет работах немало внимания уделяется исследованию способов расположения отдельных членов предложения или слов определенных морфологических разрядов. Их авторы, активизируя богатый материал чешского, словацкого и некоторых других языков и вводя в научный оборот большое количество новых данных, поразному отвечают на вопрос об отношении реализации способов расположения рассматриваемых синтаксических членов или слов к общим принципам актуального членения. Так, П. Адамец, продолжающий свои исследования о соотношении принципов русского и чешского словорасположения, высказывает мысль о том, что порядок следования некоторых членов предложения прямо не определяется актуальным членением этого предложения [21]. Такими членами являются: 1) все виды определений и члены, распространяющие определения; их расположение зависит от расположения соответствующего субстантива, с которым они составляют неделимое целое; 2) в чешском языке — некоторые односложные слова, энклитики и проклитики [22]. М. Грепл, исследуя прозу Тыла [23] и широко учитывая моменты литературно-стилистические, приходит к сходному выводу о том, что при постановке глагола принцип содержательный оказывается в значительной мере нейтрализованным принципом грамматическим. Глагол, даже и не относящийся к ядру высказывания, механически по старой, а возможно и иноязычной схеме ставится в конце предложения, что для рассматриваемого периода (30—40-е годы XIX в.) было связано с расширением коммуникативной функции литературного языка. И. Ружичка обратился к исследованию способов расположения согласованного определения в словацком языке [24]. Беспризнаковое расположение согласованного определения перед существительным в словацком языке рассматривается автором как средство выражения синтагматической связи, если другие средства ее выражения отсутствуют (у несклоняемых атрибутивов); если же они имеются (согласование), то взаимное расположение членов синтагмы может быть лабильным. При этом считается, что способы взаиморасположения согласованного определения и определяемого зависят от действия грамматического фактора, совмещающегося при постпозиции одиночного прилагательного-определения с действием ударения (например, при противопоставлении). О принципах и результатах совмещенного действия обоих принципов в пределах атрибутивной синтагмы в статье не говорится; возможности совмещения не определяют-

---

[20] Ср. его же, K vymezení syntaxe [Poznámka o hranících věty (výpovědi)], «Jazykovedné štúdie», IV, Bratislava, 1959. В статье, написанной Ф. Данешем совместно с М. Докулилом (M. Dokulil, Fr. Daneš, K. t. zv. významové a mluvnické stavbě věty, сб. «O vědeckém poznání soudobých jazyků», Praha, 1958), различаются уровни содержания языковой формы и языковых значений; структура предложения — в отличие от структуры высказывания — имеет статический характер. Динамика же высказывания проявляется в его актуальном членении. Ср. также.: K. Hausenblas, Syntaktická závislost, spůsoby a prostředky jejího vyjadřování, «Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury», 2, 1958.

[21] P. Adamec, Několik poznámek k ruskému slovosledu, «Ruský jazyk», XI, 4, 1960.

[22] Соображения методического характера, связанные с практикой школьного преподавания русского языка, высказываются в статье Г. Кржижковой (H. Křížková, K slovosledu v ruštině a v češtině, «Ruský jazyk», XIII, 4, 1962

[23] M. Grepl, Vývoj slovosledu v Tylově próze, SaS, XX, 4, 1959.

[24] J. Ružička, Poznámky o polohe zhodného přívlastku, «Slovenská reč», XXIII, 1, 1958.

ся [25]. И. Оравец, высказавшийся по тем же вопросам, подробно останавливается на различных случаях постпозитивного употребления прилагательного, с синтаксической функцией которого связано отсутствие свободы расположения членов в атрибутивном словосочетании [26].

В соответствии с широко продемонстрированными ранее принципами описания грамматического материала исследовал расположение некоторых типов частиц в чешском языке Ф. Травничек [27], до конца своих дней не ослаблявший внимания к проблемам актуализации высказывания. Напоминая, что одни типы частиц тяготеют к личным глагольным формам, а другие — к неличным, Ф. Травничек устанавливает весьма сложные и дифференцированные правила расположения частиц в разных условиях, зависящие прежде всего от того, при какой глагольной форме они употреблены, и от расположения в предложении этой глагольной формы. С двумя исследованиями о расположении постпозитивного согласованного определения в словацком языке выступил Л. Дворч, обратившийся к анализу собственных имен и различных названий, а также эмфатических конструкций с тавтологическими корнями существительного и прилагательного и некоторых других определительных конструкций [28].

В первой статье дается подробный перечень способов расположения определений в этих конструкциях, причем указывается, что наблюдаемое общее преобладание постпозиции определения несет стилистико-логическую функцию. Во второй части статьи выявляются отдельные лексико-грамматические группы определений одного замкнутого лексико-стилистического разряда, занимающих обычно постпозитивное положение.

Как видим, авторы конкретных исследований по расположению тех или иных членов предложения (преимущественно разных видов определений) в основном исходят из точки зрения, высказанной более двух десятилетий назад Ф. Травничком и впоследствии чрезвычайно обстоятельно им разработанной, согласно которой некоторые значимые части предложения в организации динамической структуры предложения не участвуют.

Пытаясь осветить некоторые более общие вопросы актуальной структуры высказывания, И. Мистрик, в отличие от авторов исследований по расположению отдельных членов предложения, высказывается в пользу того, что актуальное членение касается каждого члена предложения и всех планов языка, поскольку высказывание организуется использованием всей совокупности лексических, грамматических, фонетических, а также внеязыковых средств [29]. Я. Горецкий, ограничивая и уточняя употребление термина «контекстное членение», показывает недостаточность членения высказывания на исходную часть и ядро, если при этом средние члены предложения практически не принимаются во внимание, и настаивает на более широком понимании действия грамматического фактора [30].

Помимо работ по славянскому словорасположению, в рассматриваемый период появился ряд исследований по словорасположению в романо-германских языках и латыни. И. Дубский, рассматривая взаиморасположение главных членов предложения в испанском языке [31], особо обращает внимание на семантико-грамматическую структуру глагольного члена. Ф. Новотный показывает роль порядка слов как средства выразительности речи в латыни [32]. И. Горжинек устанавливает деление французской фразы на речевые такты в связи с расположением членов в отдельных группах слов [33]. Б. Трнка в рецензии на книгу Я. Шим-

---

[25] Некоторые замечания об отклонениях от нормы при расположении несогласованного определения в словацком языке имеются в кн.: E. Pauliny, J. Ružička, J. Štolc, Slovenská gramatika, 2 vyd., Bratislava, 1955, стр. 321.

[26] J. Oravec, Postavenie zhodného prívlastku v slovenčine, сб. «Jazykovedné štúdie», IV.

[27] Fr. Trávniček, Slovosled stálých příklonek typu *smát se*, «Naše řeč», XLII, 5,—6, 1959; ср. его же, K postavení stálých příklonek po přestávce uvnitř věty, там же, 3—4.

[28] L. Dvonč, Zhodný postpositívny prívlastok vo vlastných menách, «Jazykovedné štúdie», III, Bratislava, 1958; его же, Shodný postozitívny prívlastok v nadávkach, «Slovenská reč», XXIV, 4, 1959.

[29] J. Mistrík, K realizácii aktuálneho členenia, «Slovenská reč», XXIV, 4, 1959. Из статей практически-рекомендательного характера отметим: L. Hruškova, Ústřední «kulturní dum pracujicích» na železnici a v dopravě, ale «dum kulturny pracujicích», ve strojírenství?, «Naše řeč», XLII, 3—4, 1959.

[30] J. Horecký, Gramatickí činitelia poriadku slov, «Jazykovedné štúdie», IV.

[31] J. Dubský, L'inversion en espagnol, «Slovník praci filosofické fakulty Brněnské university», IX, A8, 1960.

[32] Fr. Novotný, Syntaktické prostředky výraznosti řeči, «Listy filologické», VI (LXXXI), 1, 1958.

[33] J. Hořínek, Rytmické členění mluvního projevu ve francouzštině, «Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci». Jazyk a literatura, V, Praha, 1959.

ко подчеркивает структурно-грамматическую роль порядка слов в языках типа английского, где словорасположение имеет функцию выражения морфологических противопоставлений [34]. И. Носек полагает, что актуальное членение является одним из признаков разграничения значений предложения и значений слов и морфем: значения последних статические, в то время как значения предложения носят динамический характер [35]. Я. Шимко подчеркивает роль изучения реального содержания высказывания при определении процесса становления современного упорядоченного английского словорасположения [36]. Структуру начала предложения разных типов в немецком исследует Э. Бенеш, который предлагает разграничить и точно соотнести термины «база» («тема») и «основа» высказывания [37]. Он принимает понимание термина «исходная часть высказывания» («база»), уточненного в последней статье Ф. Травничка [38], и предлагает считать ею первый член предложения, соотносящий это предложение с объективной действительностью или контекстом путем выбора одной из нескольких возможностей, указываемых действительностью или контекстом; в таком случае за термином «основа высказывания» остается более широкое значение «все известное из ситуации или контекста» [39].

Сравнительное исследование положения ситуативного обстоятельства в английском и чешском языках с точки зрения функциональной перспективы предложения (термин В. Матезиуса) проводит Я. Фирбас [40], который по-прежнему уделяет основное внимание взаимодействию функциональной перспективы предложения и различных лексико-грамматических элементов в его составе. Им вводится понятие плоскости инстанции (плоскости простые, особые и высшие), в которой находится данное предложение, определяемое интенсивностью контекста и способом воздействия контекста на строение предложения. Это понятие способствует расчлененной трактовке отношения функциональной перспективы предложения к его грамматическому плану [41].

С общими вопросами распределения средств языкового выражения по отдельным типам или стилистическим ярусам языка соприкасаются некоторые работы по словорасположению, преимущественно диалектному (диалектное словорасположение, за исключением отдельных архаических особенностей, весьма близко к словорасположению просторечному и обиходно-разговорному). Еще В. Матезиус, обращаясь к разговорной чешской речи, отмечал: «В необработанной повседневной разговорной речи картина актуального членения речи богаче, нежели в упорядоченной (нормированной) речи, особенно в письменной, и его богатство тем ярче, чем ближе между собою по жизни и повседневному опыту говорящие. Это происходит, потому, что у них необычайно расширена данная ситуация, из которой можно выбрать темы высказывания или определенные моменты, которые могут быть исходным пунктом высказывания» [42]. Конкретные исследования пяти истекших лет, последовавшие за работами А. Келлнера, Ф. Сверака, И. Скулины, А. Лампрехта, позволили выявить некоторые определенные принципиальные особенности диалектного словорасположения.

---

[34] «Časopis pro moderní filologii», XLI, 1, 1959, стр. 52.

[35] J. Nosek, On the morphology-syntax division, «Acta Universitatis Carolinae. Philologica», 1 — Prague studies in English, IX, 1961.

[36] J. Šimko, K pomeru formy a obsahu a k otázkam poriadku slov, сб. «Jazykovedné štúdie», IV.

[37] E. Beneš, Začátek německé věty z hlediska aktuálního členění výpovědi, «Časopis pro moderní filologii», XLI, 4, 1959, стр. 216.

[38] Fr. Trávníček, O tak zvaném aktuálním členění větném.

[39] На роль смысловых элементов предшествующего сообщения при языковой реализации данного сообщения обращается внимание в статье немецкого исследователя К. Буттке (K. Buttke, Beziehungen zwischen Wortstellung und sprachlichem Umfeld, «Zeitschr. für Slawistik», IV, 4 1959).

[40] J. Firbas, Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině s hlediska aktualního členění větného, «Sborník prací filosofckě fakulty Brněnské university», X, A 9, 1961. Ср. E. Dvořáková, Poznámky к postavení příslovečného určení situačního v angličtině a češtině z hlediska aktuálního členění větného, там же.

[41] J. Firbas, Thoughts on the communicative function of the verb in English, German and Czech, «Brno studies in English», 1, Praha, 1959. См. также: его же, K vyjadřování aktuálního členění v angličtině, сб. «O vědeckém poznání soudobých jazyků», Praha, 1958.

Материал албанского языка исследовал П. Новак, которому принадлежит и статья общего характера (P. Novák, O prostředcích aktuálního členění, «Acta universitatis Carolinae. Philologica», 1 — Stati obecně lingvistické, fonetické, slavistické, 1959).

[42] V. Mathesius, O tak zvaném aktuálním členění větném, указ. сб., стр. 237. Ср. А. Б. Шапиро, Очерки синтаксиса русских народных говоров. Простое предложение, М., 1953, стр. 298.

С серией статей, посвященных изучению синтаксиса архаических восточноморавских наречий, выступил Я. Хлоупек[43]. Выявляя архаические особенности словорасположения (случаи постпозиции одиночного неударяемого определения), он отмечает и специфически разговорные новообразования (конструкции дополнительного присоединения, прибавления в процессе речи отдельных членов высказывания, которых не было в перспективе высказывания, случаи согласования слов по смыслу). В отличие от литературного языка, смысловое членение предложения в говоре достигается в первую очередь не порядком слов, а звуковыми (интонационными и ритмическими) средствами разговорной речи, в связи с чем ядро высказывания не имеет определенно выраженного места в предложении. Этим обусловливается сохранение некоторых собственно грамматических особенностей словорасположения (например, конечное положение инфинитива, никогда не следующего непосредственно за личным глаголом; ср. *nemám groša šeho vzit'*). Добавляемые в процессе речи части могут принадлежать и к ядру, и к исходной части высказывания, они могут быть и формальными словами, чем как бы перекрывается действие принципа смыслового членения. Таким образом, при составлении общеславянского языкового атласа вряд ли удастся специально исследовать и тем более картографировать особенности диалектного словорасположения[44], за исключением, может быть, лишь определенных архаических конструкций.

В указанной статье И. Мистрик обращается к выяснению некоторых особенностей выражения ядра и исходной части высказывания в стихотворном стиле. Ссылаясь на мнение Трнки о том, что область актуального членения принадлежит к стилистике и что понятие исходного — основное понятие стилистики, И. Мистрик полагает, что искусство выражения в стихотворном стиле во многом определяется умением реализовать исходную часть высказывания; установление ее связи с контекстом является одним из языковых средств создания образа и изображения действия.

Из других затрагиваемых тем отметим вопрос о динамической и интонационной структуре предложения в связи с формированием коммуникативной структуры высказывания[45] (как известно, чехословацкая лингвистика вообще имеет богатую традицию в изучении интонации и мелодики предложения). Здесь в первую очередь обращает на себя внимание интересная статья Ф. Мико[46], где в теоретическом плане рассматривается функция ударения (в словацком предложении), широко понимаемого не как звуковая принадлежность речи, но как элемент синтаксический, участвующий в формировании предложения; будучи элементом формальным, оно может выражаться и порядком слов, и интонацией, и усилением словесного акцента (иногда — акцента группы слов), и употреблением служебных слов, и некоторыми грамматическими категориями (модальность, род). Такое ударение обнаруживает актуальную структуру высказывания, находясь с ней, однако, в сложных взаимоотношениях: оно может находиться не только на ядре, но и на исходной части; иногда ударение «пересиливает» порядок слов, и последний перестает выражать актуальное членение, целиком передавая эту функцию ударению (ср.: *O chvíl'ku aj "ženy utíchli — Aj "ženy o chvíl'ku utíchli*). К статье Ф. Мико примыкает статья Я. Мигаля[47], посвященная воздействию мелодии на смысловую структуру предложения; автор показывает, что одно и то же высказывание с различной мелодией может иметь экспрессивное и констатирующее значение[48].

Подводя итоги, можно отметить, что для рассмотренного периода развития чехословацкой лингвистики характерен

---

[43] J. Chloupek, Stavba věty a souvěty v archaických nářečích východomoravských, сб. «Stúdie ze slovanské jazykovědu»; его же, Pořadek slov v nářečí, zvláště východomoravském, SaS, XIX, 4, 1958, его же, K otázce pořádku slov, «Jazykovedné štúdie», IV; его же, O specifičnosti nářeční skladby, сб. «Otázky slovanské syntaxe», Praha, 1962.

[44] Ср. J. Bauer, Otázka syntaktických jevů v slovanském jezykovém atase, «Slavia», XXVIII, 4, 1959, стр. 615.

[45] Эти вопросы нашли подробную и углубленную разработку в монографическом исследовании Ф. Даниша «Intinace a věta ve spisovné češtině (Praha, 1957), где выясняется связь между интонационной системой языка (и членением предложения на отрезки) и смысловой структурой высказывания (в частности, подробно говорится об изменениях ударенно-интонационной структуры высказывания при подчеркивании, логическом ударении, противопоставлении).

[46] F. Miko, K emfaticko-emocionálnej stránke vety v spisovnej slovenčine, «Jazykovedný časopis», IX, 1—2, 1958.

[47] J. Mihál, Vlyv melodie na zmysel vety, «Slovenská řeč», XXIII, 2, 1958.

[48] Выяснению различных функций речевого темпа при формировании структуры высказывания посвящена статья: P. Zima, K otázce klasifikace mluvního tempa, SaS, XX, 2, 1959.

активный и весьма плодотворный интерес к вопросам актуального членения предложения [49], надежно обеспечивающий ей нынешнее ведущее положение в разработке этого раздела синтаксиса.

О. А. Лаптева

[49] Достаточная их разработанность позволяет учитывать момент актуального членения высказывания и при исследовании конкретных вопросов грамматики. Ср., например: P. Novák, K otázce tzv. spony v nové češtině, «Acta universitatis Carolinae. Philologica», Suppl. — Slavica Pragensia, I, 1959. Этим же обеспечивается возможность включения разделов об актуальном членении и порядке слов в общие руководства по грамматике и синтаксису (ср., например, B. Havránek — A. Jedlička, Česká mluvnice, Praha, 1960, стр. 294—298).

РЕЦЕНЗИИ

É. Benveniste. **Hittite et indo-européen. Études comparatives.** — Paris, 1962. 140 стр. («Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'archéologie d'Istanbul», V).

В книге Э. Бенвениста рассматриваются избранные вопросы, связанные со сравнением хеттского языка с другими индоевропейскими. В первой главе (стр. 7—15) [1], посвященной фонетике, ставится вопрос о слишком малом числе согласных фонем (около 15), устанавливаемых для хеттского языка на основе истолкования его клинописной передачи. В связи с этим Э. Бенвенист напоминает о двух своих гипотезах, позволяющих увеличить число предполагаемых индоевропейских фонем (стр. 8). Однако первая из этих гипотез, по которой спиранты Бругмана (* *β* и *ð) нужно переинтерпретировать как аффрикаты, не только не находит никакого подтверждения в данных хеттского языка, но и решительно им противоречит. В хеттских названиях «земли» (клинописное *te-e-kan*) и «медведя» (клинописное *ḫar-tag-ga-aš* им. падеж, *ḫar-ta-ag-ga-an* вин. падеж, *ḫar-ta-ak-ki* дат.-местн. падеж) предполагаемым индоевропейским спирантам (например, в греч. χθών «земля» и ἄρκτος «медведь») соответствуют трехфонемные группы типа «согласный + гласный + согласный» (при двухфонемных группах в указанных греческих словах). Это несомненно говорит в пользу гипотезы Кретчмера и Бранденштейна [2], согласно которой двухфонемные греческие группы образовались путем метатезы, устранявшей недопустимое сочетание согласных, появившееся после редукции гласного [3]. Таким образом, хеттский язык позволяет восстановить не особые индоевропейские фонемы (как полагает Э. Бенвенист), а особый тип развития некоторых сочетаний фонем (в частности, сочетания типа «переднеязычный смычный + заднеязычный смычный», которое устранялось во всех древних индоевропейских языках, кроме тохарского).

Сомнительной представляется и вторая из упомянутых гипотез, согласно которой в хеттских словах, где *z* соответствует *s* в других индоевропейских языках, отражена особая фонема, отличная от индоевропейского * *s*. В работах Т. В. Гамкрелидзе, на которого ссылается

[1] В скобках здесь и далее указываются страницы рецензируемой книги.

[2] Одновременно с В. Бранденштейном сходную гипотезу высказал О. Семереньи (см. Szemerényi O., Egyetemes Philologiai közlöny 61, Budapest, 1937). Пользуюсь случаем принести благодарность проф. О. Семереньи за высказанные им в ходе нашей научной переписки по данному вопросу идеи.

[3] Менее вероятной представляется гипотеза В. Пизани, по которой в заимствованных словах этого типа устранялись иноязычные группы фонем, первоначально не свойственные индоевропейским языкам, см. V. Pisani, La ricostruzione dell'indeuropeo e del suo sistema fonetico, «Archivio glottologico italiano», XLVI, 1, 1961, стр. 25—31 (на стр. 29 В. Пизани, видимо, вслед за А. Нерингом, приводит ошибочную форму тунгусо-маньчжурского названия «медведя» с начальным *г вместо *n*, что делает менее надежным сравнение с ἄρκτος, ср. эвенк. *накита* и т. п. — В. И. Цинциус, Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949, стр. 219, 220, 314). К новейшей литературе о предполагаемых спирантах или аффрикатах в общеиндоевропейском, указанной в статье В. Пизани, следует присоединить статью W. Merlingen, Zu idg. «*β*», «Die Sprache», VIII, 1, 1962, стр. 74—76 (представляется, что разбираемая в этой статье проблема отражения индо-иранских палатальных в группах фонем этого типа может быть решена при предположении, что эти палатальные носили характер смычных или аффрикат, отраженных в кафирском и древнеперсидском, и поэтому могли трактоваться так же, как смычный переднеязычный). Группа * *tl*>*kl* в общебалтийском названии «медведя» может быть объяснена такой же метатезой.

Бенвенист в связи с вопросом о хеттских свистящих (стр. 8), было показано, что передача фонемы *s* посредством знаков, передававших также *z*, характерна для некоторых клинописных графических систем, имеющих общее происхождение с хеттской [4]; характерно также использование знака, обозначавшего в аккадском *sul*, *šul*, для передачи *zul* в хеттской клинописи [5]. В чисто графическом характере чередований *š/z* в хеттской клинописи убеждает написание слов одного и того же корня то через *z* (*zamankur* «борода»), то через *š* [=*s*] (*šamankur-uuant*-«бородатый») при **s* в других индоевропейских языках (литов. *smãkras*). Поэтому представляется, что хеттским клинописным знакам, транслитерируемым посредством *z*, следует придавать двоякое фонетическое значение: либо *z*= [*ts*] (аффриката), либо *z*=[*s*] (свистящий, фонетически совпадающий со вторым элементом аффрикаты). В хеттских словах типа *zen(a)*- «осень» (родственно русск. *осень*) нужно видеть особую клинописную передачу основы [sen-]; поэтому оснований для реконструкции особой индоевропейской фонемы, отличающейся от **s*, хеттский язык не дает [6].

Более вероятной представляется гипотеза, впервые высказываемая в рецензируемой книге (стр. 8—9), согласно которой противопоставление сдвоенного написания *šš* и несдвоенного написания *š* в хеттской клинописи может отражать такое же фонологическое различие, как противопоставление сдвоенного написания смычного (восходящего к индоевропейскому глухому) и несдвоенного написания смычного (восходящего к индоевропейскому звонкому) [7]. В пользу гипотезы о наличии звонкого свистящего в хеттском могло бы говорить сравнение с иероглифическим лувийским, где наличие звонкого в таких именах, как *Asitauanda*, подтверждается финикийской (*'ztwd*) и ассирийской передачей тех же имен [8]; однако иероглифической лувийской основе *asi*- в *Asitauanda* соответствует хеттское *aššiia*- «любить», которое пишется с удвоенным *šš* (что нужно было бы ждать в случае глухого, а не звонкого). Для подтверждения того, что посредством знаков, использовавшихся для передачи *š*, в клинописи могла передаваться звонкая фонема, Бенвенист приводит арийское имя **Candra-myaźd(h)a*, передаваемое как *Za-an-tar-mi-ia-aš-ta* в клинописи Алалаха (Сев. Сирия). Это арийское имя, открытое Бенвенистом, как и аналогичное **Citra-myaźd(h)a* = *Zi-it-tam-ia-aš-da*, ранее указанное Майрхофером (стр. 9), представляют исключительный интерес для истории индоиранских языков, так как в этих именах наблюдается звуковое развитие, типичное для иранских языков (а не для индийских); тем самым вновь ставится под сомнение индийский (а не индо-иранский) характер арийского слоя населения, который отражен в переднеазиатских текстах II тысячелетия до н. э. [9].

В разделе, посвященном ларингальным (стр. 9—15), предлагается ряд новых индоевропейских этимологий хеттских слов, содержащих *h*. Для изучения культуры носителей древних индоевропейских диалектов особенно важно предложенное ранее Бенвенистом сопоставление хет. *išhamai*- «песнь» с др.-инд. *sāman* [10]. Наличие индоевропейского названия у хеттских метрических текстов подтверждает вероятность отражения в их структуре некоторых черт индоевропейского метра, восстанавливаемого на основе архаизмов греческого, индо-иранского, славянского и кельтского [11] стиха; показательно также сход-

[4] См. о клинописи Алалаха и Нузи и староаккадской клинописи в статье: Т. В. Гамкрелидзе, Клинописная система аккадско-хеттской группы и вопрос о происхождении хеттской письменности, ВДИ, 1959, 1; о чередовании *š/z* в хурритской клинописи ср. E. Laroche, Les textes hourrites, «Le palais royal d'Ugarit. III» («Mission de Ras Shamra», VI), Paris, 1955, стр. 329.

[5] Ср. J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, Tl I, 2 Aufl., Heidelberg, 1960, стр. 24.

[6] Следует также заметить, что не все этимологии, предположенные ранее Бенвенистом для обоснования этой гипотезы, сохраняют прежнюю силу: так, хеттская возвратная частица *-za*-[z] должна сравниваться не столько с индоевропейским **s*, сколько с возвратной частицей *ti* в клинописном и иероглифическом лувийских языках (развитие палатализованного *t'*>*z* обычно для хеттского; конечный *-i* мог редуцироваться в энклитической частице, занимающей в хеттском языке третью позицию в комплексе энклитик, а в лувийском — вторую).

[7] Ср. сходное предположение о различении глухого *s* и соответствующего звонкого в хеттском в кн.: H. Kronasser, Etymologie der hethitischen Sprache I. Zur Schreibung und Lautung des Hethitischen, 1, Wiesbaden, 1962, стр. 8.

[8] E. Laroche, Les hiéroglyphes hittites, pt. 1, Paris, 1960, стр. 15 и 258.

[9] На чисто индийском характере этого этнического слоя настаивает Г. Кронассер (H. Kronasser, [рец. на кн.:] A. Kammenhuber, Hippologia hethitica, «Die Sprache», VIII, 1, 1962, стр. 118).

[10] E. Benveniste, Études hittites et indoeuropéennes, BSLP, L, 1, 1954, стр. 39.

[11] Ср. C. Watkins, Indo-European origins of a Celtic metre, сб. «Poetics», Warszawa, 1961. О возможностях сход-

ство не только структуры, но и семантики некоторых хеттских, лувийских и древнегерманских текстов ритуального характера (в частности, заклятий от «злых языков целого множества людей»).

Предложенное Бенвенистом (стр. 10—11) сравнение хет. *ḫa-* «верить» и лат. *ōmen* (для которого предполагается исходное значение «заявление об истинности») увеличивает число нескольких архаичных религиозных терминов, объединяющих хеттский язык с италийскими, ср. хет. *ḫašša* «очаг, алтарь»: лат. *āra* «алтарь» и т. п.

Для исследования индоевропейской социальной терминологии существенно было бы найти соответствие в хеттском языке индоевропейской основе **orbho-*, обозначавшей «обездоленного» или «сироту». Бенвенист видит это соответствие в семантически далеком хет. *ḫarp-* «отделять (?)» (стр. 11—12). Рецензенту представляется более вероятным отнесение к индоевропейскому **orbh-* другой группы анатолийских слов: хет. *arpa-* «неудача», *arpuatar* «трудность» (от основы *arpu-*, засвидетельствованной в юридическом контексте в хеттских законах), *arpuant-* «тягостный»; лув. *arpuan(n)i-* «несчастный», *arpasa-* «потерпеть неудачу»; лик. *erbbe* «поражение» [12].

Другой важный индоевропейский социальный термин, семантически противоположный названию «обездоленного», отражен в хет. *ḫappin-ant-* «богатый», этимологический разбор которого в рецензируемой книге (стр. 13) представляется неполным прежде всего потому, что не учтены связи этой основы на *-n* с родственными хеттскими основами на *-r*: *ḫapp-ar* «цена; сделка», *ḫappirai-* «продавать» (лик. *epiriye-*); с двумя последними терминами в §§ 48—49 хеттских законов сочетается социальный термин *ḫippara*, обозначающий особую социальную группу, ср. также *ḫappira-* «селение». Сравнение этих хеттских (и других анатолийских, ср. лув. *ḫappina-* «богатый») социальных и экономических терминов позволяет выделить в них суффикс **en-/*er*, родственный аналогичному суффиксу в «догреческом» ἄφενος «богатство» (где φ, смущающее Бенвениста, объясняется фонетическими законами догреческого языка), ср. также лат. *ops*, *opes* «имущество, состояние, богатство» [13] (ср. также лат. *epulo* «жрец», для сравнения с которым важно употребление *ḫappariia-* в ритуальном контексте в древнейшей хеттской надписи царя Аниттаса, строка 20).

В связи с обнаружением в клинописном и иероглифическом лувийском языках индоевропейского названия «овцы» (лув. *hauī-*, иероглиф. *hauaʲi*, ср. арм. *hovi-w* «пастух») [14] Э. Бенвенист (стр. 12) ставит под сомнение гипотезу Элольфа и Педерсена о значении «овца» у хет. *iiant-* (причастие от глагола *iia-* «идти»). В пользу точки зрения Бенвениста можно привести два дополнительных аргумента: во-первых, написание, на котором основана гипотеза Элольфа и Педерсена, можно толковать не как сочетание непроизносимого детерминатива UDU с существительным *iiant-*, а как сочетание идеограммы UDU «овца» с постпозитивным определением *iiant-* «идущий» (UDU *iiant-* «идущая овца») [15]; во-вторых, хеттское чтение идеограммы UDU могло не отличаться от лувийского *ḫauī-*, но явно отличалось от *iiant-*, как показывает фонетическое написание суффикса *-i-š* в форме именительного падежа UDU-*iš* (ср. также им. падеж UDU-*uš*, вин. падеж UDU-*un*) [16]. Таким образом, можно думать, что не только в лувийском,

---

ного подхода к германскому стиху см. W. P. Lehmann, The development of Germanic verse, Austin, 1956, стр. 30.

[12] Для доказательства наличия связей между этими словами особенно существенно то, что контекст, в котором употребляется *erbbe* в ликийском военном повествовании (ср. E. Laroche, Études de vocabulaire. VII, «Revue hittite et asianique», XVI, 63, 1958, стр. 98), в точности соответствует контекстам, в которых употребляется хет. *arpa-* (см. E. Forrer, Forschungen, I, 2, Berlin, 1929, стр. 129).

[13] Об этимологии всей этой группы слов см. статьи рецензента: «О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков» (ВСЯ, 2, М., 1957), стр. 13—14; «Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии» («Вестник МГУ», 1957, 2), стр. 35; «Социальная организация индоевропейских племен по лингвистическим данным» («Вестник истории мировой культуры», 1957, 1), стр. 44—45 (в автореферате последней статьи, напечатанном в «Bibliotheca classica orientalis», 1, 1963, стр. 30—31, даны дополнения относительно термина *ḫippara*).

[14] См. об этой этимологии в указанной выше статье «Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии», стр. 5, и в статье рецензента «Об исследовании древнеармянской фонологической системы в ее отношении к индоевропейской» (ВЯ, 1962, 1), стр. 39.

[15] См. A. Götze, [рец. на кн.:] J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, «Journ. of cuneiform studies», V, 1, 1951, стр. 45.

[16] Отмечено в словаре И. Фридриха (J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg, 1952—1954, стр. 298), который, однако, не отказался от гипотезы Элольфа, противоречащей приводимым им же самим фактам.

но и в хеттском нашла отражение индоевропейская основа *Ноу̯-i «овца».

Хет. *hišša-* «дышло», имеющее соответствия в древнеиндийском, древнегреческом и славянских[17] языках, Бенвенист с полным основанием отказывается считать заимствованием, указывая, что это слово входит в группу хеттских обозначений упряжи с индоевропейской этимологией: хет. *i̯ugan* «ярмо», *turiḭa-* «запрягать» (стр. 14); к этой же группе следует отнести *išmeri-* «узда», имеющее соответствие в греческом. Следует заметить, что, как показывает древнеиндийский язык, основа *yuga-*, используемая во временном значении в словах типа вед. *tri-yuga* «время, охватывающее три периода жизни», ср. хет. *ta-i̯uga* «двухлетний» (стр. 79—80), родственна хет. *i̯ugan* «ярмо», др.-инд. *yuga-* «ярмо»[18].

В связи с обоснованием индоевропейской этимологии хет. *laḫuu̯a-* «лить» Бенвенист указывает на важность хеттского глагола для реконструкции специализированного значения «лить» > «мыть посредством обливания» (стр. 15); в этой связи можно было бы указать на хеттские выражения типа *arrummaš u̯atar laḫui* «он льет воду для умывания», позволяющие проследить путь данного развития значений и взаимодействие двух упоминаемых Бенвенистом глаголов: *laḫuu̯a-* и *arra-* «мыть»[19].

Заканчивая этот обзор этимологий, содержащих хет. *ḫ*, следует отметить, что наиболее существенная из таких новых этимологий была недавно дана Фридрихом: хет. *ḫap(a)-* «река, поток» несомненно родственно др.-инд. *ap-* «вода»[20], что дает подтверждение реконструкции ларингального, давно уже предполагавшегося в начале этой основы по той причине, что в древнеиндийских сложных словах со вторым компонентом *-ap* гласный или сонант, предшествующий этому компоненту, удлиняется.

В разделе, посвященном морфологии глагола (стр. 16—40), Бенвенист возвращается к прежней своей гипотезе о возможной связи хеттского окончания 1-го лица ед. числа прош. времени *-un* с *-*u* в формах 1-го лица ед. числа перфекта в некоторых древних индоевропейских языках (стр. 16—18). Это хеттское окончание, имеющее точное соответствие только в лид. -υν[21], может быть сопоставлено с лидийским окончанием 1-го лица ед. числа наст. времени *-u/v*, причем это сравнение показывает, что *-u-* специфично для 1-го лица, но не для времени (которое обозначено «вторичным» окончанием *-n* < *-*m*). Поэтому представляется целесообразным сравнить с этим *-u-* элемент *-u̯-*, выделяемый в лувийском окончании 1-го лица ед. числа наст. времени *-u̯-i* (где настоящее время обозначено приметой *-i* так же, как прошедшее время обозначается приметой -ν в лидийском), ср. также элемент *-u̯-* в хеттских формах 1-го лица ед. и мн. числа прош. и наст. времени *-u̯-en* (ср. 2-е лицо *-t-en*) и *-u̯-en-i* (ср. 2-е лицо *-t-en-i*). Если этот ряд сопоставлений правилен, то *-u-* в *-u-n* первоначально могло иметь только значение лица (ср. *u-/m-* в личных местоимениях 1-го лица типа хет. *u̯-eš* «мы», *u-kk* «я») и его сравнение с перфектным окончанием (встречающимся в других древних индоевропейских языках не только в 1-м лице, но и в 3-м) отпадает (впрочем, нельзя считать полностью исключенным и чисто фонетическое объяснение *-un* в этом окончании и в окончании вин. падежа ед. числа из слогового сонанта, ср. единичные хеттские примеры типа *gurtaš* «крепость», родственно русск. *город*, нем. *Garten*, иероглифич. *šurna-* «рог», родственное русск. *серна* и т. п.; ср. также урарт. *burgana* «крепость», по-видимому, заимствованное из анатолийского диалекта, имевшего форму, родственную догреч. πύργος, гот. *baurgs*[22]).

Несомненным достижением Э. Бенвениста, представляющим собой вклад не только в анатолийское, но и в балто-славянское языкознание, является установление связи между хеттским окончанием 1-го лица ед. числа императива

---

[17] О славянских соответствиях, не отмеченных Бенвенистом, см. указанную выше статью «О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков», стр. 6, 18 и 27.

[18] Об этих хеттских и древнеиндийских словах см. там же, стр. 27.

[19] См. указанную выше статью «Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии», стр. 37; ср. там же об огласовке *e* в редуплицированной форме *lelḫuu̯a-*, образованной от того же хеттского глагола, что представляет интерес в связи с замечанием Бенвениста о первоначальной огласовке *e* в греческом (по данным микенских текстов).

[20] J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, 2 Ergänzungsheft, Heidelberg, 1961, стр. 11.

[21] O. Carruba, Studi sul verbo lidio, «Athenaeum», 38, I—II, 1960; его же, Lydisch und Hethitisch, «Zeitschr. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», III, 2, 1961.

[22] Как древнее анатолийское заимствование следует рассматривать и арм. *burgn* «башня» (ср. N. Adontz, Emprunts de haute époque en arménien, «Revue des études indo-européennes», I, 2—4, 1940, стр. 465, где, однако, не принята во внимание связь всех этих слов с индоевропейским корнем *$*b^h erĝ^h$*).

-lu и формами на *-l*, имеющими значение оптатива в балтийских языках (стр. 18—20). Однако для более точного анализа происхождения этих окончаний не следовало бы отказываться от сопоставления хеттских форм на *-lu* с именными отглагольными образованиями на *-l*. В пользу такого сопоставления говорит огласовка форм на *-lu*, типичная для неличных форм (*ašallu* от *eš-* «быть», ср. причастие *ašant-*), и модальное значение изолированных хеттских отглагольных именных форм на *-la-* типа *dalugnula* (от *dalugnu-* «удлинять»), *barganula* (от *barganu-* «возвышать») [23]. Как представляется рецензенту, эти хеттские отглагольные именные формы на *-la* с модальным значением могут служить ключом для разгадки происхождения хеттского «волюнтатива» на *-lu*, где *-u* возникло по аналогии с другими формами императива в сравнительно позднюю эпоху, ср. параллельные формы *ašallu*, *eslut*, *eslit*. Если предположить, что хеттский волюнтатив на *-l* развился из отглагольных имен на *-l* с модальным значением, позднее включенных в парадигму императива с окончанием *-u*, то окажется возможным связать его с тохарскими формами на *-lye* со значением долженствования, родство которых с армянскими формами на *-li* типа *sireli* «тот, кого нужно любить; милый» отмечал Бенвенист в одной из своих прежних работ [24]. К таким именным отглагольным образованиям на * *-l(i)-* с модальным значением в этом случае следует возвести и балтийские формы типа ст.-литов. *esle* (переводится «esto, sic ita» в грамматике Клейна [25]), *esliui* (ср. хет. *ašallu*, *ešlit*), латыш. формы 1-го лица ед. числа условного наклонения на *-tu-ļu*, 1-го лица ед. числа наст. времени на *-ļu*, которые Я. М. Эндзелин возводил к одному источнику с формами 3-го лица ед. числа императива на *-ļa* (в языке латышских народных песен) [26], ср. также прусский оптатив на- *lai* (обычно объясняемый, однако, из сочетаний с частицей *-lai*).

Если предлагаемое объяснение этих форм окажется верным, то тем самым в балтийских языках будет обнаружено соответствие славянским отглагольным формам на *-l*, которые и в славянских языках (в сочетании с формами типа ст.-слав. *БИМЬ*, русск. *бы*) могли использоваться в модальном значении, сходном со значением латышских форм на *-tuļu* и соответствующих тохарских, армянских и хеттских форм на *-l(i)-*. В этом случае наблюденное Бенвенистом соответствие остается в силе, но получает более реальное историческое объяснение. Простой констатацией сходства хеттского волюнтатива и балтийского оптатива здесь нельзя довольствоваться так же, как и констатацией сходства лидийских временных форм на *-l* с аналогичными славянскими временными формами (восходящими в конечном счете к таким же отглагольным именам на *-l*).

Другая важная изоглосса, объединяющая анатолийские языки со славянскими и балтийскими, рассматривается Бенвенистом в связи с лувийскими (клинописными и иероглифическими) причастиями на **mo* (стр. 27—32) [27]. В системе причастий, образовывавшихся из отглагольных имен уже в ходе развития отдельных диалектов, обнаруживаются существенные различия между разными анатолийскими языками: в лидийском выступают, по-видимому, причастия на *-tó-*, аналогичные пассивному причастию в греческо-арийской диалектной группе, тогда как в хеттском отсутствуют пассивные причастия на **-to-* и на **-mo*, но сами суффиксы отглагольных имен, превратившихся позднее в эти причастия, засвидетельствованы в таких хеттских существительных, как *šaš-ta-* «ложе; лагерь» (от *šeš-*«покоиться, спать»), *lalukk-ima-*«свет» (от *luk-*«светать»), ср.

---

[23] О модальном значении этих хеттских форм на *-la*, обозначающих возможность, см. H. Pedersen, Hittite *dalugnula* und *barganula*, «Journ. of cuneiform studies», I, 1, 1947, стр. 61—64; A. Hahn, Subjunctive and optative, New York, 1953, стр. 52—53, примеч. 93. По гипотезе С. Альпа (разделяемой не всеми хеттологами), к этому же типу принадлежит название рабов-военнопленных *arnuuala-* «те, кто должны (или могут) быть уведены» — см. S. Alp, Die soziale Klasse der NAMRA-Leute, «Jahrbuch für kleinasiatische Forschung», I, Heidelberg, 1950.

[24] Э. Бенвенист, Тохарский и индоевропейский, сб. «Тохарские языки», М., 1959, стр. 97; ср. W. Thomas, Die tocharischen Verbaladjektive auf *-l*, Berlin, 1952, стр. 9, прим. 3 (о хеттском волюнтативе на *-lu* в сравнении с тохарскими и армянскими формами). Об отглагольных именах этого типа в балтийских языках ср. P. Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, Vilnius, 1943, стр. 162 и сл.; J. Endzelīns, Baltu valodu skaņas un formas, Rīgā, 1948, стр. 91.

[25] «Pirmoji lietuvių kalbos gramatika 1653 metai», Vilnius, 1957, стр. 233 (= стр. 137 фототипического воспроизведения грамматики Клейна в этом издании).

[26] J. Endzelīns, Latviešu valodas gramatika, Rīgā, 1951, стр. 789.

[27] См. об этой изоглоссе указанную выше статью рецензента «О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков», стр. 24.

кучан. *lyukemo* и др.-инд. *ruk-ma-*[28], принадлежащее к тому типу древнеиндийских имен на *-ma*, с которыми Бенвенист обоснованно сравнивает причастия на **-mo* (стр. 29—30).

Отсутствие особых форм пассивных причастий в хеттском языке связано с тем, что причастия на *-nt* от непереходных глаголов выступают в качестве активных, а от переходных — в качестве пассивных. В архаичности этого явления убеждают не только примеры полной залоговой недифференцированности причастия в хеттском (*adant-* «съеденный, съевший», родственно индоевропейскому названию «зуба»), но и параллели из ряда других древних индоевропейских языков, в том числе латинского[29] и древнеисландского, где в разговорном и поэтическом стилях активные причастия на *-nd* образуются почти исключительно от непереходных глаголов. Эти данные подтверждают происхождение причастий на **-nt* из именных отглагольных форм (ср. выше о причастиях на **-l-* и **-mo*).

Для установления первоначального значения индоевропейских именных основ на *-nt* существенна вышедшая одновременно с рецензируемой книгой статья Бенвениста, в которой показано, что общие для хеттского и древнеиндийского языков названия времен года на *-nt* (типа хет. *zen-ant-* «осень») имеют индивидуализирующее значение[30], из которого можно вывести последующее значение деятеля при переходном глаголе[31].

В специальном разделе книги, где тщательно исследуется синхронное семантическое соотношение между отыменными глаголами на *-aḫḫ* и *-nu* и их история (стр. 20—26), следовало бы отметить наличие связи между прилагательными на *-u-* типа *tep-u-* «маленький» и глаголами на *-n-u* типа *tep-n-u* «унижать»[32], где с синхронной точки зрения *-n-* еще можно рассматривать как носовой «инфикс» (точнее, как первый суффикс в такой последовательности суффиксов, которая может выступать и без этого первого суффикса). Именно в этих соотношениях, аналогичных соотношениям между индоевропейскими глагольными основами на **-u-* и **-nu-*, можно искать источник для позднейшего превращения *-nu-* в продуктивный суффикс глаголов, образующихся от прилагательных. Глагол *ešḫar-nu-* (от *ešḫar* «кровь»), в котором Бенвенист (стр. 26) видит одну из двух наиболее архаичных основ этого типа, следует сопоставить с глаголом **ešḫaru-*, итеративная форма которого *išḫaru-eški-zzi* «кровоточит, сочится (о яблони)» засвидетельствована в хеттско-хаттской билингве[33]. Тем самым гипотеза Бенвениста об архаич-

---

[28] Ср. работу рецензента «Хеттское словообразование в сравнительно-историческом освещении», М., 1960, («XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»), стр. 6.

[29] A. Hahn, Voice of non-finite verb forms in Latin and English, «Transactions of the American Philological association», LXXIV, 1943; J. Friedrich, Verschiedene Kleinigkeiten aus verschiedenen Sprachen, «Revue des études indo-européennes», IV, 3—4, 1947, стр. 335—336; F. Sommer, Hethiter und Hethitisch, Stuttgart, 1947, стр. 67—68.

[30] E. Benveniste, Les substantifs en *-ant* du hittite, BSLP, LVII, 1, 1962. Представляется, что этот вывод может иметь важное значение для славистов, так как хеттские прилагательные на *-nt*, соответствующие славянским формам типа русск. *большущий*, по-видимому, первоначально имели значение, сходное со значением существительных на *-nt*.

[31] Это значение для хеттских существительных на *-nt-* установлено в статье: E. Laroche, Un ergatif en indo-européen d'Asie-Mineure, BSLP, LVII, 1, 1962. В свете данных, собранных Ларошем и уточненных в цитированной выше статье Бенвениста, хеттский суффикс *-nt* можно рассматривать как способ образования формы деятеля (при переходном глаголе) от имен среднего рода, обычно не имеющих этой формы; в этом смысле формы на *-nt-* полностью аналогичны формам род. падежа на *-aš* типа *ḫaštulaš* «(тот) греха = грешник» (о возможности интерпретации этих хеттских форм род. падежа и форм на **-nt* как следов эргатива ср.: В. В. Шевороткин. К истории индоевропейского генетива, ВЯ, 1957, 6, стр. 89; W. P. Lehmann, On earlier stages of the Indo-European nominal inflection, «Language», XXIV, 2, (pt. 1), 1958, стр. 199). Хеттские данные важны для доказательства отсутствия значения деятеля у форм им.-вин. падежа ср. рода.

[32] Ср. H. Pedersen. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen, København, 1938, стр. 144. Обсуждаемое в этой работе Педерсена сравнение хет. *tep-u-* и др.-инд. *dabh-rá* уточнено в рецензируемой книге (стр. 117—119), где отмечается, в частности, наличие закономерного соотношения между суффиксами **-u* и **-r* в этих словах; ср. замечание о том же в статье рецензента «Происхождение и история хеттского термина *panku* „собрание"» (ВДИ, 1957, 4, стр. 25—26).

[33] О значении этой формы см. также: И. М. Дунаевская, Принципы структуры хаттского (протохеттского) глагола, «Переднеазиатский сборник. Вопросы хеттологии и хурритологии», М., 1961, стр. 67 и 71. С этой формой следует сравнить и именную основу **eshru* с первоначальным значением **«сок» > «слезы», разобранную в статье

ности этого глагола подтверждается, и оказывается возможным связать хеттские глаголы на *-n-u-* с глаголами на *-u-*, которые в хеттском языке сохранились лишь в нескольких изолированных основах, но широко засвидетельствованы в отглагольных именах и неличных формах глагола (на *-uu̯ar*, *-uu̯an*, ср., например, глагол *tarḫ-* «побеждать» и производный от него глагол *tarḫ-u-*, супин *tarḫ-uu̯-an* и т. п., где древность элемента *-u-* подтверждается сравнением с родственными индо-иранскими формами).

В связи с анализом хеттского глагола Бенвенист указывает на наличие точного соответствия хеттской паре соотносительных превербов *pe* : *u* в славянских и балтийских языках (стр. 32—33) [34]. Для индоевропейской лингвистической географии интересны замечания о соотношении индоевропейских корней, отраженных в хет. *nai-* «вести» и *uu̯ate* «приводить» (стр. 33—40); слово, родственное второму из этих глаголов, можно было бы видеть в палайской форме *u̯iteši* (ср. хет. *uu̯ateši* «приводишь») в архаичной молитве, обращенной к богу солнца, встающего из-за моря, где, как и в соответствующей хеттской молитве, вероятно, отразился период, предшествовавший приходу хеттов в Анатолию [35].

Большой раздел книги (стр. 41—65) посвящен исследованию хеттских конструкций с *ḫark-* «держать, иметь», в которых Бенвенисту (путем их синхронного анализа и типологического сравнения с ранней латынью) удалось выделить два типа конструкций: собственно перифрастический перфект и такие конструкции, где *ḫark-* «держать» выступает в сочетании с глаголами, обозначающими сохранение объектом того состояния, в которое он приведен (*tiu̯an ḫark-*«держать положенным» и т. п.). Это можно объяснить тем, что в хет. *ḫark-* (и в раннем лат. *habere*, с которым его сравнивает Бенвенист) соединены две разные функции — грамматическая и лексическая, которые закреплены за двумя разными глаголами в исп. *haber* и *tener*, разговорном англ. *have* и *have got*, япон. *иру* и *моттэ иру* (точно соответствующем по своей семантической структуре англ. *have got*) [36].

Истоки происхождения хеттского перифрастического перфекта следует изучать в связи с историей хеттского пассива, появление которого стало возможным после того, как у глагола * *es-* «существовать, быть истинным» наряду с его лексической функцией, отраженной в производных типа хет. *ašant-* «сущий, истинный», хет. *eš-ri-* «образ», выработалась грамматическая функция связки [37].

Хеттский язык отражает состояние, когда *eš-* уже обладает двумя этими функциями, как и *ḫark-*, но использование *eš-* в функции связки не происходит в настоящем времени, где связка была нулевой (с диахронической точки зрения это является архаизмом, так как хеттские именные предложения в настоящем времени могут восходить к более древнему бессвязочному типу [38]).

В главе, посвященной местоименным окончаниям (стр. 66—67), Бенвенист устанавливает наличие соответствий между хеттскими формами на *-l* и аналогичными лидийскими (стр. 68). Это наблюдение, относящееся к местоименным формам, в настоящее время может быть подкреплено сравнением с родственными именными формами на *-li*, ср. хет. *šiuna-li-*: лид. *ϑiυνα-li* -«божественный» [39], где хет.-лид. *-li-* находит соответствие в лув.

рецензента «Древнеиндийское *asram* „слеза, кровь" и хеттское *ešḫaḫru* „слезы"» («Езиковедски изследвания в чест на акад. Стефан Младенов», София, 1957).

[34] См. о том же в упоминавшейся выше статье рецензента «О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков», стр. 25.

[35] Ср. об этих хеттской и палайской молитвах солнцу в статье рецензента «Очерк истории и культуры хеттов» в кн.: К. В. Керам, Узкое ущелье и черная гора, М., 1962, стр. 185. Общий смысл данной строки палайской молитвы представляется несомненным, но слово *u̯iteši* допускает и другое толкование, предполагающее его родство с индоевропейским глаголом «видеть» (русск. *видеть*), ср. аналогичную по значению форму *uškiši* «смотришь» в хеттском гимне богу солнца.

[36] Ср. также о конструкции *моттэ годзару* в японском языке XIV—XVI вв. в книге: Е. М. Колпакчи, Очерки по истории японского языка, М. — Л. 1956, стр. 99.

[37] О связи истории перфекта и пассива ср.: E. Benveniste, «Être» et «avoir» dans leurs fonctions linguistiques, BSLP, LV, 1, 1960, и работу рецензента «Аналитические глагольные конструкции в клинописном хеттском и других анатолийских языках», «Аналитические конструкции в языках разных типов. Тезисы докладов», Л., 1963.

[38] Ср. G. Neumann, Zeitangebende Parenthesen im Hethitischen, сб. «Indogermanica. Festschrift für W. Krause», Heidelberg, 1960; C. Watkins, Indo-European origins of the Celtic verb. I. The sigmatic aorist, Dublin, 1962, стр. 114, примеч. 4.

[39] Ср. об этих формах: A. Kammenhuber, [рец. на кн.:] J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, «Orientalia», XXXI, 3, 1962, стр. 377. Лидийское ϑ читается как ϑ вслед за Хойбеком и Фридрихом.

maššana-li- «божественный» [40] при параллельном лув.-лик. *-si-*(> лик. *hi*) в лув. *maššanaššī-* «божеский», лик. *mahanahi*. Сравнение с другими анатолийскими языками подтверждает и общеанатолийский характер местоименного элемента *-ed-*, сравниваемого Бенвенистом с древнеиндийским местоимением *-d-* (стр. 74—75), ср. хет. дат.-местн. падеж *ap-ed-an-i* «этому», лув. *ap-at-i*, иероглиф. лув. *(a)p-at-i*. Гипотеза Бенвениста об отражении в хеттском и древнеиндийском древнего местоименного показателя вин. падежа **-u-* (стр. 71) заслуживает пристального внимания исследователей всех тех индоевропейских языков, где (как в балтийских и славянских) тот же элемент **-u-* можно было бы реконструировать в агглютинативных сочетаниях с показателем мн. числа в окончаниях вин. падежа мн. числа на **-ŭ-s* (ср. слав. **-ы*, балт. **-ūs*) [41].

В главе, посвященной основообразованию некоторых числительных (стр. 78—87), Бенвенист отмечает важность того факта, что в хеттском и лувийском языках индоевропейское числительное «четыре» заменено хет. *meu̯a-*, лув. *mau̯a* [42]. В связи с этим Бенвенист замечает, что тем самым числительные исключаются из числа слов, которые устойчивее всех остальных (стр. 82); но такое допущение и раньше было возможно лишь при ограничении материала индоевропейскими языками, ср., например, наличие китайской серии числительных в японском. Поскольку по мере исследования анатолийских языков все более вероятной делается гипотеза об анатолийском характере этрусского (ср. этрусские формы на *-l* с отмеченными выше анатолийскими), представляет интерес гипотеза о возможном отражении числительного, родственного хет. *meu̯a-*, в этрусском *maχ* [43].

Весьма вероятным представляется предположение Бенвениста о том, что хет. *da-* «два» восходит к **d-* без последующего **-w* (стр. 85—86). Рецензент, которому приходилось развивать сходные идеи в лекциях по хеттскому языку, склонен был бы, однако, исходить не из двух параллельных индоевропейских основ **do* и **wo* «два», а из отражения в индоевропейском **d-w-o* (и в названии «20», на которое ссылается Бенвенист) индоевропейского показателя «парности» **-w-*, в свое время реконструированного А. Кюни [44]. В связи с восстановлением прототипа **ter-ŋ-* для хеттского названия «трех» (стр. 87), следовало бы учесть, что это название в настоящее время известно не только в производных типа *teriŋanna-* (где Бенвенист и Уоткинс установили отражение **-ono-*, родственного суффиксу германских причастий на **-ono* и славянских на **-nъ*), но и в форме род. падежа *teriŋaš* «трех» [45].

В главе, посвященной именному словообразованию (стр. 88—106), представляет интерес индоевропейская этимология суффикса *-ašḫa*, который некоторыми хеттологами считался заимствованным [46]. Давно установленное сопоставление хеттского суффикса *-ašti* со славянским *-ость* получает более широкую историческую перспективу благодаря сравнению с балтийскими, армянскими и другими индоевропейскими формами на *-sti* (стр. 89—95)[47].

Рецензент с удовлетворением отметил, что при анализе хет. *u̯eš-tara-* «пастух» в сопоставлении с авест. *vās-tar* (стр. 97—101) Бенвенист пришел к точно тем же выводам, что и автор этой рецензии, относительно отражения в «Авесте» и в хеттских текстах древних индоевропей-

---

[40] Представляется, что данное соответствие позволяет удостоверить словообразовательное сходство хетто-лидийской основы на *-na-*: хет. *šiuna-*, лид. ϑιο (-να)-«бог» и соответствующей лувийско-ликийской (и карийской) основы *maš(a)na-* «бог», заменившей древнее общеанатолийское название «бога» в лувийской группе диалектов (и в карийском — см. В. В. Шеворошкин, Карийский вопрос, ВЯ, 1962, 5, стр. 97—98; его же, О хетто-лувийском характере карийского языка, ВЯ, 1963, 3).

[41] Ср. работу рецензента «Об агглютинации в индоевропейском основообразовании и формообразовании» («Понятие агглютинации и агглютинативного типа языков. Тезисы докладов», Л., 1961, стр. 26).

[42] Такое же числительное следует предположить и в иероглифическом лувийском, так как иероглифический лувийский знак, читающийся как *m* (*ma*, *mi*), представляет собой четыре вертикальные черты (||||), т. е. знак для числительного «четыре», ср. E. Laroche, Les hiéroglyphes hittites.

[43] См. E. P. Hamp, Etruscan *maχ* «4»?, «Glotta», XXXVII, 3/4, 1958.

[44] A. Cuny, Études prégrammaticales sur le domaine des langues indo-européennes et chamito-sémitiques, Paris, 1924.

[45] J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, 2 Ergänzungsheft, s. v. *teri*.

[46] См. J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, 2 Aufl., стр. 39. Представляется возможной связь с этим сложным суффиксом (*aš-ḫa*) лувийского суффикса отвлеченных имен *-ḫi-t-* (с типичным для лувийского переходом в тип основ на *-i*).

[47] Ср. о том же в статье рецензента «О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков», стр. 19.

ских скотоводческих представлений [48]. В настоящее время рецензент считал бы нужным дополнить эту картину ссылкой на общее для хеттов и индо-иранских племен представление о загробном мире как «пастбище» (хет. *ueši-*) [49], что хорошо согласуется с изображением бога в качестве «пастуха» (хет. *ueš-tara-*).

Для исследования хеттской и индоевропейской терминологии родства большой интерес представляет данный Бенвенистом анализ хет. *išḫanitaratar* «кровное родство» (стр. 101—102), где сочетание двух индоевропейских суффиксов **-ter* напоминает о словах типа лат. *ma-ter-tera* «тетка по матери», в свое время проанализированного Бенвенистом (вместе с тем, если первое *-tara* в этом слове действительно соответствует *-tara-/-talla-* в именах деятеля, то все слово с целом по своей структуре аналогично *uškiškatalla-tar* «охрана» от *uškiškatalla-* «часовой»). Можно думать, что и некоторые другие индоевропейские термины родства со временем могут быть обнаружены в хеттском: так, индоевропейское название свойства по мужской линии (лат. *gener* «зять» и т. п.), об отсутствии которого в анатолийских языках часто пишут специалисты по этим языкам [50], очевидно, отражено в хетт. *gaena-* «свойственник» [51].

Для доказательства именного происхождения хеттских превербов-наречий (выступающих так же и как послелоги) наряду с другими фактами важно и то, что образующиеся от них прилагательные на *-zzi* соответствуют нормам индоевропейского именного словообразования (стр. 102—105). При изучении этой группы слов Бенвенист ошибочно полагает, что эти прилагательные в хеттском имеют только местное значение в отличие от других языков, где родственные формы обозначают отношения «не в материальном пространстве, а в абстрактном поле общества» (стр. 103). Точно такое же значение засвидетельствовано уже в древнехеттских текстах XVII—XVI вв. до н. э. у хет. *ḫantezziya-*, означающего «первый, главный» в сочетании *ḫantezziyaš* ÌR «первый подданный» (хетто-аккадское «завещание» Хаттусилиса I, ч. III, 39; документ Телепинуса, ч. I, 64—65). В древнехеттских текстах, в особенности в документе Телепинуса (ч. II, 10; 36; 37; 38) *ḫantezziya-* часто употребляется в значении «перворожденный, первенец, старший»; в законе Телепинуса о престолонаследии *ḫantezziya-* употребляется в качестве постоянного термина для обозначения старшего из сыновей и старшей из дочерей. Таким образом, в хеттском отражено то же значение суффикса **-tio-*, что и в других индоевропейских языках.

Спорным представляется повторяющееся во многих местах книги (стр. 92, 105, 122) утверждение о том, что в хеттском языке отсутствовал суффикс отвлеченных имен **-ti* (что использовано Бенвенистом для опровержения индоевропейской этимологии хет. *tuzzi* «войско»). Думается, что с этим суффиксом должен быть связан суффикс орудий действия **-u-ti* > *-uzzi* (ср. известную семантическую закономерность, по которой суффиксы отвлеченных имен обычно исторически связаны с суффиксами орудий действия). Вместе с тем обнаружение в лувийском и палайском языках суффикса *-til*, соответствующего хеттскому суффиксу имен действия на *-zil-*, заставляет видеть в этом суффиксе комбинацию **-ti-l*. В связи с этим хеттское имя действия *taiazil* «воровство, кража» от основы *taia-*, семантическое сходство которой со старославянским *ТАТЬ*, ирл. *taid* отмечается Бенвенистом (стр. 116), представляется возможным сравнить с этими производными на **-ti* [52].

Из новых этимологий, которым посвящена последняя глава книги (стр. 107—131), особенно интересно установление связи между хет. *ara* «благо» (в ритуальном смысле) и *ara* «товарищ» и сходными терминами, занимающими ключевое положение в древней индо-иранской лексике (стр. 108—110). Сравнение кучан. *māk* «многий» и хет. *mekki* с тем же значением (стр. 112) принадлежит к числу тех многочисленных отмеченных выше совпадений, которые рецензент с удовлетворением обнаружил в этой книге и своих собственных статьях [53]. Глагол *tar-*

---

[48] См. об этих хеттских и авестийских текстах статью рецензента «Социальная организация индоевропейских племен по лингвистическим данным» стр. 51 (=«L'organisation sociale des tribus indo-européennes d'aprés les données linguistique», «Cahiers d'histoire mondiale», V, 4, 1960, стр. 799—800).

[49] См. H. Otten, Hethitische Totenrituale, Berlin, 1958, стр. 139; В. Н. Топоров, Хеттская SALŠU. GI и славянская баба-яга, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения [АН СССР]», М., 1963, стр. 35, примеч. 27.

[50] Ср., например: R. Gusmani, Kleinasiatische Verwandtschaftsnamen, «Die Sprache», VIII, 1, 1962, стр. 78, примеч. 7.

[51] Ср. уже A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire etymologique de la langue latine, 3-e ed., Paris, 1951, I, стр. 480 (эта бесспорная этимология осталась незамеченной почти всеми хеттологами).

[52] Сравнение хет. *taiazil*<**taitil* со ст.-слав. *ТАТЬ* подтверждает возведение последнего к ** tāiti*, ср. W. Vondrak, Vergleichende slawische Grammatik, I, Göttingen, 1924, стр. 100 (§ 621).

[53] См. о соответствии кучан. *māk*: хет. *mekki* в статье рецензента «Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследования индо-

«говорить, называть», индоевропейская этимология которого установлена Бенвенистом (стр. 119—122, где указывается семья слов, в которую входит русск.: *тараторить*), включается в большую группу хеттских глаголов говорения, имеющих индоевропейскую этимологию: *mema-* «говорить», *ueriia-* «звать», *kalleš-* «звать», *te-* «говорить», *lamniia-* «называть». Очевидное сравнение хеттского глагола *up-* «подниматься» с наречиями, восходящими к **up(o)* (стр. 125), представляет большой интерес для исследования происхождения индоевропейских наречий (ср. выше о производных типа *ḫantezziia-*). При исследовании этимологии хет. *a-* «быть горячим» (стр. 106) следует иметь в виду, что хеттское написание форм, образованных от этой основы, предполагает произношение ** aḫ-*, согласующееся и с данными других индоевропейских языков.

европейских языков» (сб. «Тохарские языки», М., 1959, стр. 36).

Для исследования контактов между древними культурами Передней Азии и Европы, посредниками между которыми были хетты, весьма увлекательно исследование Бенвениста об отражении хуррит-ской терминологии металлургии в классических языках (стр. 126—131), заканчивающее книгу.

Книга Э. Бенвениста, написанная в духе сборников исследований А. Мейе по отдельным индоевропейским языкам, заслуживает столь же высокой оценки, как и труды Мейе, и может быть с пользой прочитана не только хеттологами, но и всеми, кто интересуется сравнительно-историческим и общим языкознанием. Хотелось бы пожелать, чтобы в ближайшее время сборник избранных сочинений Э. Бенвениста, по праву считающегося крупнейшим лингвистом Западной Европы, был бы издан и на русском языке.

Вяч. В. Иванов

Fr. Kopečný. **Slovesný vid v češtině.**—Praha, 1962. 144 стр. («Rozpravy ČSAV»,72, 2)

«Глагольный вид в чешском языке» Фр. Копечного представляет собой описание системы чешского глагола, прежде всего грамматической категории вида и перекрещивающейся с ней категории времени. Автор не пытается решить вопросы, связанные с происхождением славянского глагольного вида, хотя и считает их важными для синхронного описания. Исследование Фр. Копечного распадается на 6 глав, каждая из которых может иметь самостоятельное значение. Указанная работа с известными уточнениями и дополнениями впитала в себя ранее опубликованные статьи и разделы из общих работ, свидетельствующие о серьезном изучении Фр. Копечным не только глагольного вида, но и ряда смежных вопросов.

Новое исследование о виде чешского глагола касается различных аспектов этой категории: характера и объема значения глагольного вида, употребления совершенных и несовершенных глаголов в формах различных времен и наклонений, вопросов образования перфективных, имперфективных и фреквентативных глаголов, взаимоотношения вида и времени, вида и способа глагольного действия, грамматической и лексической характеристики средств выражения перфективности и имперфективности.

В I главе рецензируемой работы автор дает определение понятия глагольного вида, устанавливает «видовые классы» чешского глагола с учетом их грамматических и смысловых различий, освещает ряд смежных вопросов (терминативность — детерминативность, актуальность — неактуальность и др.). Глагольным видом Фр. Копечный называет, с одной стороны, различия типа *dělat—udělat*, *psát — napsat..*, *vydělat — vydělávat*, *upsat — upisovat...*, с другой — различия типа *dělat — dělávat*, *psát — psávat*, *chválit — chvalívat*, (*vydělávat — vydělávávat*, *zapisovat — zapisovávat*). Таким образом, категория глагольного вида складывается из двух рядов противопоставлений: противопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида (*dělat—udělat*) и противопоставление глаголов несовершенного вида и многократных глаголов (*dělat — dělávat*).

При характеристике основного видового противопоставления «совершенности — несовершенности» Фр. Копечный в целом следует известному определению, согласно которому маркированным членом корреляции является глагол совершенного вида, выражающий действие целостное, замкнутое или действие как факт, в то время как глаголы несовершенного вида в этом отношении являются неохарактеризованными.

Вслед за С. Карцевским Фр. Копечный считает, что наиболее точным выражением взаимоотношения категорий вида и времени является отсутствие у глаголов совершенного вида временной перспективы [1]; к надежным формальным показателям несовершенности он относит способность глаголов несовершенного вида находиться после фазовых глаголов и после глагола *budu* (т. е. иметь описательный футурум).

[1] Ср. S. Karcevski, Système du verbe russe, Prague, 1927, стр. 149 и сл.

Обширная II глава работы Фр. Копечного посвящена описанию значений форм презенса от имперфективных, перфективных, многократных, двухвидовых и прочих глаголов в их прямом употреблении и при транспозиции. Основной функцией рассматриваемых форм считается выражение вневременного, неактуального действия. Неактуальность в презенсе сливается с атемпоральностью. У глаголов несовершенного вида вторым основным значением является значение актуального настоящего, у глаголов совершенного вида — футуральное значение, причем вневременное значение перфективных глаголов не является следствием транспозиции их футурального значения. Многократные глаголы могут выражать только неактуальное настоящее. Признавая вид категорией грамматической, Фр. Копечный обращает внимание на тесную связь вида и времени, выражающуюся в том, что формы глаголов разных видов (и видовых классов) имеют различное временное значение (стр. 5, 26). Приводятся и семантические доказательства грамматического характера вида. Фр. Копечный подчеркивает, что различия временного характера представлены не только между типом *dělat — udělat*, но и между типом *dělat — dělávat*, что позволяет автору работы говорить о третьем, многократном виде.

В III главе работы описываются различия в употреблении глаголов совершенного и несовершенного вида в пределах претерита, императива, футурума, инфинитива, причастия, деепричастия, сослагательного наклонения и других глагольных форм.

IV глава исследования Фр. Копечного показывает специфические черты видовой системы чешского глагола на широком фоне видовой системы других славянских языков. К особенностям чешской видовой системы Фр. Копечный относит употребление имперфектива типа *dělávat*, употребление некоторых типов дистрибутивных глаголов, своеобразное значение презенса глаголов совершенного вида типа *ponesu*, равное футуральному значению глаголов несовершенного вида (*ponesu = budu nésti*), специфическое распространение двухвидовых глаголов и др.

V глава посвящена описанию морфологических средств выражения видовых отношений. Исходным является утверждение, что глагольная деривация (за редким исключением) имеет грамматический характер. Имперфективация (за исключением суффикса *-nou-*) выполняет в языке грамматическую функцию, префиксация имеет или чисто грамматическую (на что хотя бы указывает собственно грамматический характер депрефиксации), или лексико-грамматическую функцию. Фр. Копечный устанавливает следующие критерии перфективирующей функции приставок: 1) отсутствие факта и практической необходимости имперфективной деривации, 2) равнозначность непарного имперфектива с простым. Так, например, глаголы *ušít, udělat, uvidět, uvařit* являются чисто перфективными параллелями соответствующих имперфективов *šít, dělat, vidět, vařit*, так как приставочные перфективы не обнаруживают никакого добавочного семантического изменения по сравнению с исходным имперфективом и так как секундарные имперфективы типа *uslyšovat, uvid'ovat* и пр. отсутствуют. Правда, Фр. Копечный при этом указывает, что препятствием для дальнейшей деривации может быть не только отсутствие необходимости в производстве секундарного имперфектива, но и причины чисто формального характера: несочетаемость некоторых основ с суффиксами имперфективации (например, *-nou-*), необходимость их фонетических модификаций.

Признавая видовыми парами только глаголы, не отличающиеся по значению, Фр. Копечный указывает причины, препятствующие чисто видовой соотносительности: наличие дополнительных оттенков значения, различие в управлении (*želet ceho — oželet co*), выражение разных залоговых отношений (переходность и непереходность, возвратность и невозвратность), различная характеристика протекания действия (ср. *churavět* «быть в состоянии болезни, болеть» и *ochuravět* «заболеть, вступить в это состояние»), отнесенность к различным стилистическим пластам и др. При описании типов корреляций устанавливаются главным образом двучленные корреляции. Представляло бы также большой интерес установление различных типов многочленных корреляций и выявление грамматических и семантических отношений внутри этих корреляций.

Последняя, VI глава работы содержит грамматическую и лексическую характеристику глагольных префиксов по линии убывания в них конкретного значения.

*

Монография Фр. Копечного «Глагольный вид в чешском языке» — итог многолетних и серьезных размышлений над видовой системой современного чешского глагола. Работа богата выводами, новыми соображениями, материалом. Однако некоторые общие выводы работы не представляются бесспорными. Наши сомнения касаются: 1) определения объема значения глагольного вида; 2) характера противопоставления «простые имперфективы — многократные глаголы»; 3) первичных и вторичных функций форм презенса; 4) вопроса о чисто перфективизующей роли приставок.

В обширной литературе, посвященной глагольному виду в славянских языках, неоднократно высказывалась мысль о необходимости отграничения способов

глагольного действия (Aktionsarten), в частности многократности,-от категории вида (С. Агрель, А. В. Исаченко, Ю. С. Маслов, А. Мазон и др.). В книге Фр. Копечного многократность оказалась включенной в понятие глагольного вида, что свидетельствует о большой сложности этого вопроса. Признание связи способов глагольного действия и вида позволило Фр. Копечному включить в понятие глагольного вида не только противопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида, но и противопоставление многократных глаголов глаголам несовершенного вида, выделив внутри грамматической категории вида три видовых класса (*udělám — dělám — dělávám*). Включение многократности в категорию вида определяется у Копечного прежде всего тем, что многократные глаголы обозначают в презенсе неактуальное настоящее. Этому же способствует и признание регулярного характера противопоставления «многократные глаголы — имперфективы», а также признание парадигматичности форм многократных глаголов[2].

Требует проверки и уточнения положение о том, создают ли многократные глаголы регулярное противопоставление действию простому несовершенному и является ли данное противопоставление более парадигматичным, чем противопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида, как об этом говорит Фр. Копечный (стр. 106). Общепринятым является мнение, что возможности образования многократных глаголов в чешском языке почти не ограничены[3]. Однако проверка материала показала, что при производстве многократных глаголов существуют ограничения, которые снимают категорическое утверждение о регулярном характере указанного противопоставления. К числу наиболее существенных относятся ограничения семантические — многократных образований не имеют все глаголы, выражающие изменение состояния (ср. *hasnouti*, *hloupnouti*, *mládnouti*, *mohutněti*, *hubeněti*, *šedivěti*, *bahniti se*, *chátrati* и др.), что вполне естественно: значение раздельно-кратной повторяемости, являющееся общим значением многократных глаголов, несовместимо со значением постепенного, непрерывного перехода из одного состояния в другое. У глаголов на *-nou-* семантические ограничения находят поддержку и со стороны формы, однако в отдельных случаях от глаголов на *-nou-* других семантических групп многократные образования возможны (ср. *mrzávalo — mrznouti*)[4]. Многократных образований очень мало и у продуктивной, постоянно пополняющейся группы глаголов со значением «быть кем-либо, выполнять какие-либо функции, заниматься какой-либо деятельностью». Ср. *ministrovat* «быть министром, исполнять обязанности министра», а также: *profesorovat*, *řediteloval*, *správcovat*, *pekařit*, *včelařit* и т. д. Весьма ограничена возможность многократных образований у глаголов со значением «вести себя так, как на это указывает производящая основа простого имперфектива»: *papouškovat* «попугайничать» (т. е. «вести себя, как попугай»), *švejkovat*, *lajdačit*, *chytračit* и др. Многократных образований не имеет большая часть глаголов со значением модальности, способности к действию и некоторые другие группы глаголов. Отдельные примеры многократных образований у глаголов этих групп характеризуют, как правило, индивидуальное употребление (за исключением *chtívati*, *musívati*).

В плане структурном существенны ограничения, налагаемые характером основы глаголов на *-nou-* (типа *tonouti*), а также глаголов, основа которых равна корню на согласный (иногда на гласный). Ср. *moci*, *mříti*, *hnísti*, *kláti*, *másti*, *têci* (**têkati*), *vlêci* (**vlêkati*) и др. Исключение представляет группа глаголов движения, имеющая параллельные ряды образований глаголов определенного и неопределенного движения (типа *nêsti — nositi*).

При производстве многократных глаголов небезразличен и тот факт, является ли исходный глагол несовершенного вида простым бесприставочным или приставочным. Основным типом противопоставления в чешском языке является противопоставление «простой имперфектив — многократный глагол». Соотношение «приставочный имперфектив — многократный глагол» представлено большей частью глаголами движения (*přicházívati*, *přinášívati*, *doprovázívati*). Для прочих приставочных имперфективов «Словарь чешского литературного языка»[5] редко указывает на наличие многократных образова-

[2] Того же мнения придерживается Ю. С. Маслов, который считает возможным даже говорить о многократном виде. См. вступительную ст. Ю. С. Маслова, «Вопросы глагольного вида в современном зарубежном языкознании» в сб. «Вопросы глагольного вида», М., 1962, стр. 12.

[3] Ср. A. Dostál, Studie o vidovém systému v staroslověnštině, Praha, 1954, стр. 480. Фр. Копечный указывал на некоторые структурные ограничения: многократные глаголы не образуются от глаголов на *-nouti* (типа *tonouti*); см.: Fr. Kopečný, Základy české skladby, Praha, 1958, стр. 105; его же, Slovesný vid v češtině, стр. 106. Ср. также: А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким, ч. II, Братислава, 1960, стр. 273.

[4] См. «Příruční slovník jazyka českého», Praha, 1935—1957.

[5] «Slovník spisovného jazyka českého», I, A — M, Praha, 1960.

ний; их мало и в литературных примерах.

Возможности образования многократных глаголов находятся также в зависимости от степени употребительности и сферы функционирования исходного имперфектива. Так, глаголы, характеризующиеся принадлежностью к профессиональной лексике, функционирование которых происходит в определенных рамках, многократных форм почти не имеют. Многократных образований очень мало и у глаголов иностранного происхождения. Причина этого заключается не только в их принадлежности к специальным сферам лексики, но и в особенностях их структуры (многосложность, необходимость удвоения суффикса *-va-*), а также в грамматических особенностях многократных глаголов. Многие из этих глаголов двухвидовые. Комплексность грамматического значения, обусловленная двухвидовостью многократных глаголов, допускает образование многократных форм в том случае, когда исходный глагол имеет значение более или менее конкретного действия. Поэтому на 560 глаголов иностранного происхождения, извлеченных из I тома «Словаря чешского литературного языка», только у 9 глаголов с конкретной семантикой указаны многократные образования.

Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что многократные образования в чешском языке не во всех случаях обнаруживают лексическое тождество с производящими имперфективами. Большей частью многократные глаголы соотносятся с наиболее конкретным, прямым, нецереносным значением исходного глагола. Сама возможность образования многократных глаголов, имеющих отвлеченное значение, более ограничена, чем от глаголов конкретного, физического действия или состояния. Наконец, о нерегулярности и неустойчивости противопоставления «имперфективы — многократные глаголы» свидетельствует и тот факт, что почти все многократные глаголы свободно заменяются соответствующими имперфективами в контексте, который требует обнаружения значения многократности, и наряду с имперфективами употребляются в одних и тех же синтаксических конструкциях, с одинаковой смысловой и грамматической нагрузкой. Ср.: *Začasté* ***chodila*** *babička s dětmi na delší procházky* и *...jeho hospodyně* ***chodívala*** *začasté k nám* (B. Němcová).

Признавая асимметрический характер противопоставления «имперфективы — многократные глаголы» и возможность употребления беспризнаковой категории (имперфективы) в значении соответствующей признаковой категории (многократные глаголы), мы должны тем не менее сказать, что у собственно грамматических категорий подобное замещение весьма ограничено [6]. В замещении маркированных многократных глаголов беспризнаковыми имперфективами можно усмотреть не только процесс конкуренции, в которой победителем оказывается немаркированный член корреляции, но и факультативность немаркированной категории, что является подтверждением уже высказанного мнения о нерегулярном и неустойчивом характере рассматриваемого противопоставления.

Противопоставленность многократных форм соответствующим имперфективам неодинаково осуществляется в различных временах и наклонениях. Бо́льшая часть примеров относится к прошедшему времени, меньшая — к настоящему. В прочих формах многократные глаголы встречаются редко. По мнению Фр. Копечного, это отражает естественную частоту употребления многократных форм. Однако материал указывает и на непоследовательность противопоставления, особенно ярко обнаруживающую себя в формах непрошедших времен.

Таким образом, указанные ограничения при производстве многократных глаголов, а также их неполная противопоставленность в пределах существующих форм противоречат утверждению о полной парадигматичности форм многократных глаголов и о регулярной противопоставленности в чешском языке действия подчеркнуто многократного простому несовершенному действию.

Вопрос о характере категории многократности и об ее отношении к категории вида также заслуживает более подробного рассмотрения. Сопоставляя отношение глаголов совершенного и несовершенного вида с отношением «имперфективы — многократные глаголы», следует присоединиться к мнению А. Достала, что оба отношения являются совершенно самостоятельными [7].

Очевидно, что указанные типы отношений находятся на разных уровнях. Грамматическое противопоставление совершенного — несовершенного вида представляет собой абстрагированное представление о протекании глагольного действия, обозначаемого лексически тождественно, в то время как второе отношение базируется на модификации значения исходного глагола. Правда, Фр. Копечный подчеркивает, что сама по себе многократность наряду с фазовостью, интенсивностью и другими способами глагольного действия является предметом словаря, а не грамматики и что многократность входит в категорию вида своей другой стороной — неактуальностью выражаемого в настоящем времени действия. Поскольку Фр. Копечный считает, что вид является грамматической категорией

[6] Ср. M. Dokulil, K otázce morfologických protikladů, SaS, XIX, 2, 1958.

[7] A. Dostál, указ. соч., стр. 481.

благодаря перекрещиванию с категорией времени, постольку и многократные глаголы, выражающие неактуальное настоящее, имеют, по его мнению, иное (см. стр. 5) временнóе значение. Действительно, выражение неактуального настоящего является единственной функцией многократных глаголов в формах презенса. Однако неактуальное настоящее может быть выражено имперфективами (*dělá*) и даже перфективами (*udělá*); следовательно, маркированные многократные глаголы выражают не особое временнóе значение, а лишь морфологически оформляют то значение, которое, по утверждению Фр. Копечного, является общим для всех основных презентных форм.

Основное грамматическое значение категории должно проходить через всю систему форм. Однако значение неактуальной многократности, например, в формах прошедшего времени растворяется в ряде значений, часто зависящих от конкретной семантики глаголов и от контекста. Таким образом, о выражении неактуальности как грамматического значения можно говорить лишь применительно к настоящему времени. Служит ли это достаточным основанием для включения неактуальной многократности в грамматическую категорию вида? Мало вероятно. Скорее можно говорить о грамматикализации значения многократного способа действия в формах настоящего времени. Способы глагольного действия не остаются в стороне от взаимодействия с грамматическими категориями и от выражения видовых и даже временных значений. Следствием указанного взаимодействия является их грамматикализация, что, однако, не дает права включать их в грамматическую категорию вида.

Дополнительных доказательств требует также выдвинутое Фр. Копечным положение о том, что главным, основным значением презентных форм является значение вневременного, неактуального настоящего. То обстоятельство, что все три презентные формы (*udělá*, *dělá*, *dělává*) объединены этим значением, не является свидетельством того, что данное значение является основным. На материале русского языка А. В. Бондарко убедительно показал, что главным следует считать то значение, которое не требует специальных условий контекста[8]. Видимо, прав Г. Горак в том, что вневременная функция действий опирается на их актуальную значимость и что поэтому основной функцией глаголов несовершенного вида является выражение актуального настоящего[9].

После работ Ю. С Маслова и А. В. Исаченко, плодотворно развивших идеи, выдвинутые еще С. Карцевским, трудно согласиться с тем, что префиксация может иметь чисто грамматический характер. Названные авторы убедительно показали, что в целом префиксация служит средством образования новых значений, грамматический же момент здесь является вторичным, сопутствующим. В работе Фр. Копечного отсутствует принципиальное разграничение между имперфективацией как чисто грамматическим процессом и перфективацией, которая, по Копечному, может быть грамматической или лексико-грамматической. Нет сомнения в том, что префиксация всегда связана с перфективацией (кроме *po-*), но влечет ли она за собой создание соотносительных видовых пар, в работе Фр. Копечного показано недостаточно. Критерий установления грамматической функции приставок у Фр. Копечного в известном смысле является взаимоисключающим. Так, критерий семантической равнозначности вторичного имперфектива с простым как бы нейтрализует действенность критерия отсутствия потребности в дальнейшей имперфективации, поскольку, как это показал сам Фр. Копечный, образование вторичного имперфектива и при отсутствии необходимости может произойти под воздействием словообразовательной системы: более продуктивные словообразовательные модели начинают вытеснять менее продуктивные. Применимость второго критерия также чрезвычайно ограничена, ибо, как правило, вторичные имперфективы имеют свои оттенки значений, сфера их употребления имеет известные ограничения (смысловые и стилистические). Правда, заслуживает внимания процесс образования глаголов несовершенного вида путем депрефиксации (*zesmutněti* — *smutněti*), отмеченный Фр. Копечным в качестве доказательства чисто грамматического значения приставки; однако остается неясным, насколько он продуктивен в современном языке и можно ли его включить в число синхронных средств видового словообразования чешского глагола.

Исследование о глагольном виде Фр. Копечного в целом, несомненно, активизирует дальнейшую разработку этого сложного вопроса. Книга ценна как своим материалом, тонкими наблюдениями, глубиной анализа, так и тем, что она составляет поле для дальнейших размышлений.

А. Г. Широкова

---

[8] Ср. А. В. Бондарко, Система глагольных времен в современном русском языке, ВЯ, 1962, 3, стр. 27—34.

[9] G. Horák, František Kopečný. Slovesný vid v češtině, «Jazykovědný časopis», XIII, 2, Bratislava, 1962, стр. 187.

«Materiały do słownika terminów budownictwa staroruskiego X-XV w.», opracował A. Poppe.—Wrocław — Warszawa — Kraków, Wydawnictwo PAN, 1962. XXIV +96 стр.

Книга А. Поппе «Материалы для словаря древнерусского строительного дела X—XV вв.» рассчитана прежде всего на специалистов по истории материальной культуры славянства. Однако эта книга является также существенным вкладом в изучение древнерусской терминологической лексики, и, следовательно, представляет собою значительный лексикографический труд.

В «Материалах для словаря» А. Поппе содержится около пятисот словарных статей, в которых толкуется значение различных терминов строительного дела: среди них названия жилых, хозяйственных и общественных построек, оборонительных сооружений, названий орудий труда, строительных материалов, производственных процессов, названия профессий ремесленников-строителей и т. д.

Составитель считает свой словарь «продолжением труда Г. Е. Кочина» (имеются в виду «Материалы для терминологического словаря древней России», выпущенные Г. Е. Кочиным в 1937 г.). Но А. Поппе значительно расширил круг источников, заново пересмотрел большую часть памятников, использованных в труде его предшественника. В результате словник «Материалов для словаря» А. Поппе полней, а количество отмеченных употреблений отдельных терминов больше, чем в «Материалах» Г. Е. Кочина.

Словарные статьи содержат обильный иллюстративный материал (до 8—12 цитат в статье), а также «глухие ссылки», указывающие на употребления данного термина в различных памятниках. Кроме того, почти каждая статья сопровождается указаниями на другие словарные статьи, цитаты в которых также содержат толкуемое слово. Благодаря этому, без увеличения объема словаря, иллюстративный материал порой удваивается. Так, слово *изба* иллюстрируется 6 цитатами в самой статье и 10 цитатами в статьях на другие слова. Как положительную черту «Материалов» следует отметить и стремление составителя показать употребление каждого термина в широком, достаточно ясном контексте. Удобны для пользующихся «Материалами» перекрестные ссылки, связывающие статьи, в которых рассматриваются тематически близкие или синонимичные термины. Правда, система таких ссылок не везде выдержана. Почему-то не соотнесены статьи *поруб*, *темница*, *узьница*.

Семантическая характеристика терминов в основном не вызывает возражений. Жаль только, что составитель отказывается от установления системы значений полисемантических слов: в толковании указываются подряд все возможные их значения. Например: *вежа* «вежа осадная, башня, жилое строение легкой конструкции».

Труд А. Поппе не лишен, к сожалению, и некоторых других недостатков. В одной статье составитель объединяет несколько слов (помимо основного термина, его фонетические и орфографические разновидности, производные от него слова, однокоренные синонимы) и перечисляет их в заголовке статьи: *ворота* (*врата*, *воротца*, *воротища*); *доска* (*дъска*, *дьска*, *дъщица*, *дъщан*), *изба* (*истъба*, *истьба*, *истобка*, *истопка*); *покрыти* (*перекрывати*, *прикрыти*) и т. д. Специфика словаря допускает такой прием, но иногда составитель им злоупотребляет. Так, в статье *дертица* приведена цитата на слово *драница*. Это последнее не указано в заголовке статьи, а содержится лишь в польском переводе-толковании. Не вынесено в заголовок и слово *елов*, цитата с которым иллюстрирует статью на слово *елинь*.

Впечатление от работы портят и многочисленные опечатки в цитатах. В статье *изба* с ошибками цитируется «Повесть временных лет» (*пришедъшем* вместо *пришедъшим*, *истобьку* вместо *истобъку*, *от двереи* вместо *от дверии* и др.), в статье *рогалие* вместо «и другу моему опочивающю перед пещерою» напечатано «а другу моему опочивающи перед пещерою» и т. д.

Отдельные опечатки попали даже в заголовок словарной статьи (*гостинница* вместо *гостиница*) и ссылки (ошибочное написание слова *тюрьма* в статьях *поруб* и *темница*).

В цитировании критических изданий источников А. Поппе не всегда последователен: он то воспроизводит исправления, предложенные издателями, то, напротив, цитирует только основной текст (см., например, цитату из «Повести временных лет» в статье *плотник*). Имеются ошибки и в указаниях на источники. Так, в статье *ропата* цитируется Ипатьевская летопись, а ссылка дана на «Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку.

Но все эти недосмотры не портят общего благоприятного впечатления от очень нужной ученым разных специальностей и в основном добросовестно исполненной работы польского ученого.

О. Творогов

№ 4 1963

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О ПОДГОТОВКЕ СЛОВАРЯ СТАРОГО БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА

Первые попытки лексикографической обработки словарного состава древних белорусских памятников относятся к середине XIX в. В 1853—1857 гг. белорусский филолог И. Носович по заданию II Отделения Российской Академии наук составил словарь к пятитомному собранию белорусских документов, изданных Археологической комиссией в 1846—1853 гг. под названием «Акты, относящиеся к истории Западной России». Словарь предназначался служить пособием для изучающих указанные акты, чем и объясняются некоторые особенности его структуры. В него преднамеренно не была включена лексика, сохраняющаяся в русском языке от древности без существенных семантических и структурных изменений. В словаре содержится около 12 000 слов, которые, по мнению составителя, требовали объяснения с точки зрения русского читателя. Каждое значение слова иллюстрируется примерами из актов с точной паспортизацией их. Реестровые слова сопровождаются грамматической характеристикой, а в некоторых случаях даются указания на сферу употребления и сведения об этимологии слов.

Для оценки этого труда И. Носовича Академией наук была создана специальная комиссия в составе академиков А. Х. Востокова, И. И. Срезневского и М. А. Коркунова. Комиссия положительно отозвалась о словаре и рекомендовала его к печати. Словарь был отмечен высшей наградой того времени — полной Уваровской премией за 1865 г.[1]. Однако эта ценная для своего времени работа впоследствии оказалась забытой и ей не суждено было увидеть свет[2].

В 1871—1872 гг. И. Новицким был опубликован небольшой «Справочный словарь актового языка Юго-Западной России»[3]. В нем дано толкование около 600 юридических терминов старой деловой белорусско-украинской письменности. В это же время появился известный «Словарь древнего актового языка Северо-Западного края и Царства польского» Н. Горбачевского (Вильно, 1874). Словарь содержит объяснения преимущественно латинских и польских терминов, которые, как поясняет составитель, отсутствуют в обычных польских и латинских словарях. Кроме того, здесь приводятся энциклопедические сведения о правительственных учреждениях, должностных лицах, метрологии и ремесле Белоруссии эпохи средних веков[4].

Некоторые материалы по объяснению белорусских слов имеются в приложениях к изданиям отдельных памятников старой белорусской письменности. В этом отношении особенно выделяются издания и исследования Е. Ф. Карского, который почти каждую свою работу по старому белорусскому языку снабжал списком и объяснением более или менее примечательных слов.

Необходимость подготовки полного словаря старого белорусского языка уже давно осознавалась исследователями, но практические шаги в этом направлении были предприняты только в 20-х годах нашего столетия, когда научное изучение белорусского языка приобрело организованный и целенаправленный характер. В Институте белорусской культуры, где в то время концентрировалась исследовательская работа по белорусской филологии, была создана специальная комиссия по составлению исторического словаря белорусского языка. Комиссия разработала основные принципы построения словаря и начала подготовку картотеки. Как можно заключить из опубликованных материалов[5], составители в основу своей

---

[1] См. «Отчет о восьмом присуждении наград графа Уварова», «Зап. Имп. Акад. наук», VIII, 1, СПб, 1865, стр. 4—6.

[2] В настоящее время рукопись словаря хранится в рукописном отделе библиотеки АН СССР в Ленинграде (34.2.11).

[3] «Университетские известия», [Киев], 1871, 8 и 1872, 3.

[4] Оценка этого словаря дана Н. П. Барсовым в рецензии, опубликованной в «Отчете о восемнадцатом присуждении наград графа Уварова 25 сентября 1875 года» (СПб., 1876).

[5] См. О. В. Воўк-Левановіч, Аб прынцыпах і метадах укладання гістарычнага слоўніка беларускай мовы, «Зап. аддзела гуманітарных навук. Працы класа філалогіі», II, 9, Мінск, 1929.

работы положили принципы и методы, принятые польскими языковедами при подготовке старопольского словаря и изложенные в статьях Я. Лося [6]. Однако эта работа была прекращена в начальной своей стадии вследствие репрессий в период культа И. В. Сталина.

Вопрос о подготовке словаря старого белорусского языка вновь стал на повестку дня четыре года назад. На двух заседаниях сектора истории языка Института языкознания имени Якуба Коласа АН БССР было проведено обсуждение общих принципов построения словаря, установлены ориентировочные сроки работы по этапам, определены хронологические рамки словаря и его источники. От первоначальных предложений подачи в словаре частотной характеристики слов и сопровождения словарных статей каталогом всех засвидетельствованных памятниками грамматических форм пришлось отказаться, ибо осуществить все это практически не под силу сравнительно небольшому коллективу сотрудников, которые работают над словарем. По этой же причине было отвергнуто и предложение создать несколько словарей по узким условным периодам, например, по столетиям. Словари такого типа имеют несомненные преимущества теоретического характера, однако общая сумма творческих и материальных затрат при подготовке нескольких словарей была бы значительно большей, чем при составлении одного общего словаря.

Определение хронологических рамок словаря не составляет принципиальных трудностей. Он будет охватывать период от XIV до XVIII в. Именно к XIV в. относится появление грамот, в которых древнерусская лексика явственно выступает в белорусском фонетическом облике. Разнообразная же в жанровом отношении письменность на белорусском языке относится к концу XV в. и продолжается до середины XVII в. Памятники этого периода и будут основными источниками словаря. При подготовке картотеки предполагается также использовать интермедии и диалоги на белорусском языке в польских школьных драмах XVII—XVIII вв.

На данном этапе работы над словарем наибольшую трудность составляет определение источников словаря. Своеобразие истории белорусского языка заключается в том, что древняя белорусская письменность развивалась в условиях литературного двуязычия и даже многоязычия. В начальный период самостоятельного существования белорусского языка произведения делового и светского характера создавались на народном языке, а для религиозных нужд употреблялся церковнославянский язык. Позже белорусский язык проник частично и в область церковно-религиозной литературы, но вскоре он уступил свои позиции в важнейших сферах применения польскому языку, который в свою очередь начал вытесняться русским языком в конце XVIII в. Письменность на церковнославянском, польском и русском языках своим грамматическим строем и словарным составом заметно противопоставляется произведениям, в основе которых лежит белорусский язык. Но в ряде случаев церковнославянизмы проникали в произведения на белорусском языке в такой мере, что затруднительно даже определение языковой основы таких памятников. Типичным примером в этом отношении могут служить переводы Ф. Скорины, язык которого, как это уже давно отмечено исследователями, представляет собой смесь элементов церковнославянского, польского, белорусского и чешского языков[7]. Фонетические и лексические церковнославянизмы в произведениях Ф. Скорины занимают довольно значительное место. Показательным с этой точки зрения является соотношение неполногласных и полногласных форм. Церковнославянские формы типа *врагъ*, *власъ*, *врата*, *глава*, *гладъ*, *градъ*, *гласъ*, *здравие*, *злато*, *младый*, *пленъ*, *сладкий*, *стражъ*, *чрево* [8] явно преобладают над соответствующими белорусскими полногласными формами. Многие другие общеславянские по происхождению слова Ф. Скорина употребляет в церковнославянском фонетико-морфологическом облике, хотя почти все они имели свои эквиваленты в белорусском языке, например, *агнецъ*, *азъ*, *аще*, *велий*, *вопрошати*, *восхотети*, *дщера*, *единъ*, *зерцало*, *мощи*, *нощъ*, *огнь*, *осмъ*, *отвещати*, *прежде*, *рещи*, *седмъ*, *тысяща*, *юко*, *юсти* и др. Особый разряд у Ф. Скорины составляют многочисленные церковнославянизмы, которым в белорусском языке соответствуют слова иных корней, например, *вкупе*, *внегда*, *возрѣти*, *вопиюти*, *воспѧть*, *вретище*, *глаголати*, *десница*, *днесь*, *дондеже*, *егда*, *елико*, *зело*, *камо*, *отрокъ*, *паки*, *семо*, *совлещи*, *токмо*, *чело* и др. Несмотря на значительный церковнославянский колорит языка произведений Ф. Скорины, не может быть и речи о том, чтобы не использовать их в качестве источников для словаря. С другой стороны, привлечение всего лексического материала Ф. Скорины грозит превращением будущего словаря старого белорусского языка в сло

[6] J. Łoś, Jak powstaje «Słownik staropolski»?, «Język polski», 1, 1913; его же, O przyszłym «Słowniku staropolskim», «Rocznik sławistyczny», VIII, 1918

[7] С. Булич, Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке, ч. I, СПб., 1893, стр. 400.

[8] Примеры из переводов Ф. Скорины здесь приводятся согласно с орфографией оригиналов.

варь белорусско-церковнославянский, что также весьма нежелательно. Вопрос этот требует специального изучения и решения. Заслуживает внимания мысль, высказанная по этому поводу в частном порядке акад. Б. Гавранком, — включать в словарь только те скорининские церковнославянизмы, которые закрепились в белорусской письменности после Ф. Скорины.

При составлении списка источников наиболее сложной оказывается проблема разграничения белорусских и украинских памятников. В наше время почти общепризнанным является взгляд, что в XV—XVII вв. общественная и культурная жизнь белорусов и украинцев обслуживалась общим письменным языком. В связи с этим акад. Е. Ф. Карский высказал в свое время мысль о целесообразности подготовки белорусами и украинцами одного общего словаря старого периода [9]. Однако это предложение отвергается рядом исследователей: составление общего словаря влечет за собой признание факта, что самостоятельное существование украинского и белорусского языков начинается лишь с XVII в.[10], что противоречило бы некоторым нашим представлениям об истории восточнославянских языков.

Само собою разумеется, что привлечение одних и тех же памятников для отдельных словарей украинского и белорусского языков значительно снизило бы ценность этих словарей, так как в украинский словарь попала бы некоторая часть лексики, специфической для белорусского языка, и наоборот. Необходимость разграничения древних белорусских и украинских памятников как источников для изучения истории этих языков признается всеми. Такое разграничение, по мнению исследователей, должно основываться на учете трех факторов: языкового анализа, национальности автора и места возникновения памятника[11]. Надежный результат можно получить лишь в случаях, когда все эти три критерия положительно накладываются на данные памятника, что, к сожалению, бывает очень редко. В большинстве же своем памятники, особенно рукописные, не имеют указаний о национальности автора и месте возникновения. Первостепенное значение в этих случаях приобретает языковой анализ памятника. Однако надежная методика языкового анализа с этой точки зрения еще не разработана. Обычно указывается, что наличие в памятнике случаев смешения *ѣ* — *и*, *ы* — *и*, употребления *і* или *у* вместо *е*, *о* в закрытых слогах дает основание считать такой памятник украинским, и, с другой стороны, отражение в памятнике аканья-яканья и дзеканья-цеканья свидетельствует о белорусском его происхождении[12]. Однако следует иметь в виду, что аканье, составляющее одну из важнейших черт белорусского языка по сравнению с украинским, в памятниках отражается лишь спорадически, в древности оно никогда не являлось орфографической нормой. Можно указать десятки значительных памятников старой белорусской письменности, написанных на территории Белоруссии и вышедших из-под пера белорусов, в которых, однако, вовсе нет случаев аканья. Дзеканье и цеканье вообще принадлежит к числу таких черт белорусской фонетики, которые отражены в древней письменности лишь единичными случаями.

При этом надо учитывать, что разграничение памятников по перечисленным чертам оправдано лишь применительно к раннему периоду белорусско-украинских языковых связей. В позднейшее время, начиная со второй половины XVI в., белорусская письменность отражает заметное влияние украинского языка, и наличие в памятниках таких черт, как смешение *ѣ* — *и*, *ы* — *и*, еще не дает оснований считать некоторые из них украинскими. Например, в известном «Катехизисе» Симона Будного, изданном в белорусском городе Несвиже в 1562 г., вовсе не отражено дзеканье-цеканье, представлено лишь несколько случаев аканья и в то же время здесь есть много таких украинизмов, как смешение *ы* и *и*: *значилы*(=*значили*), *мѣлы*(=*мѣли*), *посреды* (=*посреди*), *сылы* (=*силы*), *аби* (=*абы*), *били* (=*были*), *вибралъ* (=*выбралъ*), *називаеть* (=*называеть*) и др. По этой черте данный памятник можно было бы считать украинским, однако здесь наличествуют и специфически белорусские морфологические особенности, например, инфинитивы на *-ть* вроде *быть*, *давать*, *множить*, *ожидать*, *урадить*, чего трудно ожидать в украинском памятнике. Следует иметь в виду при этом, что смешение *и* и *ы*, как это показано исследованиями последнего времени, встречается и в памятниках, созданных писцами литовского происхождения [13].

Все это говорит о том, что языковой анализ должен распространяться на все

[9] Е. Ф. Карский, Труды по белорусскому и другим славянским языкам, М., 1962, стр. 563.

[10] Л. Л. Гумецька, Принципи створення історичного словника української мови, Київ, 1958, стр. 19.

[11] См. І. Огієнко, Розмежування пам'яток українських від білоруських, «Зап. чина св. Василия Великого», IV, 1—2, Львів, 1925, стр. 258—287; Л. Л. Гумецька, указ. соч., стр. 19.

[12] Л. Л. Гумецька, указ. соч., стр. 19.

[13] А. К. Антонович, Вопросы фонетики белорусского актового языка XVI в., «Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto mokslo darbai», XXX, Kalbotyra, II, 1960, стр. 94—95.

ярусы языка, а не ограничиваться только областью орфографии. Особое значение при этом может иметь оценка лексического материала памятников. Принадлежность некоторых слов к узким территориальным ареалам была подмечена уже средневековыми филологами [14]. Выявление в памятнике хотя бы нескольких лексических «диалектизмов» даст возможность с относительной достоверностью заключить, лексика какой территории отражена в нем. Но плодотворный лексический анализ можно будет проводить лишь после того, как будут подготовлены полные диалектные словари белорусского и украинского языков.

В числе памятников старой белорусской письменности особое место занимают так называемые «Аль-Китабы» — религиозные книги белорусских мусульман, написанные на белорусском языке, но арабским письмом. Над расшифровкой и подготовкой к печати наиболее старых списков «Аль-Китабов» работает в последние годы преподаватель Вильнюсского университета А. К. Антонович. Для словаря эти памятники практически могут быть использованы лишь после транслитерации их в кириллическое письмо.

В результате предварительного изучения памятников составлен список источников, насчитывающий около трехсот названий (в том числе свыше ста томов изданного актового материала). В настоящее время создается картотека словаря. Обработке подлежат как позднейшие издания памятников, так и древние рукописные и старопечатные книги (по фотокопиям и микрофильмам). Над созданием картотеки занято семь сотрудников, которым, однако, эту работу приходится сочетать с подготовкой других исследований по истории белорусского языка. В этих условиях целесообразным явится дифференцированный подход к источникам: наиболее важные в лексическом отношении памятники предполагается расписать полностью, а остальные — обрабатывать выборочно, извлекая из них лишь дополнительный лексический материал.

Подготовку картотеки намечается завершить в 1972 г., после чего можно будет приступить к редактированию словаря и изданию его отдельными выпусками или томами. Конечный срок завершения работы над словарем сейчас еще определить невозможно, учитывая практику составления подобных словарей по другим языкам. Очевидно, следует в ближайшее время подготовить на материале имеющейся картотеки однотомный справочный словарь лексики, вышедшей из употребления или изменившей свое значение за период истории белорусского языка. Такой справочник мог бы служить прежде всего практическим пособием при чтении древних памятников. Вместе с тем он имел бы и некоторое научное значение, поскольку в нем содержался бы материал, который представляет наибольший интерес с точки зрения истории словарного состава белорусского языка. Следовало бы также издать вышеупомянутый незаслуженно забытый словарь И. Носовича, что на ближайшее время в какой-то мере восполнило бы пробел в белорусской исторической лексикографии.

А. И. Журавский (Минск)

[14] Ср. перевод П. Берындой церковнославянского слова *пѣтель*: «Пѣтель:Чески и Руски, когуть. Волынски, Пѣвень. Литовски, Петухъ», «Лексикон словенороський Памви Беринди», Київ, 1961, стр. 104.

ОБ ИЗДАНИИ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ ПЕВЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ *

В области славянской музыкологии мы не располагаем древними памятниками, за исключением великолепных памятников, хранящихся в библиотеках Советского Союза. Некоторые из этих памятников восходят к XI в., т. е. к началу русской письменности, и отличаются обширностью текстов и разнообразием мелодий. Один лишь Московский стихирарь (минеи) XII столетия охватывает 10 томов. Эти рукописи представляют собою сокровищницу материалов не только музыкологических, но и филологических и являются очень важным дополнением Служебных миней (1095—1097 гг.), изданных Ягичем. Однако несмотря на очевидное их значение для истории русского языка и музыки в России, они пока еще не изданы и для исследователей вне России совершенно недоступны. Ввиду этого я считаю важной задачей филологов и музыковедов издать эти памятники, причем обращаю внимание также на следующие обстоятельства.

1. Рукописи древнерусского пения, собранные В. М. Металловым в известной книге «Русская симнография» (М., 1912 г.), относятся или к Новгородской, или к Киевской редакции. Они содержат обозначение мелодии в виде крюковой нотации над текстом. Эти крюки еще не-

* Проф. Э. И. Кошмидер, принимая участие в работе расширенного пленума МКС в октябре 1962 г., обратился к советским языковедам со своими предложениями об издании древнеславянских певческих текстов. Редакция, считая важной и своевременной постановку поднятых проф. Кошмидером вопросов, публикует ниже эти предложения.— *Ред.*

достаточно расшифрованы, и расшифровка их не может подвинуться вперед, пока эти тексты недоступны исследователям. Поскольку, с одной стороны, мы уже располагаем параллельными текстами XV столетия, весьма важными и полезными для систематической расшифровки древней нотации, а, с другой стороны, издания греческих памятников в серии «Monumenta musicae Byzantinae» также помогают при интерпретации самых древних крюков, — я считаю издание древнерусских певческих рукописей совершенно необходимым и весьма важным также и для вопросов византийской нотации.

2. *Относительно мелодий* древнерусских песнопений существует два различных мнения. Одни считают, что эти мелодии полностью совпали с мелодиями греческих подлинников; другие полагают, что одновременно с переводом на славянский язык менялась и мелодия этих песнопений в соответствии с характером тогдашней славянской народной музыки. Пока это только гипотезы. Отношение древнерусского пения к византийскому нельзя разрешить a priori, без привлечения материалов древнерусских памятников.

3. Русская певческая традиция после реформы Шайдурова (XVII в.) изучена вполне достаточно, однако до этого времени она продолжает оставаться неясной; вопрос этот можно выяснить лишь на основании древних русских рукописей. Интервалы церковного пения точно известны лишь начиная с XVII столетия. В течение последних 30 лет удалось расшифровать такие древневизантийские мелодии, так что проблему древнерусской нотации можно будет разрешить на основании не только позднейшей русской традиции, но и путем сравнения с византийскими источниками.

4. Работа над музыкальными записями в древнерусских рукописях является условием разрешения очень сложных филологических проблем, самой важной из которых является вопрос литературно-художественной формы славянского перевода. Несмотря на результаты известных трудов А. И. Соболевского, мы и сегодня еще не знаем, выполнены ли эти переводы в прозе или в стихах, а это необходимо для их языковой оценки.

Столь обширные древнерусские певческие тексты дадут весьма богатые материалы по истории русского языка — грамматики, лексики, стилистики. Уже Служебные минеи Ягича дают очень много материалов, хотя охватывают только три месяца (октябрь, сентябрь и ноябрь). Московские же Служебные минеи охватывают целый год, т. е. 12 месяцев; кроме них существует и много других текстов.

В издании певческих рукописей заинтересованы не только музыковеды, но и филологи — как литературоведы, так и лингвисты.

Я предлагаю возможно скорее издать имеющиеся рукописи под заглавием «Источники древнеславянского пения» и объединить с этой целью научные силы Академии наук СССР, Баварской Академии наук и редакции датского издания «Monumenta Musicae Byzantinae». Целесообразно было бы создать при Международном комитете славистов Комиссию по изданию древних певческих памятников, к участию в которой пригласить, по возможности в качестве сотрудников, следовало бы Баварскую Академию наук и редакцию издания «Monumenta Musicae Byzantinae».

Издание древних славянских певческих памятников предлагаю осуществить по следующему плану:

1. Составить подробную инвентаризацию всех *соответствующих* славянских памятников. Вследствие больших изменений в больших и малых библиотеках славянских стран здесь не всегда будет достаточно пользование напечатанными каталогами; хорошо было бы уже сейчас начать необходимую переписку с библиотеками.

2. Выбрать из этих памятников самые важные. Наиболее известные не надо будет издавать особо, потому что они являются лишь списками древнейших памятников. После составления каталога с участием всех членов Комиссии следует определить степень важности отдельных рукописей для решения вопроса о публикации.

3. Важной обязанностью Комиссии будет определение метода печатания памятников; этой задачей следует заняться в первую очередь. В этой работе должны принять участие представители всех сотрудничающих организаций. Их опыт при определении печатных возможностей и при решении теоретических вопросов будет, несомненно, очень ценен.

4. Предпринимаемое издание потребует дополнительных субсидий.

Работа по изданию памятников представляется следующим образом:

А. Следует издать все древнепевческие памятники до XIV в. включительно, в первую очередь древнецерковнославянские, но возникает также вопрос и о древнепольских, древнечешских и других памятниках. В издании церковнославянских памятников будут заинтересованы все слависты, издание же остальных памятников можно предоставить отдельным странам. Издать все памятники до XIV в. необходимо потому, что в XIV в. происходит реформа крюковой нотации, которая создает затруднения в расшифровке самой древней нотации. Таких памятников немного — около тридцати.

Б. Издавать памятники, по моему мнению, следует по образцу «Monumenta Musicae Byzantinae»: издание должно

включать фототипические репродукции рукописи, печатное воспроизведение текстов с крюками, греческие подлинники, критический аппарат, словари и индексы, а также научные комментарии.

В. В фототипических репродукциях следует воспроизводить не все рукописи, а лишь самые лучшие из них. Известно, что в самых старших есть много фрагментов. Я бы предложил выбрать по одной комплектной рукописи следующих текстов: 1) ирмолог; 2) октоих; 3) служебные минеи; 4) стихирарь; 5) кондакарь, возможно также псалтырь.

Г. Для осуществления предполагаемого труда надо будет подобрать и подготовить сотрудников и распределить отдельные группы рукописей между специалистами (я лично мог бы вести работу над ирмологом).

Печатать следует главным образом текст репродукций; варианты других рукописей будут представлены в критическом аппарате. Главным затруднением будет перевод крюков на теперешнюю нотацию, тем более, что еще неизвестно точно, как надо ее расшифровать. Вместо такой весьма несовершенной транспозиции лучше будет дать, как я это уже сделал в ирмологе, позднейшую хомонийную редакцию параллельного текста XVI—XVII вв. Надо, однако, сказать, что работа над расшифровкой самых древних крюков уже значительно продвинулась вперед. Может быть, мы успеем выполнить эту работу еще до подготовки издания к печати.

Э. И. Кошмидер

РАБОТЫ ПО СЕРБО-ЛУЖИЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ В ЛЕЙПЦИГЕ

О культурном росте, который стал возможным в ГДР для сограждан лужицкой национальности, свидетельствует подъем науки о сербо-лужицком языке и сербо-лужицкой литературе. Университет им. Карла Маркса в Лейпциге, уделяющий большое внимание подготовке молодых научных кадров, предоставляет возможность повышения научной квалификации, в частности, и для молодых ученых лужицкой национальности.

За прошедшее десятилетие на философском факультете университета были выполнены следующие работы. По языкознанию: докторская диссертация Г. Шустера о славянских названиях частей человеческого тела, написанная главным образом на материале серболужицкого и польского языков, кандидатская диссертация С. Михалка о верхнелужицком диалекте Нейштадта (района Хойерсверда), кандидатская диссертация Х. Фаска о нижнелужицком диалекте Ветошова (Ветшау) и кандидатская диссертация П. Фёлькеля о кодификации верхнелужицкой орфографии. Топонимике Лужицы были посвящены монографии Л. Гоффмана о славянских названиях урочищ Лёбау и В. Шербера о славянских названиях урочищ в районе Каменец (восточная часть), а также ряд обобщающих работ других авторов. По литературоведению: Р. Енч представил описание верхнелужицкой литературы периода 1870—1918 гг., П. Новотный дал оценку «Национальной программы» поэта Якуба Барта-Чишинского, а Г. Мёллер посвятил свою работу творчеству писателя Якуба Лоренца-Залеского. К области этнографии относятся очерки лужицкого устного народного творчества, представленные П. Недо в качестве докторской диссертации.

Перечисленные работы, одни из которых опубликованы полностью, а другие в настоящее время готовятся к печати, следует рассматривать как важный вклад в дело исследования культуры сербо-лужицкого народа. Сербо-лужицкая литература и сербо-лужицкий язык, которые при фашистском режиме были обречены на уничтожение, в социалистическом обществе снова возродились и находят широкую поддержку в своем дальнейшем развитии.

Р. Фишер

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

Проф. А. Ж. Ван Виндекенс (Лувен) сообщил, что в ближайшие годы он предполагает опубликовать следующие работы:

I. Сравнительная грамматика тохарского языка: 1) Фонетика и словарь; 2) Морфология.

II. Влияние уральских языков на тохарский.

III. Индоевропейский характер языка айну.

IV. Очерки по доэллинической — пелазгской лингвистике.

*

Насколько позволят мои не совсем легкие жизненные обстоятельства, я буду стараться и в будущем работать в двух областях, являющихся моей основной специальностью: я имею в виду иллирийскую проблему и исследования древнейших гидронимов в Европе. Подготавливается второй том моего сводного труда «Язык иллирийцев», первая часть которого вышла в 1955 г. Уже многое сделано мною также в работе над трехтомным «Handbuch der alteuropäischen Hydro-

nymie», срока окончания которого я еще, к сожалению, не могу назвать.

Г. Крае (Тюбинген)

Сообщаю свои наиболее важные для меня планы и темы запланированных работ на ближайшее будущее. Планы эти весьма обширны, но сводятся в основном к следующему:

1. Реконструкция произношения классической латыни: ударение и вокализм.

2. Принципы «внутренней формы» языка, особенно в отношении звуков. Важнейший принцип фонологии: не оппозиции, а «дифференциальные признаки» являются основными характеристиками фонем (этот принцип является обратным по отношению к принципу де Соссюра, Трубецкого и т. д.).

3. Работы, посвященные некоторым принципам развития языка: процессы «внутреннего» языкового развития; процессы взаимодействия языков: субстрат/суперстрат, влияние на словарный состав, звуки, Denkgewohnheiten; выводы о внешних (исторических, предысторических) процессах.

4. О принципе образования фонем в праиндоевропейском (и.- е. «gh, dh, bh», *u*, *i̯*, и ларингальная теория).

В. Мерлинген (*Вена*)

В основном занимаюсь ликийским языком — малоазийским языком I тысячелетия до н. э. Для «Handbuch der Orientalistik», выпускаемого издательством Брилля в Лейдене, я пишу краткий грамматический обзор ликийского языка; в Гейдельберге (издательство Винтера) выйдет мой «Ликийский глоссарий». В книге Ф. Зоммера «Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre», которую выпускает то же издательство, я заново перерабатываю раздел «Морфология».

Попытка лучше понять надпись, составленную кипрским слоговым письмом, осуществлена мной в статье «Zur Deutung der kyprischen Bulwer-Tafel», которая появится в журнале «Kadmos».

Г. Нойман (Гёттинген)

Уже 50 лет тому назад, будучи доцентом Хельсингфорсского ун-та и занимаясь греческой эпиграфикой, я публиковал в «Журнале Министерства народного просвещения» некоторые аттические надписи, что считал большой честью для себя.

В последние годы я все интенсивней занимаюсь минойскими надписями; особенно меня интересует древнее линеарное письмо *A*. Я все более прихожу к выводу о том, что в данном случае мы имеем дело не с фонетическими знаками, наделенными определенным смыслом, а с идеографическими символическими знаками и что попытки доказать родство языка этих надписей с малоазийскими языками — неудачны. Исследования, проводимые в этой области, стоят в центре всеобщего интереса, хотя бы потому, что более позднее письмо *B* большинством исследователей, использующих методы Вентриса, связывается с микенским греческим. По моему мнению, соотношение значений отдельных знаков в линеарном письме *B* и в более раннем письме *A* — сомнительно. Мой скепсис по этому вопросу, очевидно, разделяют Брайсе и Грумах.

И. Сундваль (Хельсинки

Подвергая исследованию весь корпус этрусских надписей посредством счетно-вычислительной машины CDC 1604, ниже я опишу детально свои планы осуществления задуманной работы, которая представит интерес как для специалистов по этрусскому языку, так и для языковедов, использующих большие счетно-вычислительные машины для решения лингвистических проблем.

1. Задачи исследования

А. 1. Подвергнуть весь корпус этрусских надписей обработке при помощи счетно-вычислительной машины CDC 1604 с целью получить все статистические данные, которые представляется возможным извлечь из зафиксированных письменностью памятников языка.

2. Синтезировать и классифицировать эти данные с целью получения наилучшего из возможных грамматических описаний.

В. 1. Сравнить полученную таким образом грамматику с одной или более грамматиками (воссозданными иными путями) других языков, в которых обнаруживаются определенные структурные сходства с этрусскими.

С. 1. Подвергнуть эквивалентный корпус каждого из языков, сопоставимых с этрусским, обработке на счетно-вычислительной машине CDC 1604 указанным выше образом.

2. Синтезировать и классифицировать эти данные по возможности тем же путем, каким классифицировались этрусские данные.

3. Повторять эти процедуры до тех пор, пока есть основания надеяться на получение полезных результатов (но на данном этапе — не позже 30 июня 1965 г.).

II. Состояние разработки проблемы и ее значение

А. Этрусские надписи еще не расшифрованы. Несмотря на наличие многих грамматик, сотен отдельных исследований, существование нескольких институтов и давно созданного журнала «Studi

etruschi», до сих пор ничего не известно о генетических связях этрусского языка; невозможен и перевод этрусских надписей.

Весь корпус этрусских надписей, по общему признанию, находится в исключительно плохом состоянии. Поэтому возможны следующие два различных вида работы над ними: можно попытаться восстановить лакуны в надписях (на это потребуется время, большее, чем человеческая жизнь) или же эти надписи могут быть приняты, как они есть, со всеми их дефектами и подвергнуты детальному анализу. В настоящем исследовании предполагается выбрать вторую альтернативу.

Этрусские надписи выполнены алфавитным письмом. Приблизительное фонетическое значение используемых букв известно. В большинстве случаев словоразделы обозначены; кое-что, хотя и немногое, известно и о системе пунктуации. Поэтому необработанный материал можно нанести на информационные карточки посредством простого алфавитного нецифрового кода, который пригоден для машинного исследования и легко переводится обратно на уровень первоначальных символов.

Было бы преждевременным говорить о расшифровке этрусских надписей, на осуществление которой можно в настоящее время лишь возлагать большие надежды. Несомненно лишь то, что после осуществления предлагаемого проекта об этрусском языке будут получены систематизированные данные, которые будут более полными, более подробными и более исчерпывающими, чем те, которые имелись до сих пор.

III. Детальное описание процедур

А. Выделить этрусские надписи из этрусско-латинских и чисто латинских надписей. Путем использования одних только этрусских надписей:

1. Составить полный глоссарий в алфавитном порядке.
2. Сделать список сравнительной частотности всех слов.
3. Составить полный обратный словарь.
4. Составить список сравнительной частотности всех обратно расположенных слов.
5. Выписать непосредственное языковое окружение наиболее часто употребляющихся слов.
6. Произвести исчерпывающее статистическое изучение длины слов.
7. Составить отдельные списки сравнительной частотности слов из каждой крупной географической территории.
8. Составить отдельные списки сравнительной частотности обратно расположенных слов с каждой наиболее важной географической территории.
9. Составить отдельные списки сравнительной частотности слов, обозначающих различные классы объектов.
10. Составить отдельные списки сравнительной частотности обратно расположенных слов, обозначающих различные классы объектов.
11. Выписать переходные вероятности встречаемости (вплоть до еще не определенной точки) всех букв алфавита.
12. Выписать непосредственное языковое окружение всех числительных.
13. Составить список наиболее длинных слов в убывающем порядке.
14. Изучить (еще не определенными методами) окружения единичных, двойных и тройных интерпунктов.
15. Составить список сравнительной частотности единичных букв, встречающихся в конце слов.
16. Составить список сравнительной частотности комбинаций двух букв, оканчивающих слово.
17. Составить список сравнительной частотности комбинаций трех букв, оканчивающих слово.
18. Составить список сравнительной частотности комбинаций четырех букв, оканчивающих слово.
19. Провести проверку сравнительной частотности единичных букв в начале слова.
20. Составить список сравнительной частотности комбинаций двух букв, начинающих слово.
21. Составить список сравнительной частотности комбинаций трех букв, начинающих слово.
22. Составить список сравнительной частотности комбинаций четырех букв, начинающих слово.
23. Составить список сравнительной частотности языкового материала, оставшегося после проведения операций 16—23.
24. Выписать непосредственное языковое окружение слов с наиболее часто встречаемыми окончаниями.

В. Отделить «хорошие» этрусские надписи (т. е. ясные, без перерывов и исправлений) от всех остальных. Используя только «хорошие» надписи:

1. Повторить операции А 1—24.

С. Отделить «плохие» этрусские надписи от всех остальных. Используя только «плохие» надписи:

1. Повторить операции А 1—24

Д. Отделить этрусско-латинские надписи от всех остальных. Используя только этрусско-латинские надписи:

1. Отделить все этрусские слова от латинских.
2. Используя только этрусские слова, повторить операции А 1—24.
3. Используя только латинские слова, повторить операции А 1—5.

Е. Отделить чисто латинские надписи от всех остальных. Используя только латинские слова:

1. Повторить операции А 1—5.

IV. Имеющееся оборудование

А. Счетно-вычислительная машина CDC 1604, принадлежащая Висконсинскому ун-ту, установлена в Лаборатории числового анализа. Одновременно лаборатория предоставляет всем лицам, работающим на машине CDC 1604, клавишные машины с перфорированными карточками, машины для сверки данных, небольшие вычислительные аппараты и место для хранения карточек

М. Фаулер (Медисон, США)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 23 по 26 января 1963 г. в Ленинграде состоялась организованная Институтом языкознания АН СССР третья дискуссия, посвященная морфологической структуре слова[1]. На этой дискуссии были поставлены и обсуждены вопросы, связанные с аналитическими конструкциями в языках различного грамматического строя. В дискуссии приняли участие языковеды Института языкознания АН СССР, Ленинградского гос. университета, Ленинградского пединститута им. Герцена, Института народов Азии АН СССР, Института языкознания АН ГрузССР и ряда других научных учреждений.

Во вступительном слове директор Института языкознания АН СССР член-корр. АН СССР Б. А. Серебренников (Москва) подчеркнул, что цель дискуссии — не только обобщение конкретной исследовательской работы в области изучения аналитических конструкций в отдельных языках, но и широкое обсуждение спорных теоретических проблем, определение задач и путей сравнительно-типологического изучения структуры слова в различных языках.

В докладе «Аналитические конструкции» член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский (Ленинград) охарактеризовал аналитическую конструкцию как сочетание слов, знаменательного и служебного (формального или полуформального), в котором служебное слово является выражением грамматического значения знаменательного слова и всей конструкции в целом. Аналитические конструкции возникают в результате грамматизации знаменательных слов (превращения их в слова формальные или полуформальные). В процессе грамматизации служебные слова теряют в большей или меньшей степени свое предметное значение, развивая значение грамматическое как доминирующее или единственное. В результате грамматизации синтаксическая группа (словосочетание) превращается в морфологическое единство (грамматическую форму слова). Грамматизация представляет процесс, который имеет различные ступени. Узкоморфологический, статический подход к установлению признаков аналитической конструкции, установившийся за последние годы в советском языкознании под влиянием школы Ф. Ф. Фортунатова, не учитывает этого «процессуального» характера явлений анализа, его динамики, и тем самым неправомерно сужает круг аналитических конструкций. В. М. Жирмунский подчеркнул, что каждый язык имеет свой специфический набор аналитических или полуаналитических форм с различной степенью грамматизации. Очередной задачей грамматического исследования должно явиться углубленное изучение аналитических конструкций в языках различных структурных типов (так называемых агглютинирующих, корневых, инкорпорирующих и др.), с учетом типологических различий этих конструкций в зависимости от структуры исследуемого языка.

О. П. Суник (Ленинград) в докладе «О понятиях „аналитическая конструкция" и „аналитический строй речи"» подчеркнул, что традиционное противопоставление языков аналитического строя синтетическим, равно как и включение тех и других в общую типологическую схему на одинаковых правах с языками аморфными, агглютинативными, флективными и т. п., несостоятельно как с конкретно-лингвистической, так и с абстрактно-логической точек зрения. Подобно тому как в лексикологии различаются слова простые и сложные, а в классе сложных — цельнооформленные и раздельнооформленные, так и в грамматике следует различать простые и сложные словоформы, выделяя в последних цель-

[1] См. отчеты о первой дискуссии в ИАН ОЛЯ, 1961, 5; о второй — ВЯ, 1962, 4, а также «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о морфологической структуре слова в языках различных типов», Л., 1960; «Понятие агглютинации и агглютинативного типа языков (Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР)», Л., 1961; «Аналитические конструкции в языках разных типов (Тезисы докладов)», Л., 1963.

нооформленные (синтетические) и оформленные раздельно (аналитические). О. П. Суник высказался против толкования аналитических конструкций как особых словосочетаний, а также против перенесения соответствующих терминов в область лексикологии (в частности, в область словообразования), так как, по его мнению, аналитическая конструкция (иначе — аналитическая форма слова) — понятие собственно грамматическое.

Вопросу о необходимости разграничения понятий «аналитическая форма слова» и «аналитический строй языка» был посвящен доклад Н. В. Солнцевой и В. М. Солнцева (Москва) «Анализ и аналитизм», построенный на материале китайского языка. С точки зрения авторов доклада существование в языке аналитического способа выражения морфологических значений не связано с аналитичностью строя данного языка. Аналитическая форма слова есть явление морфологическое, аналитичность языка — явление синтаксическое. Можно определить аналитический способ выражения морфологического значения термином «анализ», а аналитический способ выражения отношений между словами — термином «аналитизм».

В докладе «Аналитические формы и проблема единства слова» А. А. Леонтьев (Москва) подверг рассмотрению аналитические конструкции, исходя из понятия полиморфности слова. Он отметил, что возможно выделение двух типов аналитических форм: парадигматические и непарадигматические аналитические формы.

В. Г. Адмони (Ленинград) в докладе «Некоторые частные свойства аналитических форм», основанном на материале главным образом русского языка, указал, что наряду со своей основной функцией аналитические показатели и аналитические формы могут использоваться для достижения дополнительных целей в грамматической системе языка. Аналитические показатели участвуют в структурной организации предложения и словосочетания.

В докладе «Сочетание слов и аналитическая конструкция» Т. А. Бертагаев (Москва), опираясь на материал монгольских языков, полемизировал с точкой зрения О. П. Суника на служебный компонент аналитической конструкции как на «пустое» (иначе — формальное) слово. По мнению докладчика, в языке не может быть пустых слов. Любое слово содержит в себе хотя бы потенциально грамматическое значение, иначе оно не могло бы быть включено в систему речи. Служебное слово — это слово с ослабленным лексическим значением. Поэтому аналитическая конструкция не может рассматриваться вне таких грамматических понятий, как словосочетание и сочетание слов.

С докладом «О некоторых процессах трансформации аналитических образований в синтетические (по данным иберийско-кавказских языков)» выступил А. С. Чикобава (Тбилиси). Докладчик считает, что формула «от синтетического к аналитическому» не может рассматриваться как выражение единственной тенденции развития грамматических форм. Аналитические образования могут давать начало синтетическим формам, как это прослеживается на фактах истории различных языков. Вопрос о взаимоотношении аналитических образований и синтетических единиц приводит к вопросу о логическом взаимоотношении понятий «парадигматического» и «синтагматического», понятий, которые за последние двадцать лет оказались в центре внимания дескриптивной лингвистики в связи с разграничением понятий «система» и «структура».

Доклад Э. В. Севортяна (Москва) был посвящен характеристике грамматических и семантических признаков аналитических конструкций в отличие от словосочетаний в тюркских языках. Поскольку семантико-грамматические характеристики словообразовательных и словоизменительных конструкций различны, докладчик считает, что целесообразно рассматривать их раздельно, после чего можно наметить моменты их схождения. А. Н. Жукова (Ленинград), подвергнув рассмотрению вопрос о наличии глагольных аналитических конструкций в чукотско-камчатских языках, указала на неприменимость терминов «аналитический комплекс», «аналитическая форма слова», «аналитическая конструкция» к лексикализованным синтаксическим словосочетаниям чукотского и корякского языков. Различные точки зрения на аналитические конструкции в абхазско-адыгских языках были представлены в докладах М. А. Кумахова (Москва) «О так называемом аналитическом глаголообразовании» и А. К. Шагирова (Москва) «Об аналитических конструкциях в абхазско-адыгских языках». И. И. Цукерман (Ленинград) предложил различать понятие аналитической формы, с одной стороны, и сложной формы, с другой, противопоставленных синтетической или простой форме. Аналитическая форма структурно равна словосочетанию; специфика сложной формы состоит в том, что она по своему внутреннему строению равна сложному слову. Докладчик привел примеры соответствующих форм в курдском языке. В докладе Вяч. В. Иванова (Москва) были рассмотрены возникновение и развитие различных по категориальному значению аналитических глагольных конструкций в клинописном хеттском и других анатолийских языках и их отношение к более древним индоевропейским формам.

А. М. Мухин (Ленинград) подчеркнул, что основная трудность в трактовке аналитических форм слова заключается в преодолении антиномии: аналитическая форма слова есть сочетание слов. Эта антиномия, по мнению докладчика, может быть преодолена путем разграничения двух принципиально не сводимых друг к другу элементарных морфологических понятий — морфемы и морфы, определяющих различение двух структурных типов слов — морфемного и морфического. Первые могут быть выделены лишь на основе чисто функционального анализа. При этом для определения той или иной аналитической конструкции как формы слова не является необходимым условием ее соотнесенность с синтетической формой в рамках одной категории, хотя в большинстве случаев это и наблюдается в действительности.

Доклад М. А. Бородиной (Ленинград) был посвящен характеристике одного из направлений французской грамматической теории — морфосинтаксиса. Докладчик указала, что возникновение этого направления связано, в частности, с теми противоречиями, на которые наталкивается в различных языках традиционное разграничение морфологии и синтаксиса. Введение понятия аналитической морфологии способствует в значительной степени разрешению этих противоречий; однако между аналитической морфологией и морфосинтаксисом существует глубокое различие: в основу первой положено понятие об аналитической форме слова, в то время как морфосинтаксис стремится нивелировать понятие слова вообще, что влечет за собой недифференцированность лексических и грамматических понятий.

К. Е. Майтинская (Москва) в докладе «Два направления развития аналитических конструкций в венгерском языке» предложила называть аналитической формой только те неразложимые и в высшей степени грамматизированные сочетания, которые могут быть включены в формообразующий парадигматический ряд. При этом К. Е. Майтинская возражала против включения в парадигму падежного склонения послеложных или предложных конструкций, так как, по ее мнению, об аналитических формах можно говорить лишь в пределах тех грамматических категорий, значение которых допускает только ограниченный парадигматический ряд. По этим причинам в падежную парадигму могут быть включены те формы, которые ограничены фономорфологическим единством слова.

Говоря о «структурно-типологической характеристике аналитических конструкций на материале родственных и неродственных языков», И. Н. Анацкий (Москва) указал на необходимость описания аналитических конструкций как в синхронном, так и диахроническом срезе, что дает возможность сопоставить структурно-идентичные аналитические конструкции в типологически различных языковых группах. В докладе Н. В. Петровой и Р. Г. Пиотровского (Ленинград) «Некоторые теоретико-информационные оценки аналитизма», построенном на материале французского языка, аналитические конструкции были охарактеризованы с точки зрения теории информации. О целесообразности применения узкоморфологического подхода при исследовании структуры слова говорил в своем выступлении Б. А. Серебренников. По его мнению, аналитические конструкции являются не формами слова, а особого рода словосочетаниями, призванными выражать качественные отношения. Служебные слова в известной мере могут выполнять функцию морфем, но неправомерно говорить об их абсолютной функциональной эквивалентности. А. В. Десницкая (Ленинград) полемизировала с некоторыми положениями доклада Б. А. Серебренникова, отметив, в частности, что аналитические конструкции не всегда выражают окачествленные отношения. Она подчеркнула необходимость соблюдать бо́льшую осторожность при отнесении того или иного сочетания слов к разряду аналитических форм.

В своем выступлении О. П. Сунник указал на большую плодотворность дискуссии и охарактеризовал три точки зрения, которые, по его мнению, выявились в ходе обсуждения поставленных на дискуссию вопросов: 1) аналитическая форма есть форма слова, но не словосочетание. Служебные элементы не являются словами; 2) аналитические формы — это слова и одновременно словосочетания, поскольку служебный элемент не утрачивает полностью своего лексического значения; 3) аналитическая форма — не форма слова, а просто словосочетание. В. М. Жирмунский еще раз напомнил в своем выступлении о необходимости учитывать при изучении аналитических форм слова тот факт, что язык является динамической системой, и, поэтому, статический подход к рассмотрению языковых явлений неизбежно ведет к их искажению. Он привел ряд новых доводов в пользу высказанной им в докладе точки зрения на аналитические конструкции.

Вопросам, связанным с различным толкованием аналитических конструкций в структуре отдельных языков, были посвящены выступления С. А. Миронова (Москва) (германские языки), А. В. Десницкой (албанский язык), Г. А. Климова (Москва) (кавказские языки), В. П. Недялкова (Ленинград) (немецкий язык), Н. Д. Арутюновой (Москва) (романские языки), В. С. Ходаковского (Ленинград) (арабский язык), Н. М. Алек-

сандрова (Ленинград) (немецкий язык), И. А. Смирновой (Ленинград) (курдский язык), М. И. Морозовой (Вологда) (русский язык), И. Ибрагимова (Казань) (татарский язык), П. И. Инэнликэй (Ленинград) (палеоазиатские языки).

Закрывая дискуссию, зам. директора Института языкознания АН СССР А. В. Десницкая подчеркнула, что живой интерес, проявленный представителями разных лингвистических специальностей к поставленным вопросам, свидетельствует об их актуальности и полезности проведенного обсуждения.

И. О. Гецадзе, А. Л. Грюнберг (Ленинград)

5 февраля 1963 г. в Институте народов Азии в библиотеке-кабинете В. А. Гордлевского состоялось совещание, посвященное памяти выдающегося русского и советского ученого академика Александра Николаевича Самойловича. С докладом о жизни и многогранной деятельности А. Н. Самойловича выступил канд. филол. наук Ф. Д. Ашнин. Неутомимый исследователь, А. Н. Самойлович создал сотни научных трудов, посвященных истории, этнографии, языку, литературе и культуре народов Средней Азии, Крыма, Кавказа и Малой Азии; его исследования отличаются глубоким анализом поставленных проблем, редчайшей эрудицией автора и умением сочетать научную строгость с увлекательностью изложения. С воспоминаниями о А. Н. Самойловиче выступили В. Д. Аракин, Б. В. Ржевин, А. С. Тверитинова, Е. Ф. Лутшувейт, Н. А. Баскаков и сын А. Н. Самойловича — инженер П. А. Самойлович.

В заключение присутствовавшие единодушно приняли предложение об организации комиссии по отбору материала для издания сборника трудов Александра Николаевича Самойловича.

Г. П. Мельников (Москва)

С 11 по 15 февраля 1963 г. в Киеве проходила республиканская научная конференция по вопросам культуры украинского языка. Инициаторами ее созыва были Институт языковедения им. А. А. Потебни АН УССР и Киевский государственный университет. В работе конференции принимали участие представители вузов республики, союза писателей, издательств, общественных организаций, а также гости из Москвы, Минска, Кишинева, Саратова и Казани. Было заслушано и обсуждено 26 докладов.

Конференцию вступительным словом открыл ректор Киевского университета акад. АН УССР И. Т. Швец. Акад. АН УССР И. К. Белодед (Киев) прочитал доклад «Вопросы культуры языка в свете решений XXII съезда и новой Программы КПСС». В докладе был освещен вопрос о творческом взаимообогащении языков социалистических наций, о роли русского языка в этом процессе, о культуре речи в связи с повышением общего культурного уровня народов СССР в период строительства коммунизма в нашей стране.

В докладе акад. М. Ф. Рыльского (Киев) «Словарь и вопросы культуры языка» освещена большая роль различного типа словарей в повышении культуры устной и письменной речи. Докладчик остановился на отдельных вопросах истории украинской лексикографии и на том исключительном значении, которое принадлежит в деле повышения культуры украинской речи шеститомному «Украинско-русскому словарю» и однотомному «Русско-украинскому словарю».

Доклад Л. А. Коробчинской (Киев) «Культура русской речи на Украине» был посвящен анализу наиболее распространенных особенностей русской речи украинцев (фонетических, орфоэпических, грамматических, лексических), определению внутренних и внешних факторов, способствующих их возникновению. В докладе М. А. Жовтобрюха (Киев) «О закономерностях развития устной формы современного украинского литературного языка» были освещены процессы расширения коммуникативных функций украинской устной литературной речи в социалистическом обществе, а также раскрыты некоторые закономерности в области лексики и грамматики, возникающие в результате взаимодействия устной и письменной форм литературного языка.

Теоретическим и практическим вопросам орфоэпии украинского языка был посвящен доклад Н. Ф. Наконечного (Харьков), который особенно много внимания уделил выяснению системного характера орфоэпической нормы. М. У. Каранская (Киев) прочитала доклад на тему «Украинский язык в республиканском радиовещании». С. Ф. Самойленко (Запорожье) посвятил свой доклад культуре речи учителя. И. Г. Чередниченко (Черновцы) прочитал доклад на тему «Язык периодической прессы и борьба за повышение культуры печатного слова». М. Х. Баранник (Днепропетровск) в докладе «Образная семантика и газетный текст» рассмотрел приемы использования образных средств языка в различных газетных жанрах.

П. С. Дудик (Полтава) в докладе «Стандартизация средств выражения как недостаток газетного языка» вскрыл причины появления стандартных выражений в наших газетах, привел много конкретных примеров речевых шаблонов в газетном языке и внес ряд предложений по стилистическому усовершенствованию языка современной украинской периоди-

ки. В докладе П. Д. Тимошенко (Киев) «К вопросу о языковых и орфографических принципах издания произведений писателей-классиков» констатируется большой разнобой в языке и правописании отдельных произведений классиков украинской литературы, опубликованных в последние годы разными издательствами.

Несколько докладов было посвящено культуре языка художественных произведений. Г. П. Ижакевич (Киев) свое внимание сосредоточила на «Стилистическом использовании украинизмов в художественно-беллетристическом стиле современного русского литературного языка». Докладчик констатирует факт проникновения в современный русский литературный язык элементов украинской лексики, выступающих в качестве экспрессивных, эмоционально-выразительных синонимов к русским словам той же семантики. В. С. Ващенко (Днепропетровск) прочитал написанный совместно с И. К. Белодедом доклад на тему «Фольклорный компонент основы художественно-эстетических средств языка».

В докладе «Культура языка поэтического перевода» В. В. Контилов (Киев) остановился на типических ошибках, встречающихся в стихотворных переводах на украинский язык. В докладе «Принципы нормализации географических названий в украинском языке» К. К. Целуйко (Киев) предложил упорядочить существующие правила написания географических наименований в украинском языке. Вопросам словообразования и правописания украинских географических названий и фамилий посвятили свои доклады П. П. Чучка (Ужгород) «О нормализации словообразования оттопонимических прилагательных» и Ю. К. Редько (Львов) «Склонение, орфография и ударение украинских фамилий». К этой тематике примыкал также доклад Л. Л. Рогозина (Полтава) «Грамматическая связь собственных географических названий с определяемыми нарицательными существительными».

На конференции обсуждались вопросы дальнейшего усовершенствования существующей украинской орфографии. Они подняты в докладах А. П. Могилы (Киев) «Семантический принцип украинской орфографии» и В. М. Русановского (Киев) «Усовершенствование украинского правописания». Несколько докладов было посвящено анализу научного стиля украинского литературного языка; это доклады: А. П. Коваль (Киев) «Культура языка научно-популярной литературы», Л. А. Кадомцевой (Киев) «Структура фразы и порядок слов в языке научной технической литературы» и Е. Ф. Скороходько (Киев) «К вопросу о нормализации терминологии». П. П. Плющ (Киев) свой доклад «О двух деталях нашей языковой практики» посвятил вопросу цитирования из иностранных и русских источников в украинской научной литературе и переводу на украинский язык специфических старославянских лексем и фразеологизмов в научно-политической литературе. И. И. Приймак (Херсон) прочитал доклад «О недостатках в устной речи молодежи Херсонщины», в котором проанализировал тенденции в нарушении литературных норм украинского языка и попытался вскрыть причины таких нарушений.

Все доклады вызвали живой интерес у слушателей, которые приняли активное участие в их обсуждении. Всего по докладам выступило на конференции свыше 30 человек, среди них директор Института языка и литературы АН Молдавской ССР член-корр. АН МССР Н. Г. Корлетяну (Кишинев), Б. С. Лапов (Минск), писатели Б. Д. Антоненко-Давидович, З. Я. Биленко, доц. Саратовского университета Г. С. Полищук и др.

Конференция приняла развернутое решение, в котором определены конкретные задачи по дальнейшему повышению культуры украинского языка.

М. А. Жовтобрюх (Киев)

5—7 марта 1963 г. в Уфе, в Башкирском гос. университете проходили расширенные заседания секций английского и немецкого языкознания общеуниверситетской научной конференции. В заседаниях принимали участие работники вузов Уфы, Свердловска, Челябинска, Оренбурга, Магнитогорска, Кургана, Нижнего Тагила. Это — уже вторая встреча германистов Урала[2].

Доклад Ю. М. Скребнева (Уфа) «О некоторых категориях синтаксиса» был посвящен общелингвистической проблематике, в частности, основным тенденциям развития многообразия речевых манифестаций. В докладе С. И. Кауфмана (Свердловск) «Языковые средства выражения логической последовательности» были изложены передварительные результаты исследований, проведенных группой работников Свердловского сельскохозяйственного института на материале немецких, английских, французских, румынских, чешских и русских художественных и технических текстов. Эти исследования характеризуются стремлением дать количественную характеристику общим признакам технического стиля в различных европейских языках.

[2] Первая конференция состоялась в ноябре 1961 г. (см. ВЯ, 1962, 3). Труды конференции опубликованы в сб. «Вопросы английского и немецкого языкознания», Уфа, 1962.

Ряд докладов был посвящен вопросам английского языкознания. В докладе Л. С. Кузнецовой (Уфа) «Развитие двусоставных словосочетаний с глагольным и именным центром в английском языке» были рассмотрены исторические пути развития общности и различий глагольного и именного управления. Е. С. Смушкевич (Магнитогорск) в докладе «Из истории формирования возвратных местоимений» подытожил свои исследования тенденций образования возвратного залога в английском языке. Доклад А. А. Чунтоновой (Уфа) «К вопросу об адвербиальном употреблении существительных» был посвящен обобщенной морфологической и синтаксической характеристике именных сочетаний и существительных в адвербиальном употреблении (типа *She glanced daggers*). Л. С. Коренцвит (Свердловск) в докладе «Порядок следования определений в технических текстах» статистически подтвердила частоту наличия ряда определений при одном определяемом. Доклад И. Г. Сапрыкиной (Уфа) «Аппозиционные сочетания двух имен нарицательных в английском языке» был построен в плане сравнения синтаксических типов аппозиционной сочетаемости в ряде европейских языков. Б. А. Князев (Уфа) в докладе «Критерии отнесения лексико-фразеологических элементов к стилистическому слою разговорной лексики» выступил с критикой системы стилистических помет в ряде словарей и сделал попытку дать новые критерии отнесения слов к слою разговорной лексики. В докладе И. Н. Цмыг (Уфа) «Стилистическая функция обособления» был дан анализ использования обособления в текстах художественной литературы с точки зрения эмоционального воздействия средств выражения на читателя. Г. И. Богин (Уфа) в докладе «Качественные прилагательные в двуязычных словарях» на узком лексическом материале затронул проблему «адресата» двуязычного словаря. Доклад Г. А. Харлова (Уфа) «Некоторые приемы семантизации английской лексики» был посвящен одному из вопросов методики преподавания иностранных языков.

Доклады, заслушанные на немецкой секции, также затрагивали широкий круг лингвистических проблем. Доклад Г. Н. Классена (Уфа) «Система спряжения глаголов в нижненемецком диалекте» был построен на новых материалах по говорам немецких переселенцев, проживающих в Оренбургской области. Я. И. Гельблу (Уфа) в докладе «К проблеме внутренней антонимии в немецком языке» остановился на тенденциях развития внутренней антонимии в рядах слов типа *Freundfeind* и типа *aufgeben*. Второй доклад Я. И. Гельблу «О некоторых грамматико-семантических особенностях множественного числа существительных» был посвящен анализу некоторых переходных форм при образовании омонимов на базе полисемантических слов. В докладе М. С. Веденьковой (Челябинск) «Актуальное и неактуальное значение Präsens в современном немецком языке» был затронут вопрос о средствах модификации видовых значений Präsens'а. В. М. Аврасин (Курган) в докладе «Стилистические средства выражения динамизма в современной немецкой прозе» остановился на вопросе выбора грамматических категорий и форм как средства модификации динамизма повествования. В докладе Л. Г. Маршининой (Свердловск) «К вопросу о стилистической дифференциации профессиональной лексики» была сделана попытка стилистически разграничить лексику немецкой медицинской литературы. Доклад О. А. Пальгова (Оренбург) «Выражение экспрессии существительных в немецком и русском языках» был посвящен решению в сравнительном плане некоторых частных вопросов лингвостилистики. Вопросу о лексике, связанной с освоением космоса, был посвящен доклад П. П. Квасова (Свердловск) «Влияние русского языка на обогащение словарного состава немецкого языка за период 1957—1962 гг.».

Секция приняла решения, предусматривающие дальнейшее объединение научных усилий германистов Урала.

Г. И. Богин, А. П. Майоров (Уфа)

20—22 марта 1963 г. в Москве состоялось общее собрание Отделения литературы и языка АН СССР, посвященное актуальным теоретическим проблемам и задачам дальнейшего развития советского языкознания. В общем собрании приняли участие многие советские языковеды, представляющие языковедческие учреждения АН СССР и ее филиалов, академий союзных республик и языковедческие кафедры высших учебных заведений страны (всего свыше 300 человек).

Председательствовавший на общем собрании акад. Н. И. Конрад в своем выступлении, охарактеризовав современное состояние лингвистической мысли, указал непосредственные мотивы организации данной дискуссии, задачи которой — обсудить перспективы дальнейшего развития советского языкознания. Это обсуждение, по мысли его организаторов,— подчеркнул акад. Н. И. Конрад — предлагается провести по четырем основным направлениям: 1) проблема знаковости в языке; 2) проблема внутрилингвистических и экстралингвистических факторов в функционировании языка; 3) проблема квантитативных и квалитативных явлений в язы-

ке; 4) проблема грамматической теории, особенно в связи с вопросами типологии.

С основным докладом «О преодолении последствий культа личности в советском языкознании» выступил академик-секретарь Отделения литературы и языка АН СССР акад. В. В. Виноградов [3].

В сообщениях доктора филол. наук А. А. Белецкого (Киев) и доктора филол. наук С. К. Шаумяна (Москва) была затронута проблема «Знаковой теории языка». А. А. Белецкий делит языковые знаки на нелингвистические и лингвистические; сущность лингвистического знака может быть понята только при рассмотрении его в знаковой ситуации, т. е. в акте коммуникации. Выражение и содержание в лингвистических знаках очень тесно связаны. А. А. Белецкий подробно остановился на критике, которой была подвергнута знаковая теория в трудах некоторых советских лингвистов.

С. К. Шаумян предложил термин «знаковая система языка» заменить термином «семиотическая система языка». При выяснении сущности языка как семиотической системы необходимо различать естественные и искусственные языки. По мнению докладчика, существуют две трактовки языка как знаковой системы: система знаков (язык) может рассматриваться как определенная дедуктивная система, которая построена аксиоматически или алгоритмически (этим занимается структурная лингвистика), или, с другой стороны, система знаков рассматривается как классификационная система (этим занимается традиционное языкознание). С. К. Шаумян подробно остановился на рассмотрении знаковой теории как определенной дедуктивной системы.

Доктор филол. наук О. С. Ахманова (Москва) и канд. филол. наук В. З. Панфилов (Москва) свои сообщения посвятили проблеме «Экстралингвистических и внутрилингвистических факторов в функционировании и развитии языка» [4].

Сообщение доктора филол. наук В. Г. Адмони (Ленинград) [5] и канд. филол. наук Н. Д. Андреева (Ленинград) были сделаны на тему «Качественный и количественный анализ грамматических явлений».

Канд. филол. наук Э. А. Макаев (Москва) и доктор филол. наук А. А. Холодович (Ленинград) выступили с сообщениями по теме «Теория грамматики и проблемы типологии».

Как по докладу акад. В. В. Виноградова, так и по проблемам, поставленным акад. Н. И. Конрадом, и в связи со сделанными сообщениями развернулись оживленные выступления.

Широкое обсуждение вызвала проблема соотношения методов так называемой «традиционной» лингвистики и методов структурной лингвистики, причем общее признание получила идея синтеза традиционных и структурных методов (О. С. Ахманова, Н. И. Конрад, П. С. Кузнецов, Г. П. Сердюченко, Б. А. Серебренников, П. Н. Федосеев, А. Б. Шапиро, В. Н. Ярцева). Ряд выступавших указывал на необходимость разработки вопросов общего языкознания на высоком теоретическом уровне (А. Н. Волков, П. Н. Федосеев, Н. С. Чемоданов). В ходе дискуссии были поставлены также вопросы: об отношении языкознания к социально-общественным и естественно-научным дисциплинам (Н. Д. Андреев, Л. А. Абрамян, Т. П. Ломтев, П. Н. Федосеев); о взаимоотношениях между национальными языками и национальными формами культуры (В. А. Аврорин); о теории знаковости в языке и семиотике (Л. А. Абрамян, А. А. Леонтьев, А. С. Мельничук, А. А. Реформатский, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников); о типологическом методе (П. С. Кузнецов, Б. А. Серебренников); о взаимодействии языков и теории скрещивания, о гипотезе родовых языков (И. Н. Гозалишвили); о речевой деятельности человека и коллектива (Р. Г. Пиотровский); о необходимости тесной связи языкознания со школьной практикой обучения языку (А. А. Леонтьев) и мн. др.

В выступлениях было отмечено также то значение, какое приобретает для развития советского языкознания настоящая сессия, знаменующая собой признание ошибочности ряда языковедческих положений, принятых в советской лингвистике в период культа личности. Как известно, после появления брошюры Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» общеязыковедческая проблематика была значительно сужена; исследования в области социальной дифференциации языка игнорировались; неточно определялось место языка среди общественных явлений; противоречиво освещалась проблема соотношения внешних и внутренних факторов в развитии и функционировании языка; были допущены отступления от марксистско-ленинского понимания проблемы взаимоотношения языка и мышления и др.

Широкое научное обсуждение участниками собрания важнейшей языковедческой проблематики ориентирует языковедов на глубокую разработку вопросов теории языкознания на принципиальной основе марксистско-ленинской философии и методологии, с учетом всех

---

[3] Подробное изложение доклада акад. В. В. Виноградова см. в ИАН ОЛЯ, 1963, 4.

[4] Эти сообщения публикуются в данном номере журнала в качестве отдельных статей названных авторов.

[5] То же.

достижений мирового языкознания и других научных дисциплин.

В решении, принятом участниками собрания, выражалась уверенность в том, что советские языковеды, руководствуясь решениями XX и XXII съездов КПСС, открывшими широкие пути для развития советской науки, объединят свои усилия в исследовании актуальных языковедческих проблем на принципиальной научной основе, добиваясь дальнейшего подъема марксистской науки о языке.

М. А. Бакина, Г. И. Миськевич
(Москва)

С 11 марта по 7 апреля 1963 г. в Душниках (Польша) состоялась рабочая конференция общеславянского лингвистического атласа, которая была организована польской национальной комиссией атласа в соответствии с решениями будапештского и московского заседаний Комиссии ОЛА при МКС. В работе конференции приняли участие от Болгарии — И. Кочев, от ГДР — д-р Ф. Михалк, д-р Х. Фаска, от Польши — проф. З. Штибер, проф. В. Дорошевский, проф. С. Урбанчик, д-р В. Помяновская, д-р Н. Иванова-Перчинская, д-р З. Тополинская, маг. Б. Фалинская, маг. Я. Басара, маг. М. Юрковский, от СССР — проф. Р. И. Аванесов, канд. филол. наук Н. В. Бирилло, В. Ф. Коннова, от Чехословакии — проф. Я. Белич, проф. Э. Паулини, доц. д-р Е. Кржижкова, д-р С. Утешены, д-р Я. Петр, д-р. А. Габовштяк, от Югославии — проф. Р. Алексич, проф. Р. Коларич, проф. П. Ивич. В качестве консультантов были приглашены сотрудники кафедры польского языка Варшавского университета маг. Р. Гжегорчикова, д-р М. Шимчак и сотрудник Института славяноведения ПАН маг. К. Фелешко.

Перед участниками конференции стояли большие и ответственные задачи — подвести итог почти пятилетнего труда национальных комиссий атласа и славистических центров различных стран, участвовавших в работе по составлению отдельных частей вопросника, объединить эти части в единое целое, обсудить все вопросы, связанные с составлением полного вопросника, такие, как результаты обследования по пробному вопроснику, вопрос о сетке обследования, решить организационные вопросы. Центральной задачей конференции было составление полного вопросника ОЛА, который будет представлен V Международному съезду славистов в Софии.

Работа конференции протекала на пленарных заседаниях, в секциях и комиссиях. На пленарных заседаниях, которые проходили под руководством председателя комиссии ОЛА проф. Р. И. Аванесова и представляли собой расширенные заседания международной комиссии атласа, решались общие теоретические и организационные вопросы работы. Было заслушано сообщение д-ра В. Помяновской «О состоянии работы по подготовке вопросника ОЛА», а также доклады д-ра С. Утешеного «Об опыте собирания материала по пробному вопроснику»[6] и маг. Р. Гжегорчиковой «Вопросы словообразования наречий в общеславянском лингвистическом атласе».

Структура вопросника, принципы его составления и организация практической работы были в центре внимания на первых пленарных заседаниях конференции. Уже на будапештском заседании Комиссии ОЛА (апрель 1962 г.)[7] было решено, что вопросник будет состоять из двух взаимно повторяющихся частей с различной группировкой материала, так называемой тематической и систематической. В соответствии с этим проф. Я. Белич от имени чехословацкой комиссии внес предложение о следующей структуре вопросника:

I раздел

А. Тематический (лексические, семантические, словообразовательные, фонетические, просодические и парадигматические явления, объединенные в тематические группы).

Б. Грамматический (синтаксис и синтаксическая морфология).

II. Систематический раздел

III. Алфавитный указатель с отсылками

Предложение проф. Я. Белича было принято, и в соответствии с этим планом были организованы 3 секции: 1) секция фонетики, просодии и парадигматической морфологии (председатель проф. П. Ивич, секретарь д-р З. Тополинская), 2) секция лексики и семантики (председатель проф. Р. Алексич, секретарь маг. Б. Фалинская), 3) секция синтаксиса и словообразования (председатель доц. Е. Кржижкова, секретарь д-р Н. Иванова-Перчинская). Все три секции приступили к доработке и окончательному оформлению соответствующих разделов систематического вопросника. Первая секция проверила и подготовила три списка явлений: фонетических, парадигматических и просодических (их фонетическая сторона и морфологическое употребление). Углубленный и сравнительный анализ этих трех списков выявил ряд новых проблем, отсутствовавших в более ранних редакциях. Все проблемы этих разделов были снабжены еще раз проверенными примерами, которые подбирались таким обра-

[6] См. «Пробный вопросник к общеславянскому лингвистическому атласу», ВЯ, 1963, 1.

[7] См. ВЯ, 1962, 5.

зом, чтобы каждый иллюстрировал несколько различных явлений. Весь подготовленный секцией материал был обработан в виде картотеки. Каждая карточка заключает в себе следующие данные: праславянская форма данной лексемы, формы, в которых она выступает в современных славянских языках (русском, сербскохорватском и польском), информация о проблемах, которые она иллюстрирует, список морфологических форм, которые должны быть получены в говорах.

Секция лексики и семантики тщательно рассмотрела все предложения национальных комиссий, касающиеся сокращения и добавлений лексических и семантических вопросов. Утвердив список лексических явлений, секция проверила и пополнила лексическую картотеку, сформулировала вопросы на польском и русском языках. Был подготовлен также новый вариант раздела «Горное овцеводство», который будет являться приложением к лексическому разделу. Список семантических вопросов был также подвергнут внимательному анализу и значительно сокращен. При этом все время имелась в виду тесная связь семантического раздела с другими разделами вопросника, и прежде всего с лексическим. Поэтому как сокращения, так и добавления в этом разделе часто обусловливались, с одной стороны, связями внутри лексико-семантических групп, представляющих интерес для сравнительно-исторического и синхронного изучения славянских диалектов, а с другой стороны, тем фактом, что данная лексема иллюстрирует целый ряд явлений, относящихся к разным уровням языка. Секция обсудила и приняла принципы подачи значений. Формулировки значений даются в более общем виде, они должны лишь обратить внимание собирателя на основные направления семантического развития слова, а не исчерпывать все возможные в славянских диалектах оттенки значений.

Секция синтаксиса и словообразования прежде всего рассмотрела списки явлений из области словообразования существительных, прилагательных, наречий и глаголов. Секция разделила все словообразовательные явления на такие, которые войдут в тематический раздел (IA) вопросника, и такие, которые, будучи связаны с определенными морфолого-синтаксическими явлениями, должны войти в раздел IБ. В дальнейшем секция, преобразованная в комиссию синтаксиса и синтаксической морфологии, вела работу по составлению комплексного раздела вопросника, включающего в себя синтаксические и морфолого-синтаксические явления. Были рассмотрены, проанализированы и значительно сокращены имевшиеся проекты раздела синтаксиса и словообразования глагола и прилагательного (последние частично вошли в морфолого-синтаксический раздел), сформулированы и снабжены примерами все проблемы и вопросы этого раздела.

После того как работа была значительно продвинута вперед и приближалось к завершению составление систематических разделов вопросника, снова встала необходимость обсудить его структуру, исходя из опыта проделанной работы. В результате оживленной дискуссии было решено построить вопросник в соответствии с предложением проф. Р. И. Аванесова:

I. Список языковых явлений

1. Фонетика.
2. Просодические явления.
3. Морфология.
4. Словообразование.
5. Лексика.
6. Семантика.
7. Синтаксис.

II. Список вопросов

1. Лексика, распределенная по тематическим разделам, в соединении с вопросами по фонетике, просодическим явлениям, парадигматической морфологии и словообразованию.
2. Синтаксис и синтаксическая морфология.
3. Семантика.

III. Алфавитный указатель с отсылками

В соответствии с этим планом велась дальнейшая работа по составлению списка вопросов в соответствующих комиссиях.

Много внимания было уделено оформлению первого издания вопросника. Было решено издать его на русском языке с иллюстративным материалом на русском, сербскохорватском и польском языках. Это первое предварительное издание ротапринтным способом будет сделано до конца мая 1963 г. польской комиссией ОЛА и разослано другим национальным комиссиям и специалистам по диалектологии и сравнительно-историческому изучению славянских языков как материал для обсуждения на съезде славистов в Софии. Составленная в Душниках первая редакция вопросника будет проверена на практике диалектологического обследования в 20 населенных пунктах разных славянских диалектов в 1963 г. На основе результатов этого обследования в начале 1964 г. будут произведены необходимые сокращения и уточнения, после чего вопросник будет издан типографским способом. Впоследствии он может быть переведен каждой национальной комиссией на свой язык. Была утверждена единая редакционная коллегия (для из-

даний вопросника на любом языке): Р. И. Аванесов (председатель), Я. Белич, Н. В. Бирилло, Б. Видоески, Б. Гавранек, В. Дорошевский, Ф. Т. Жилко, П. Ивич, Р. Коларич, Ф. Михалк, Э. Паулини, Э. Петрович, С. Стойков, З. Штибер, секретарь редколлегии — В. Помяновская.

Первоначально предполагалось не обсуждать таких вопросов, как территория и сетка обследования, оставив их до специального заседания Комиссии ОЛА. Однако оказалось, что эти вопросы так тесно связаны с характером и объемом вопросника, что обойти их нельзя. В связи с этим на пленарном заседании был заслушан и обсужден доклад проф. Р. И. Аванесова «О сетке обследования ОЛА в связи с характером вопросника» [8]. Участники совещания согласились с основными положениями доклада. Было решено, что по нормальной, более густой сетке будет обследоваться 1 населенный пункт на 2500—3600 км², т. е. населенные пункты будут отстоять один от другого на 50—60 км. Было намечено приблизительное количество пунктов, подлежащих обследованию в каждой стране. СССР: русский язык — 300, украинский язык — 125, белорусский язык — 75; Польша: польский язык — 80—100; Чехословакия: чешский язык — 35—40; словацкий язык — 35—40; Югославия: словенский язык — 40, сербскохорватский язык — 60, македонский язык — 30; Болгария: болгарский язык— 30—40; ГДР: верхне- и нижнелужицкий язык — 4—7; всего 814—857 пунктов.

Окончательное количество населенных пунктов будет установлено в ближайшее время национальными комиссиями ОЛА, которые составят также карты своих территорий, входящих в общеславянский атлас, с нанесенными на них пунктами обследования.

Вопрос о неславянских языковых территориях на конференции специально не обсуждался. Он будет предметом дискуссии на заседании подкомиссии по неславянским территориям, которая должна собраться в мае 1963 г. в Бухаресте. Там же будет решен вопрос о характере обследования этих территорий и вопроснике для них.

Большое значение имело обсуждение доклада проф. Р. И. Аванесова «О перспективном плане работы над ОЛА». В докладе были намечены три основных этапа работы: 1) до V Международного съезда славистов (1958—1963 гг.); 2) до VI Международного съезда славистов (1963—1968 гг.); 3) после VI Международного съезда (1968—1973 гг.). В центре внимания на первом этапе находится составление вопросника, на втором — собирание материала, на третьем — составление карт атласа и его издание.

Конференция по общеславянскому лингвистическому атласу в Душниках была первым опытом совместной практической работы славянских ученых и научных работников, опытом несомненно удачным и полезным. Она ознаменовала начало нового этапа работы над атласом, когда ее участники перешли от дискуссии по общим вопросам к конкретному практическому сотрудничеству. Благодаря рабочей и исключительно дружелюбной и благоприятной обстановке, а также хорошей организации работы Польской Академией наук и польской комиссией атласа (возможность максимально использовать рабочее время, наличие справочной библиотеки, хорошо налаженная информация о ходе работы), могла быть проделана та большая работа, результатом которой явилась первая редакция вопросника общеславянского лингвистического атласа.

В. Ф. Копнова (Москва)

В период с 23 марта по 8 апреля 1963 г. в 1-м МГПИИЯ проф. Роберт Б. Лиз (Нью-Йорк) прочел курс лекций по структурной лингвистике. Первый цикл лекций был посвящен общим проблемам: Р. Лиз дал обоснование лингвистической теории, рассматривая теорию грамматики как теорию структурного описания, а также сделал обзор основных направлений структурной лингвистики и подверг критике недостатки некоторых ее методов, в частности, ограниченность возможностей анализа по непосредственно составляющим. Теорией, отвечающей основным задачам лингвистической науки, Р. Лиз считает трансформационную грамматику, основные правила которой (перестановка, замещение, добавление и эллипс) он продемонстрировал в применении к синтаксису английского языка. Лектор рассказал также о применении трансформационного метода в области семантики («композиционная семантика») и в области фонологии (морфофонемика). Второй цикл лекций был посвящен грамматическим трансформациям в английском языке, а также английской фонологии.

Н. Д. Орлова (Москва)

[8] Основные положения доклада изложены в ответе на вопрос № 11 анкеты «Вопросов языкознания» об общеславянском атласе (см. стр. 41—44 настоящего номера журнала).

CONTENTS

A greeting to the V International Congress of slavicists; **Articles:** J. Bauer (Brno). The main problems of comparative and historical study of Slavonic syntax; **Discussions:** J. Kramskij (Prague). On the problem of the article; I. A. Mel'čuk (Moscow). The «inner inflection» in Indo-European and Semitic languages; On the Slavonic linguistic atlas; **From the speeches at the General meeting of the Department of language and literature of the Academy of Sciences of the USSR:** O. S. Akhmanova (Moscow), V. Z. Panfilov (Moscow). On the relation of extralinguistic and intralinguistic factors in the functioning and development of language; V. G. Admoni (Leningrad). Qualitative and quantitative analysis of grammatical phenomena; **Materials and notes:** A. N. Kolmogorov (Moscow). On the study of Majakovskij's rhythmics; S. B. Bernstein (Moscow). The Carpatian dialectal atlas; M. Karaś (Krakow). A dictionary of Polish dialects; I. A. Dzendzelevskij (Užgorod). On the interpretation of linguistic charts; **Applied and mathematical linguistics:** L. N. Iordanskaja (Moscow). On some peculiarities of the «correct» syntactic structure; **From the history of linguistics:** A. Blok. The role of Wuk Karadžič in Serbian literature; **Critics and bibliography; Scientific life:** A. I. Žuravskij (Minsk). On the preparation of a dictionary of the Old Byelorussian language; E. I. Koschmieder (München). On the edition of the Old Slavonic manuscripts containing chants; R. Fischer (Leipzig). Works on the Sorb philology in Leipzig.

SOMMAIRE

Congratulation au V Congrès International des slavistes; **Articles:** J. Bauer (Brno). Problèmes principaux de l'étude comparative et historique du syntaxe slave; **Discussions:** J. Kramskij (Prague). Le problème de l'article; I. A. Mel'čuk (Moscou). «La flexion interne» dans les langues indo-européennes et sémitiques; Sur l'atlas linguistique slave; **Quelques allocutions prononcées à la Réunion générale du Departement de langue et littérature de l'Académie des Sciences de l'URSS:** O. S. Akhmanova (Moscou), V. Z. Panfilov (Moscou). Sur les facteurs extralinguistiques et intralinguistiques et leur relation dans le fonctionnement et développement de la langue; V. G. Admoni (Léningrad). L'analyse qualitatiev et quantitative des phénomènes grammaticaux; **Matériaux et notices:** A. N. Kolmogorov (Moscou). Sur l'étude de la rythmique de Majakovskij; S. B. Bernstein (Moscou). L'atlas dialectal carpatien; M. Karaś (Krakow). Dictionnaire des dialectes polonais; I. A. Dzendzelevskij (Užgorod). Sur l'interprétation des cartes linguistiques; **Linguistique appliquée et mathématique:** L. N. Iordanskaja (Moscou). Sur quelques propriétés de la structure syntaxique «correcte»; **De l'histoire de la linguistique:** A. Blok. Le rôle de Wuk Karadžič dans la littérature serbe; **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** L. A. Žuravskij (Minsk). Sur la préparation d'un dictionnaire de la langue vieux-byelorusse; E. I. Koschmieder (München). Sur l'édition des textes vieux-slaves destinés à être chantés; R. Fischer (Leipzig). Oeuvres sur la philologie sorbe à Leipzig.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В журнале «Вопросы языкознания», № 3, 1963 г. на стр. 104 в сноске 5 формулу следует читать:

$$\sigma = \frac{\ln \dfrac{\dfrac{\delta n}{n_p} + \sqrt{\left(\dfrac{\delta n}{n_p}\right)^2 + 4}}{2}}{\sqrt{\ln 2}}.$$

Технический редактор *Д. А. Фрейман-Крупенский*

Т-08942 Подписано к печати 10.VII.1963 г. Тираж 5750 экз. Зак. 2207
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 13,7 Бум. л. 5 Уч.-изд. листов 16,2

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

ИСПРАВЛЕНИЯ

в журнале «Вопросы языкознания», № 4, 1963 г.

На стр. 65 следует читать:

— — —́

—́ —

На стр. 68 вторую и первую строки снизу следует читать: «Так как на самом деле это трехдольный стих 4-3-4-3-дольника . . .» и т. д.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, *П. А. Баскаков*, *Е. А. Бокарев*, *В. В. Виноградов* (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов*, *Н. И. Конрад* (зам. главного редактора), *М. В. Панов*, *Г. Д. Санжеев*, *Б. А. Серебренников*, *Н. И. Толстой* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55